

НЁМАН

12/2015

ДЕКАБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Леонид ЧИГРИН. Мятёж. <i>Повесть</i>	3
Алесь БАДАК. Заветные слова. <i>Стихи</i> . Перевод с белорусского Ю. Матюшко	35
Александр ВОЛКОВИЧ. Три рассказа	40
Елизавета ПОЛЕЕС. И нежность. И боль. И бездонность Вселенной. <i>Стихи</i>	56
Татьяна ЛАШУК. Два рассказа	61
Славомир АНТОНОВИЧ. Тебя люблю я, как и прежде. <i>Стихи</i> . Перевод с белорусского М. Шабовича	68
Калининградская тетрадь: журнал «Балтика» в гостях у «Нёмана»	
Борис БАРТФЕЛЬД, Олег ГЛУШКИН, Лидия ФРОЛОВА, Дорогие друзья!	71
Олег ГЛУШКИН, Виталий ШЕВЦОВ, Валерий ГОРБАНЬ, Дмитрий ГРИГОРЬЕВ. <i>Рассказы</i>	72
Борис БАРТФЕЛЬД, Татьяна ТЕТЕНЬКИНА, Валентина СОЛОВЬЕВА. <i>Стихи</i>	95
«Всемирная литература» в «Нёмане»	
Гурам СВАНИДЗЕ. Рассказы. Предисловие Т. Шпартовой	102
Эпоха. Судьбы. Память	
Ирина ШАТЫРЕНОК. Николай – старший брат Варвары. <i>Отрывки из повести</i>	134
Вне времени	
Евгений ПОДЛЕСНЫЙ. Белорусское Средневековье: политика, культура и традиции	151
Имена	
Макаенок – это целая эпоха. <i>Интервью с Борисом Луценко, Геннадием Овсянниковым.</i> Беседовали А. Василевич, П. Питкевич. Драматург на все времена. <i>Воспоминания Валерия Анисенко</i>	170
Культурный мир	
Татьяна ОРЛОВА. Жизнь и судьбы	184
Collegium musicum	
Светлана БЕРЕСТЕНЬ. В кругу Ее Величества	191
Литературное обозрение	
<i>С точки зрения рецензента</i>	
Петро ВАСЮЧЕНКО. Энергетика сказки	203
Алесь МАРТИНОВИЧ. Ладья на волнах времени	208
Алесь КАРЛЮКЕВИЧ. Взгляд на Беларусь глазами китайцев	211

Напоследок

Жизнь в искусстве

Красивую мелодию никто не отменял. Интервью с Дмитрием Долгалевым. Беседовала В. Поликанина	213
Содержание журнала «Нёман» за 2015 год...	218
Авторы номера	224

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звезда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Редакционная коллегия:

*Вадим Гигин, Наталья Голубева, Олег Ждан (редактор отдела прозы),
Алесь Карлюкевич, Александр Коваленя, Тамара Краснова-Гусаченко,
Владимир Макаров, Роман Матульский, Владимир Мозго (зам. главного редактора),
Геннадий Пашков, Михаил Поздняков, Елена Попова,
Анатолий Сульянов, Николай Чергинец*

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 284-85-25, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель

Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звезда»

Директор – главный редактор
Александр Николаевич КАРЛЮКЕВИЧ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 15.12.2015. Формат 70 × 108¹/₁₆. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 18,52. Тираж 1979. Заказ

Цена номера в розницу 23 500 руб.

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция только сообщает автору свое решение.

Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.

Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

© Министерство информации Республики Беларусь, 2015

© ОО «Союз писателей Беларуси», 2015

© РИУ «Издательский дом «Звезда», 2015

Леонид ЧИГРИН

Мятеж

Повесть



Странно, Заратустра мало знает женщин, и, однако, он прав относительно них. Не потому ли это происходит, что для женщины нет ничего невозможного.

Фридрих НИЦШЕ, «Так говорил Заратустра».

Пакистан никогда не интересовал туристов. Оно и понятно, им подавай экзотику или памятники старины, повествующие о глубокой древности. Или должна быть природа с ее неповторимыми красотами, а когда в стране нет ни того, ни другого, ни третьего, кто же туда поедет, туристы, хоть и люди не бедные, но деньги считать умеют.

Такая мысль часто приходила в голову Сергею Игошину, когда он пролетал на вертолете вдоль афгано-пакистанской границы. Правда, к самой границе не приближался, была установлена тридцатикилометровая зона безопасности, куда советские войска не должны были входить. На этом настаивали пакистанские власти, не хотели, чтобы боевые действия тревожили местных жителей, да и снаряды могли залетать на сопредельную территорию. Соблюдение зоны безопасности касалось только солдат советских подразделений и летчиков, а вот отряды моджахедов всю пользовались этой зоной. Чуть что, укрывались в ней от окончательного разгрома, отсиживались, пополняли свои ряды наемниками из того же Пакистана, получали продовольствие, оружие и боеприпасы и снова нападали на расположения советских батальонов или на города, где находились ненавистные им шурави, советские военнослужащие и специалисты.

Командир вертолета, майор Сергей Игошин, уже три года участвовал в советско-афганской войне. Родом он был из Таджикистана, жил в Нуреке, небольшом городе энергетиков. Отец работал сменным дежурным на Нурекской ГЭС. Казалось бы, Сергею прямая дорога в энергетику, а он бредил небом. В Нурек часто залетали вертолеты, доставлявшие геологов далеко в горы, гляциологов на ледники, да мало ли кто еще использовал винтокрылые машины. Вертолет в Таджикистане в советское время был вроде нынешнего маршрутного такси — удобное и полезное средство передвижения по труднодоступным местам.

Подростком Сергей Игошин не отходил от вертолетов. Расспрашивал пилотов о свойствах чудесной машины, допытывался, где можно выучиться на летчика. Узнал, что есть вертолетное училище в Выборге, и твердо решил после десятилетки ехать туда поступать. Отец не одобрял затеи сына, говорил, что это опасное занятие, вон сколько разбитых вертолетов лежит в горных ущельях. Но его слова только подогревали стремление юноши.

Поступил в училище, окончил его в числе лучших, пять лет служил в войсковых частях по всей стране, а когда началась советско-афганская военная кампания, изъявил желание поехать в Афганистан добровольцем.

Служба была нелегкой. Иногда в день приходилось совершать по пять-шесть боевых вылетов. Доставлял солдат в горные массивы, где шли стычки с моджахедами, завозил туда боеприпасы и снаряжение, забирал раненых и убитых, и такое случалось довольно часто. Уставал, конечно, страшно, не раз возникало сожаление, что сам напророчился в это пекло, но — война, она, как водоворот, втягивает в свою стремнину и не дает из нее вырваться.

На днях Сергею Игошину исполнилось тридцать лет. Вроде немного для мужчины, а в волосах появились седые нити и морщины пролегли возле глаз. Потому и идет в войне год за три, именно настолько время ускоряет свой бег.

Экипаж вертолета, которым командовал Игошин, был слаженным. Второй пилот, Максим Самеев, из Чувашии, на три года моложе командира. Николай Дашкевич, бортмеханик, из Беларуси, он старше на год. Стрелок-радист, Трофим Урнов, сибиряк, вообще салага, ему двадцать два года. Подвижный, все ему интересно, на войну как на приключение смотрит.

Всякое случалось за три года. Иногда возвращались из полета со сквозными пулевыми пробоинами, вертолет походил на дуршлаг, но, как говорится, Бог миловал, никого не убило и не ранило, и машина дотягивала до базы, не было непредвиденных посадок. Стоит приземлиться — и никакой гарантии, что не попадешь в лапы душманам. А они с пленными не миндальничали, таким их подвергали пыткам и издевательствам, что смотреть потом на изуродованные тела было жутко. Лучше отбиваться до последнего, а потом, если удастся, покончить с собой. Такая смерть вроде избавления...

Майор Игошин служил в бригаде, которая была расположена в Лашкаргахе, близ юго-западной границы Афганистана с Пакистаном. Именно там, по ущельям, пролегали караванные тропы, по которым моджахедаы перебрасывали своим отрядам все необходимое. Ущелья извилистые, глубокие, поросшие шиповником, арчой и боярышником, пешие группы разведчиков не успевали просматривать их, и потоки доставляемого оружия и боеприпасов душманам не иссякали. Потому разведку вменили в обязанность вертолетному подразделению. Отыскивали такие ущелья, летали меж скальных стен, едва не задевая за них винтами, и всматривались в глубину. И если замечали верблюжий караван, сообщали по радиации батальонам, расположенным в заброшенных селениях поблизости, и те устраивали засады на пути продвижения такого каравана. Вертолеты поддерживали своих бойцов, обстреливая сверху моджахедов из пулеметов или обрушивая на них ракеты. Это были операции по уничтожению врага, после них оставались обезображенные тела, лежащие среди камней, испещренных пулевыми отметинами или покрытых копотью от сгоревшей «зеленки».

Вот и теперь поступило важное сообщение от афганских крестьян, которые были сторонниками шурави, небескорыстно, конечно. За агентурные вести им платили продовольствием, лекарствами, бензином. Случалось, донесения не подтверждались, оказывались ложными, чтобы дезинформировать советское командование, но были и истинные. Так вот, сообщалось, что по тайной тропе, в горном массиве близ Кандагара, пойдет большой караван с оружием и наркотиками. И поведет его небезызвестный полевой командир Хазратшо, доставлявший много беспокойства нашим батальонам. Отличался он хитростью, хорошо знал все тайные пути из Пакистана в Афганистан, и о его беспримерной жестокости по отношению к советским пленным рас-

сказывали жуткие истории. Давно пытались уничтожить самого Хазратшо и его отряд бойцы батальона майора Карпова, но всякий раз выдавший виды полевой командир погибал засады на своем пути и скрывался в ущельях. Должно быть, предупреждали его о засаде те же самые афганские крестьяне, работавшие на обе стороны.

Командиру вертолета Сергею Игошину было приказано вылететь к тому самому горному массиву, отыскать ущелье и проследить — идет по нему караван или нет? Если заметит, сообщить батальону майора Карпова, и его бойцы перекроют моджахедам выход из ущелья. А когда завяжется бой, вертолетчики должны с воздуха поддержать огнем своих ребят.

Дело, в общем-то, привычное, собрались быстро, и винтокрылая машина, грохоча двигателем, поднялась в воздух.

Лететь до места назначения предстояло часа полтора. Земля внизу щетилилась острыми выступами скал, вершинами, которые, точно когти громадного хищника, готовы были вцепиться в вертолет и обрушить его в теснины. Краски не радовали глаз, коричневые, серые, цвета пыли. Зеленые пятна горных лесов просматривались редко. Ко всему прочему, хоть и стояла уже середина осени, а солнце палило вовсю. Каменные исполины нагревались, струили зыбкие потоки воздуха, искажавшие перспективу, и трудно было ориентироваться на местности. Максим, второй пилот, то и дело сверял маршрут с картой и бранился сквозь зубы. Попробуй определить, где ты, когда все склоны хребтов похожи один на другой, как родные братья. Изредка на плоскогорье блеснет нитка быстрой речки, рожденная тающими ледниками, да покажется белой полоской проселочная дорога близ отрогов гор.

Неприветлива афганская земля к людям. Выжгло ее солнце до каменной крепости, и только там, где есть вода, можно заметить сады да квадраты посевов. А так летишь над ней час-другой, третий, и только пустоши простираются внизу с небольшими отарами овец, питающимися скудной порослью. Жилье сложено из глиняных кирпичей, такие же заборы, и жизнь в подворьях протекает скрыто от чужих глаз. Нищета ужасающая, но она привычная, и иного уклада бытия тут не хотят. Поначалу, когда в Афганистан вошли советские войска и приехали специалисты, местное население отнеслось к ним доброжелательно. Пусть занимаются своими делами, лишь бы не мешали жить. Но мешать стали. Принялись возводить предприятия, строить крупнопанельные многоэтажки и селить в квартирах вчерашних земледельцев и животноводов, превращать их в рабочий класс. Зазвучало пугающее слово «социализм». Тягостным был для афганцев ежедневный труд на заводах и фабриках, кроме того, привыкли они иметь свое подворье, пусть малое, с двумя-тремя чахлыми деревьями и скудным огородом, но свое. Квартиры они использовали как подсобные помещения, а во дворах возводили свои глинобитные мазанки. До сего времени они были свободными, трудились, когда хотели, а обязательные смены в душных цехах не укладывались в их сознании. И муллы старались изо всех сил, пугали властью кафи́ров, безбожников, которые пришли поработать свободлюбивых афганцев. Пламя недовольства разгоралось, начались вооруженные столкновения, переросшие в затяжную войну, которой конца и края не было видно.

«У себя социализм толком не построили, — размышлял командир вертолета, — а вздумали экспортировать его в страну, живущую по феодальным законам. Поняли, что не туда пришли и не с тем, а признаться в этом боимся. В итоге гибнут солдаты, Советская страна несет огромные затраты, а газеты полнятся оптимистичными материалами. Вот, дескать, мы какие, выполняем интернациональный долг, преобразовываем сознание отсталых людей, тащим

их за уши из первобытно-общинного строя сразу в светлое будущее. А хотя ли они этого, и потом, что это за интернациональный долг? Почему мы должны всему миру, а нам никто ничего не должен...»

Понятное дело, такие мысли не высказываются вслух, про себя и то так думать опасно. Помалкивай и выполняй приказы вышестоящего командования, в этом и заключается твой офицерский долг.

Сергей еще раз бросил взгляд вниз, на проплывающие под вертолетом высокие горы и редкие проплешины коричневых плоскогорий. Нет, тут бы он не смог жить, нужно из поколения в поколение ютиться на этой скудной земле и не видеть ничего другого, только тогда будешь воспринимать ее как родную и мириться с ее суровостью. Таджикистан тоже Азия, но природа там богаче. А что касается России, то редко какая страна сравнится с ней по богатству природы и ее щедрости к человеку.

Сидящий рядом второй пилот Максим Самеев продолжал сверять полет с картой, лежащей на коленях. Ершил черные волосы, поглядывал в низину.

— Вон за тем гребнем должно быть наше ущелье! — крикнул он командиру.

Сергей утвердительно кивнул и потянул на себя рукоять управления, чтобы поднять вертолет повыше. Острозубый хребет буквально наплыл на них. Высота давала о себе знать, дышалось тяжело, солнце потоками вливалось в кабину и скрадывало видимость. Да еще перегретый воздух устремлялся вверх стеклистыми струями и размывал очертания скалистого массива, протянувшегося от горизонта до горизонта.

Это была уже страна вечных снегов. Тяжелыми шапками они венчали острые пики, длинными пластами лежали в углублениях на склонах гор. Спрессованные в ледники, они рождали ручьи, искрящиеся под солнцем, которые в низинах сливались в быстрые потоки, столь нужные земледельцам.

За гребнем, и верно, показалось ущелье, узкое, извилистое и глубокое. Его отвесные стены отблескивали чернотой. Сергей направил вертолет вдоль ущелья, пристально вглядываясь вниз. Видимости не было никакой, мешали скальные выступы, а еще ниже ущелье поросло арчей, древовидным можжевельником. Оставалось последнее: снизиться и лететь прямо в каменном коридоре. Рискованно, конечно, стоит зацепить лопастью винта за скалу — и пиши пропало. Рухнет машина в пропасть и взорвется огненным шаром. Случалось такое, без потерь вертолетное подразделение не обходилось. Но, как говорится, Бог милостив, Сергей Игошин не раз осуществлял этот рискованный маневр, и всегда удачно.

— Пойдем вниз! — крикнул он Максиму и взмахом руки обозначил направление.

Машина вошла в ущелье. Сразу стало сумрачнее, грохот двигателя усилился, отраженный близкими стенами.

Летели так километра три, тщательно огибая выпуклые неровности стен. Поросли «зеленки» разредились, стало просматриваться дно ущелья, извилистое, с белесой полоской тропы. А вот и караван, цепочка верблюдов тянулась по тропе. Но странное дело, караван шел не в сторону Афганистана, а, напротив, к Пакистану.

Сергей выругался сквозь зубы, второй пилот согласно мотнул головой, разделяя его досаду. Так и есть, агентурные сведения оказались неверными. Моджахеды доставили груз своим братьям и теперь держали путь в сопредельную страну.

Трофим, стрелок-радист, сообщил командиру батальона десантников Карпову:

— Караван возвращается пустым. До Пакистана ему два-три дня ходу.

Рация захрипела, донесся голос командира батальона:

— Опять прокол. Вот и верь после этого агентуре. Мы уже не успеем перекрыть ему выход из ущелья. Пуганите «духов» парой ракет и давайте назад.

Легко сказать «пуганите». Ракета может угодить в скалу, разрыв тогда отбросит вертолет в сторону, прямо на каменную стену, и, как говорится, привет из солнечного Афганистана.

Следовало опуститься еще ниже, опасность возрастала, но не возвращаться же ни с чем. Сейчас караван пустой, а через неделю снова потащит груз отрядам моджахедов. И так, и так его следовало уничтожить.

Ущелье сошлось настолько, что лопасти винта едва не касались стен. Нужно опасаться и порывов ветра, ущелье, словно аэродинамическая труба, продувалось насквозь сильными потоками воздуха.

Караван виднелся отчетливо. Погонщики верблюдов замахали палками, побуждая животных двигаться быстрее, опасливо поглядывали вверх, на грохочущую буквально над их головами винтокрылую машину. Все-таки отчаянные люди эти шурави, кто, кроме них, отважится на такой маневр?!

Командир выбирал удобный момент, чтобы произвести пуск ракет. Оставались считанные мгновения, и тут он увидел, как один из моджахедов целится в вертолет из «стингера», портативной ракетной установки, от которой нет спасения. Машинально Сергей бросил машину в сторону, и тут произошло то, чего он так опасался. Лопасть винта задела за скальный выступ, машину тряхнуло, винт замолотил по стене. Вертолет, как лист, упавший с дерева, скользнул вниз, но не упал на дно ущелья, а задержался на каменной площадке. Сергей выскочил из кабины на эту площадку, похожую на террасу. Следом за ним выпрыгнул бортмеханик Николай Дашкевич, а вот второй пилот и стрелок-радист не успели. Вертолет качнулся раз-другой и полетел вниз, ударяясь о скалы. С грохотом обрушился на дно ущелья и взорвался. Коптящее пламя взметнулось вверх и загудело, воздушные потоки колебали его, а дым заструился по ущелью к далекому выходу.

Терраса уходила вглубь по стене, понижалась к дну ущелья. Командир и бортмеханик стояли на ней, еще не пришедшие в себя после внезапной аварии. Коротко простучала автоматная очередь, пули ударили в скалу прямо над их головами. Каменное крошево разлетелось в стороны.

Моджахеды снизу размахивали автоматами, давая понять вертолетчикам, чтобы те спускались к ним по террасе. Но Сергей и Николай медлили, они знали, что пощады им не будет, порежут на куски, но и оказать сопротивление не могли. Их оружие осталось в кабине вертолета.

Они продолжали стоять на террасе, обмениваясь взглядами, словно совещались — как же им быть? Прыгнуть вниз, прямо в бушующий огонь? Но такая смерть тоже казалась страшной. Пусть уж лучше расстреляют из автоматов...

Минуты тянулись мучительно долго. Переход от чувства относительной безопасности в кабине вертолета к открытым мишеням на скальной террасе оказался столь внезапным, что сознание отказывалось осмысливать его.

Моджахеды продолжали кричать и взмахивали автоматами, огонь внизу давал о себе знать сильным жаром, и дымные струи жадно лизали обрывистые стены ущелья.

Пилоты увидели, как один из боевиков запрыгнул на выступ террасы и пошел к ним, подняв над головой белую тряпку в знак своего миролюбия. Терраса круто вздымалась вверх, в иных местах была не шире ступни, и

моджахед шагал по ней осторожно, нащупывая рукой зацепы. Где-то через полчаса он добрался до вертолетчиков. Командир вертолета и бортмеханик пристально вглядывались в него. Моджахед был в традиционной афганской одежде: длинной белой рубаше и таких же штанах, в черной жилетке, на ногах грубые армейские ботинки. Войлочная шапка-нуристанка надвинута на лоб. И при всем том он не был афганцем, черты лица были европейскими, а глаза отливали зеленью.

Моджахед приблизился вплотную.

— Жарковато тут у вас, — произнес он громко. — Так и изжариться недолго. Спускайтесь...

Говорил он по-русски правильно, но явственно прослушивался чужеземный акцент.

Сергей знал, что у моджахедов имеется немало инструкторов-американцев, и подумал, что этот боевик, должно быть, один из них.

— В гости зовешь, — усмехнулся Игошин. — Только хозяева вы не больно гостеприимные. Лучше уж мы как-нибудь тут перестоим.

— Долго не выстоишь, — ответно усмехнулся моджахед. — А что касается гостеприимства, то и вы тоже не с миром к нам прилетели. Наше счастье, что вертолет зацепился за стену, а то бы угостили нас ракетами.

Командир вертолета пожал плечами. Чего понапрасну толковать, тут смерть и внизу тоже. Только тут от пуль, а там от ножей бандитов. Как ни странно это звучало на первый взгляд, но выбор у них имелся.

— Никакой смерти вам не будет, — уверил боевик. — Даю вам честное слово. Давайте спускаться.

— Слышали мы о ваших словах, — проговорил бортмеханик. — И видели тоже.

— Моих слов ты не слышал, — боевик постучал себя пальцем по груди. — Я гарантирую вам жизнь.

— А чего стоит твоя гарантия? — не сдавался Дашкевич.

Моджахед пристально поглядел на него.

— Можешь поверить, много. Я кое-что значу у борцов за веру. Со мной считаются.

— Ну спустимся, а что потом? — устало поинтересовался Игошин.

— Потом плен, — честно пояснил боевик. — Но плен — это жизнь, а в жизни есть немало всяких возможностей. Может, и воспользуетесь какими-то.

Русский язык он знал неплохо, но чувствовалось, что говорил на нем нечасто, останавливался, подбирая нужные слова.

Сергей Игошин напряженно размышлял. Правота в речи странного моджахеда была, только насколько он искренен? Спустятся они, и там бандиты вдосталь натешатся над ними. Сергей знал, что внизу отряд Хазратшо, которому такие понятия, как жалость, неведомы.

— Пошли, товарищи, — снова проговорил моджахед. — Скоро солнце уйдет за гребень ущелья, и тогда в полутьме по такому выступу не очень-то разбежишься.

И верно, солнце, зависшее над ущельем, уже заметно отклонилось к западу.

«Значит, товарищи», — с горькой иронией подумал командир вертолета, а вслух произнес иное:

— Ну, коли гарантируешь безопасность, тогда пошли... товарищ. А позволь узнать, зачем мы вам? По-моему, в пленных у вас недостатка нет. И советских, и афганских военнослужащих у вас предостаточно.

Моджахед засмеялся. В короткой рыжеватой бороде блеснула полоска зубов.

— Верно говоришь, командир. Но мы люди запасливые, нас излишек не тяготит. Вдруг хороший обмен подвернется, а то и выкуп предложат.

— Ну, коли так... — снова протянул Игошин. — Проверим твое честное слово. Давай, веди нас к светлому будущему.

Моджахед от души рассмеялся.

— А ты шутник, майор. Вас так долго вели к светлому будущему, что вы оказались в афганской тьме и не знаете, как из нее выбраться.

И они стали спускаться по узкой, выщербленной террасе, осторожно переступая через каменные выступы.

Настороженность не оставляла летчиков. И когда они оказались на дне ущелья, то напряглись в ожидании побоев, брани и чего там еще. Но ничего этого не было. Моджахеды, бородатые, в изрядно поношенной одежде, в чалмах и нуристанках, хмуро смотрели на двух шурави и не делали попыток унижить или оскорбить их.

Главаря Хазратшо Сергей и Николай узнали сразу. Он был выше остальных бандитов, в лице просматривались надменность и жестокость. Но и главарь стоял неподвижно, хотя глаза его были полны ненависти к проклятым шурави, войне с которыми он посвятил свою жизнь.

Светлолицый моджахед произнес несколько слов на незнакомом языке, обращаясь к Хазратшо. Тот буркнул в ответ что-то невнятное и отдал короткое приказание стоявшим поодаль боевикам. Те зашевелились, вскинули на плечи поклажу, подобрали с земли автоматы.

— Документы давайте сюда, — обратился светлолицый боевик к пленникам. Те отдали удостоверения. Не отдать добровольно — отберут силой.

Боевик просмотрел их, удовлетворенно кивнул:

— То, что нужно.

А что именно, не пояснил.

Сергей Игошин провел языком по губам. Хотелось пить, по дну ущелья бежал извилистый ручей, пенился, разбивался о камни.

— Пейте, умойтесь, — предложил светлолицый моджахед. — Нам нужно часа три прошагать, чтобы выйти из ущелья. Вы-то нас помиловали, помимо своей воли, правда, а кто другой налетит, может и обстрелять.

Сергей и Николай ничего не ответили. Склонились над ручьем и, зачерпывая воду пригоршнями, утолили жажду. Вода была холодная, ледниковая, ломила зубы. Умылись и почувствовали себя бодрее.

Впереди погонщики верблюдов закричали, замахали палками, понуждая животных двигаться вперед. На горбах верблюдов виднелись тюки, мешки, рулоны тканей.

«Неплохо поживились, — подумал майор. — Ограбили какое-нибудь селение».

Моджахеды цепочкой потянулись вдоль ущелья. Командир вертолета и бортмеханик шли в голове колонны. Светлолицый боевик шагал рядом с ними, иногда отставал, когда ущелье сужалось, а то выходил вперед. Шли молча, говорить не хотелось, да и не о чем было. Оставалось ждать, что будет дальше.

Солнце закатилось за гребень хребта. Синий сумрак затмил ущелье, отвесные стены отблескивали чернотой, тропа под ногами почти не просматривалась. Пахло резким верблюжьим потом, раздавленной хвоей арчи, поросли которой пробивались по сторонам ущелья.

Шагавший за Сергеем моджахед словно ненароком утыкался в его спину стволом автомата, и Игошин еще раз подумал, что есть какая-то причина, по которой бандиты не убили их, а ведут с собой в Пакистан. Что-то уж очень важное останавливало их от расправы над пленными шурави.

Часа через три стены ущелья раздвинулись, стали пониже, впереди открылось каменистое плато, поросшее верблюжьей колючкой и редкими кустиками полыни. Ручей отклонился в сторону и серебристой полоской устремился в низину.

Погонщики снова закричали, теперь уже останавливая верблюдов, стащили с их спин поклажу и пустили пастись. Верблюды неспешно захрустели сухими стеблями колючки.

Моджахеды разбились на группы, устроились на камнях. Загорелись костры из той же колючки и полыни, разнесся запах разогреваемой пищи.

— Устраивайтесь, — гостеприимно предложил светлолицый боевик. — Собирайте топливо, сейчас принесу поесть.

Он пошел к верблюдам, а Сергей с Николаем принялись собирать стебли колючки. Не время было демонстрировать свою неуступчивость, да и есть хотелось.

Светлолицый боевик принес две большие лепешки из темной муки и три банки мясных консервов. Вскрыл их ножом, поставил на огонь.

— Из ваших запасов, — подмигнул он пилотам. — Ваши вороватые старшины и прапорщики делятся с нами. Не за так, правда.

Сергей Игошин промолчал. Он знал о том, что заведующие складами в гарнизонах приворывают не только продовольствие и медикаменты, но и боеприпасы продают на сторону, уповая на истину не пойман — не вор. Ели молча, искоса поглядывая друг на друга.

— Ты ведь не афганец? — спросил Игошин светлолицего.

Тот усмехнулся.

— Только сейчас заметил?

— Еще на скале стало ясно. Американец?

Светлолицый утвердительно склонил голову.

— Можно и так сказать.

— Инструктор? Советник?

— Все вместе, — последовал ответ.

— А как нам обращаться к тебе? Все-таки товарищи, — сыронизировал Игошин.

— Можете называть Джимом. Это имя легче запомнить. А ты молодец, — обратился он к Сергею. — Неплохо держишься, да и напарник твой тоже. Крепкие мужики. Бывали пленные, в ногах валялись, умоляли пощадить. Таких даже убивать было противно. Слизняки.

— Явно не русские были, — предположил майор.

Джим метнул на него косой взгляд.

— А что, русские из другого материала скроены?

Сергей пожал плечами.

— Может, и нет, но на наших парней не похоже, чтобы в ногах валялись.

— Да, не русские были, — неохотно признался Джим. — Но и ваши тоже соглашались перейти к нам и сражаться против своих.

— Ну, там могли быть другие причины.

— Легче тебе стало, когда узнал, что не русские вели себя не по-мужски? — поинтересовался американец.

Сергей согласился.

— Конечно, по крайней мере, умрем достойно.

— Умирать вы умеете, — американец качнул головой. — Вот только жить не научились. Сами не живете и другим мешаете своими идеями.

— Каждому сверчку свой шесток, — отговорился Игошин. — Слышал такую поговорку?

Американец отрицательно покачал головой.

— Не слышал, но примерно догадываюсь, о чем она.

— И то ладно, — усмехнулся майор.

Сказал и подсадовал сам на себя. Зачем затеял эту пикировку с американцем, только взаимная неприязнь усилится. Причина понятна: нервное напряжение не отпускало, требовало хоть какой-то разрядки.

Темнело, мгла потоками струилась из низин и провалов, тянулась к небу, затемняя его. Показались первые светлячки звезд. Из ущелья потянуло холодным ветром. Сергей поежился. У костра сидеть тепло, а каково будет ночью им, одетым в хлопчатобумажные камуфляжи? Кожаные куртки остались в вертолете. Николай сидел рядом, отрешенно глядя на красноватые языки пламени.

— Джим, скажи, зачем все-таки мы вам нужны? — спросил Игошин. — Подумаешь, невидаль, майор и старший лейтенант. Наверное, у вас в лагерях есть птицы и покрупнее? Стоит ли возиться с нами, тащить с собой? Я же вижу, какими глазами смотрят на нас моджахеды. Едва-едва сдерживают себя.

— Ты прав, — согласился американский инструктор. — Есть причина, и серьезная. Не спеши, дойдем до места, узнаешь.

Сергей понял, что большего от американца не добьешься, и оставил его в покое.

А причина действительно была, и немаловажная. На совещании высшего руководства моджахедов, которое прошло в пакистанском городе Кветта, выступил Саид Ахмад Гилани. Это миллионер, духовный лидер моджахедов. Именно он положил конец разрозненным действиям повстанцев, создав «Единый фронт афганского сопротивления». Гилани подчинялась так называемая «Непримиримая оппозиция», которая не шла ни на какие соглашения с советским командованием. Духовный лидер моджахедов вел напряженные переговоры с правительствами крупнейших западных стран, и под его гарантии моджахеды получали деньги, вооружение, самую современную боевую технику.

— Мы оказываем успешное сопротивление частям 40-й армии, — говорил Гилани. — «Стингеры», которые мы получили недавно, свели на нет преимущество советских летчиков в воздухе. Но этого мало. Пока мы еще проигрываем шурави в мобильности. Наши отряды передвигаются, в лучшем случае, на машинах, а чаще пешком. Но я позаботился и об этом. К концу года мы получим из-за границы десять вертолетов, вот только у нас нет пилотов, которые могли бы ими управлять. Из этого следует, если в плен попадут вертолетчики, не убивать их, сохранять им жизни. Они будут обучать наших людей летать на этих машинах, а то и сами управлять ими. Средства убедить их перейти на нашу сторону у нас имеются. Когда мы освоим вертолеты, тогда борьба с советскими войсками станет еще более успешной. Мы обречем нужную мобильность в переброске наших отрядов и будем наносить удары по советским гарнизонам и расположениям частей с воздуха. — Гилани помолчал, давая возможность собравшимся вдуматься в смысл сказанных им слов, а потом повторил снова, уже более жестко: — Захваченных в плен вертолетчиков не убивать ни в коем случае.

Командир вертолета, майор Сергей Игошин, и бортмеханик, старший лейтенант Николай Дашкевич, как раз и явились первыми вертолетчиками, захваченными моджахедами в плен.

Ночь сгустилась до осязаемой плотности. Россыпи крупных звезд опустились ниже к земле, помаргивали, посматривая сверху на отдыхающих вооруженных людей. Не одну тысячу лет наблюдали из бездны эти светила за людьми и видели одно и то же: войны, взаимную вражду. Мир, взаимопонимание, совместная деятельность на свое же благо так и остались абстрактными понятиями для этих неразумных двуногих существ.

Стебли верблюжьей колючки потрескивали в костре. Слышались негромкие голоса моджахедов, всхрапы верблюдов, где-то вдалеке надрывно взлаивал шакал, будто просил людей поделиться с ним вкусно пахнущей пищей.

Николай и Джим обменивались фразами, а бортмеханик молчал, глядя на мечущиеся языки пламени. Лицо его, освещенное пламенем костра, было сосредоточенным и хмурым, но не было в нем страха. Николай Игошин привык к этому сдержанному, немногословному человеку, хорошо знающему свое дело. А теперь Дашкевич открылся с новой стороны. Он не поддавался отчаянию и был готов к любому исходу, но при этом не собирался ронять ни чести, ни офицерского достоинства.

На ночь пленникам связали руки и ноги. Джим принес байковые одеяла. На одни легли, а другими советник моджахедов укрыл их от ночной прохлады. Сам тоже устроился рядом и сразу же заснул, негромко похрапывая. Видно было, что пешие переходы по горам и ночевки под открытым небом ему не в новинку.

Пробудились рано, едва кромка неба побелела на востоке. Моджахеды совершили утренний намаз, затем ритуальное омовение, к удивлению пленных, и американец тоже молился с ними.

Позавтракали чаем с лепешками и вяленым мясом.

— Ты что, и мусульманство принял? — полюбопытствовал Сергей у американца.

Тот пожал плечами.

— Я не делаю различий между религиями. Все молятся Единому Богу, и все просят об одном, только на разных языках и с различными обрядами.

— Ясно, — отозвался Сергей. — Трудно Господу приходится. Обе воюющие стороны просят его об уничтожении противной стороны, к какой же ему прислушиваться?

— К той, на чьей стороне правда, — жестко отозвался американец. Ну, тут можно было с ним и поспорить, но не до этого было. Моджахеды собирались в путь, взваливали на спины верблюдов поклажу, увязывали свои пожитки.

Двинулись привычной цепочкой. Сергею и Николаю с непривычки идти было тяжело, большую часть времени они проводили в воздухе, пеших переходов почти не совершали.

День разгорался. Солнце поднялось над синими хребтами и сразу обрушило на землю потоки золотистых лучей. Стало жарко, лица покрыла испарина, в воздухе надоедливо звенели мухи, садились на лоб и щеки.

Моджахеды шагали размеренно, час за часом, не обнаруживая признаков усталости. Сергей Игошин слышал об их выносливости и неприхотливости, а теперь сам воочию видел это. Самим же пленникам приходилось нелегко, пот заливал глаза, то и дело спотыкались о камни, в легкой обуви по тропам не особенно разбежишься. Чтобы отвлечься и не думать о тяготах дороги, Сергей разглядывал окрестности. Ничего впечатляющего не было, каменистая пустошь понижалась к востоку, далеко впереди серебристой нитью струилась

река, кое-где виднелись развалины брошенных селений. И над всем этим миром безмолвия и бесплодия царило неистовое солнце, выжигая все, что не могло хоть как-то приспособиться к зною и отсутствию влаги.

— Дойдем до речки, там остановимся на привал до вечера, — проговорил Джим, шагавший за пленными. — Самая жара начинается, нужно переждать ее.

До речки дошли к полудню, моджахеды снова разбились на группы, устроились где кому понравилось. Разожгли костры, принялись готовить пищу.

Сергей и Николай растянулись на земле, есть не хотелось, только поднимались и пили без конца.

Джим не беспокоил их, он варил похлебку в небольшом казане, а когда она была готова, поднял вертолетчиков и заставил немного поесть.

— Совсем выбьетесь из сил, — сказал он, — будете задерживать отряд. И так моджахеды косятся на вас, а тогда вообще обозлятся.

— Пристрелят? — поинтересовался Дашкевич.

Джим усмехнулся.

— Этого я вам не обещаю, вы для нас ценный товар. Будут гнать палками, как верблюдов.

Поели, устроились на отдых, хотя под палящим солнцем особо не разнежиться. Хорошо, хоть развалины кишлака были рядом. Устроились в тени полуразрушенных стен и заборов. Забылись в тяжелой дреме.

— Джим, так чем мы так ценны для вас? — спросил Сергей, открыв глаза и повернувшись к американцу.

Тот помолчал, словно раздумывал — отвечать или нет?

— Командованием моджахедов дан приказ захватывать в плен летчиков и переправлять их в лагерь в Пакистане. Скоро мы получим вертолеты, будете обучать наших парней, а то и сами совершать боевые вылеты.

— Вот это номер! — изумился бортмеханик. — Как это — сами совершать боевые вылеты? Против своих?

Джим приподнялся, сел, опершись спиной на глинобитный забор.

— А куда ты денешься? Под дулом автомата будешь летать как миленький.

«Ну, это вряд ли, — подумал Игошин. — В воздухе можно такой заложить вираж, и куда твои автоматы денутся. А если на то пошло, можно и аварию устроить, все лучше, чем воевать против своих.

— Это летчики, — вслух поразмыслил Дашкевич, — а я-то бортмеханик...

Джим иронически успокоил его:

— Ты тоже без дела не останешься. Кто-то должен обслуживать технику, да и тех же технарей готовить.

— Ну, если так, — неопределенно пробормотал Дашкевич.

Американец завозился, устраиваясь поудобнее.

— Чудаки вы, советские люди. Сколько сталкиваюсь с вами, столько не перестаю удивляться. Набили вам в головы коммунистической мякины, самостоятельно мыслить разучились. Живете понятиями «Родина, долг, идея». Я вот полмира объездил, и везде мне родина была. Есть деньги, повсюду будет комфортно. Вот ты, майор, ну что ты видел в жизни, кроме гарнизонов и скудной зарплаты? И тут, в Афгане, за что воевал? Нужен ты тут? Нет, конечно. Вся страна поднялась против вас, весь мир моджахедов поддерживает. Стало быть, правота не на вашей стороне. Вам сейчас такой шанс выпал, разом можете свою жизнь изменить. Будете учить афганцев летать, сами про-

водить боевые операции, такие деньги вам будут платить, каких вы во сне не видели. Два, три года, соберете приличный капитал — и катите в любую страну по выбору. Я бы вам советовал в Канаду податься. Сказочная страна, природа изумительная, мир, неиспорченный цивилизацией, и возможностей для состоятельного человека хоть отбавляй. Хотите, будете и там летать, не хотите, живите на собранные деньги как вам вздумается. Никакой партком вами руководить не будет, ничьих указок слушать не будете...

Сергей Игошин внимал откровениям американца, в чем-то соглашался с ним, а что-то не принимал. Действительно, жизнь не баловала его, и служба в армии тоже не была праздником. И все-таки это была его жизнь, правильная или неправильная, но другой он не желал. Конечно, Канаду бы он хотел посмотреть, но обосноваться там навсегда — это уж извините. Правильно на Руси говорят: где родился, там и пригодился, или — чужая земля хороша, да не всякий росток на ней приживается...

— Ну, что молчите, господа советские офицеры? — осведомился не без ехидства американец. Опять ваша идеология мозги туманит?

— Подумать надо, — неопределенно отозвался Дашкевич.

— Думайте, времени у вас достаточно будет.

Ближе к вечеру снова отправились в путь. Опять шагали размеренно, по пустошам, а то поднимались на пологие возвышенности, усеянные черными, словно покрытыми лаком камнями. Казалось, конца не будет этим монотонным переходам.

Перебрались через глубокий, сухой сай, русло некогда протекавшей тут реки. Блеклое небо начало сереть, синие тени обозначились у подножия круглых валунов. Еще час, и мгла начнет затягивать окрестности. Остановились на ночлег у саксауловых зарослей. Приземистые деревца поражали причудливыми изгибами, ветви будто старались укрыться одна под другой от нестерпимого, многомесячного зноя.

Наломали сухих веток, запылали костры. Поужинали не очень сытно и вытянулись у огня на одеялах.

— Могу вас поздравить, — засмеялся Джим. — Мы вошли в зону безопасности. Вам-то, летунам, известно, что это такое.

— Да уж куда лучше, — ответно усмехнулся Сергей Игошин. — Не раз летали вдоль нее.

— А скажи честно, майор, приходилось нарушать ее черту?

— Если честно, приходилось, — признался Сергей. — Война, она вся состоит из исключений.

Он припомнил, как однажды преследовал банду, удиравшую от вертолета на джипах. Те петляли между обломками камней и промоинами, и никак не удавалось поймать их в прицел, чтобы пустить ракеты. Банда залетела в зону безопасности и снизила скорость, уверившись, что ушла от преследования. Вертолет пролетел над моджахедами, развернулся, и ракеты дымными струями полетели вниз. Разрывы, огонь, смешанный с пыльными столбами. А когда видимость восстановилась, обстреляли из пулемета тех, кто уцелел. Банду тогда уничтожили полностью.

Правительство Пакистана направило ноту протеста в Москву советскому руководству. Командира вертолета, тогда капитана Игошина, командование 40-й армии пожурило для вида, а потом наградило орденом Красной Звезды. Не обошли и других членов экипажа. Но Сергей не стал распространяться об этом случае. Кому-кому, а американцу не стоило давать информацию о боевых вылетах, потому майор ограничился еще одним словом:

— Приходилось...

Через два дня банда шла уже по территории сопредельного Пакистана.

Игошин и Дашкевич осматривались по сторонам. Одно дело знать страну по картам и совсем другое воочию видеть ее. Пейзажи не впечатляли, та же бесплодная земля со степной и полупустынной растительностью. Цепи гор по горизонту, словно зубчатые пилы, вонзившиеся в небесный шатер. Николай припомнил их названия: Сулеймановы горы, отроги Гималаев, нагорье Белуджистан... Слева Иран, справа Индия, только до нее шагать и шагать... Туристов сюда не заманишь, никакой экзотики, неслучайно территория Пакистана на картах окрашена в коричневые и желтые цвета с редкими зелеными пятнами.

Видели стада верблюдов, которым тут приволье, иногда попадались небольшие селения с чахлыми деревцами и квадратами полей близ водоемов, а так все те же пустоши, на которых негде остановиться взгляду. Места достаточно для полигонов, где готовят боевиков, и лагерей, в которых содержатся советские и афганские военнослужащие, захваченные в боях.

В один из таких лагерей и поместили пленных вертолетчиков. Сергей Игошин представлял их похожими на фашистские концлагеря, с бараками, двумя рядами колючей проволоки на столбах, между которыми бегают свирепые овчарки, вышками с охраной, и даже крематорием. Оказалось, ничего подобного. Та же пустошь, огороженная глинобитным забором, по углам дощатые помосты с крышей из шиферных плит, и вдоль заборов навесы, под которыми пленные укрывались от жары и непогоды. На помостах сидели бородатые моджахеды с автоматами в руках.

Со скрипом отворилась створка дощатых ворот, вертолетчиков втокнули на территорию лагеря. Под навесами виднелись пленные, кто сидел, опершись спиной на забор, а кто полулежал на жестких циновках.

Сергей и Николай осматривались, прикидывая, к какому навесу им податься. Тут же, вслед за ними, на территорию лагеря вошел американец с приземистым, волосатым моджахедом свирепого вида, с автоматом на изготовку.

— Это Исмаил, комендант лагеря, — представил моджахеда Джим. — Как говорят у вас: можете любить и жаловать. Слова он тратить не любит, предпочитает заменять их пулями. Так что сидите смирно и не нарывайтесь на неприятности.

— И сколько нам сидеть? — поинтересовался Игошин.

Джим пожал плечами.

— Как сложатся обстоятельства. Вскоре должны прибыть вертолеты, тогда и займетесь делом. Ну, а если их не пришлют, посидите до обмена или выкупа. А может, надумаете присоединиться к борцам за веру, тогда в другой лагерь переберетесь, где обучают боевиков. Выбор у вас богатый...

— А как же зимой тут пленные выживают? — спросил Дашкевич, обводя взглядом навесы. — Я помню, нам говорили, холода в Пакистане зимой до двадцати градусов доходят. А то и поболее...

Американец развел руки в стороны.

— Вам никто не обязывался создавать тут курортные условия. Такие лагеря не рассчитаны на длительное пребывание в них пленных.оборот здесь большой. Два-три месяца, или туда, — американец махнул рукой в сторону ворот, — или туда.

За дальней стеной лагеря уходили в степь приземистые холмики. Было ясно, что это кладбище.

— Ладно, — заключил Джим, — пока устраивайтесь, обживайтесь. Как будут новости, я вас навещу.

Он сказал несколько слов коменданту лагеря. Тот прорычал что-то невнятное и толкнул вертолетчиков к ближайшему навесу.

— Исмаил говорит: там есть свободные места. Знакомьтесь с коллегами, они вам сообщат, какой тут распорядок. Ну, пока.

Американец с комендантом лагеря направились к воротам. Охранник распахнул перед ними створку, а потом снова затворил ее за ушедшими.

Игошин и Дашкевич направились к указанному навесу. Под ним было довольно многолюдно, все в военной форме, но изрядно поношенной и выгоревшей.

Навстречу им поднялся офицер, годам к сорока, но без знаков различия.

— Давайте знакомиться, — сказал он, протягивая руку вертолетчикам. — Подполковник Малеев Иван Степанович, командир батальона десантников. Теперь, можно считать, в отставке.

Игошин и Дашкевич представились в свою очередь.

— Располагайтесь, — Малеев указал на просвет у края навеса. — Как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Сергей и Николай сели, с наслаждением вытянув гудящие от усталости ноги.

— И как же вы угодили на наш постоянный двор? — поинтересовался подполковник.

Вертолетчики коротко поведали о случае своего пленения. Их слушали и смотрели на них с любопытством.

— Все мы попали сюда не по своей воле, — согласился подполковник. — Мой батальон очутился в засаде тоже в ущелье, выстрелом из гранатомета оглушило и контузило меня. Очнулся, двух третей батальона нет, остальные под дулами автоматов. Был бы в памяти, не дался бы живым, — произнес Малеев с горечью.

Николай и Сергей рассматривали своих товарищей по несчастью. В основном все были молодые, до тридцати, офицеров мало, рядовые и сержанты. Пока все казались на одно лицо, невымытые, нестриженные, мало похожие на строевых военнослужащих. Оно и понятно, у доброго хозяина скотина лучше содержалась, чем военнопленные в Пакистане.

Подполковник посмотрел на запыленные лица вертолетчиков, покрасневшие белки глаз, ввалившиеся щеки.

— Давайте, ребята, — предложил он, — поспите часок-другой. Потом будете обвыкаться и знакомиться. Времени для этого достаточно.

Сергей и Николай легли на жесткие, потемневшие циновки, сплетенные из стеблей камыша, и сразу же погрузились в сон. Многодневный переход по предгорьям и каменистым пустошам дался им нелегко.

Пробудились уже под вечер. Сбоку от навеса, у забора горел огонь в очаге, сложенном из камней. На нем был установлен вместительный котел, в котором что-то варилось. Такие же костры светились и у других навесов.

— Общей кухни тут нет, — пояснил Малеев. — Каждый навес вмещает пятьдесят человек. Значит, всего в лагере нас двести солдат и офицеров. Готовим сами. Нам выдают горох, дробленую пшеницу, свеклу, три банки мясных консервов на каждый котел. Из всего этого варим себе похлебку. Она на обед и ужин. Завтракаем черными лепешками и чаем. Ни масла, ни сахара не полагается. Как говорится, особо не разжиреешь. Заболевших и истощенных, понятное дело, не лечат. Гонят их туда, — подполковник махнул рукой на дальнюю оконечность забора, — расстреливают и всех сваливают в общую яму. В братскую могилу, так сказать.

— И никакого выхода? — спросил Игошин.

Подполковник пожал плечами.

— Как тебе сказать, майор? Каждую неделю приходят вербовщики, предлагают идти к борцам за веру. Пошел — значит, выжил.

— И идут?

— Отчего не идти? Только не мы, славяне. Бандиты нас не особо почитают. Идут солдаты мусульманского толка, из национальных республик. Да ты сам увидишь.

Поужинали, на пятьдесят человек содержимого котла было маловато. Поэтому каждому досталось еды по половине алюминиевой миски и куску черствой лепешки.

Стемнело, на помостах, где сидели охранники, зажглись прожекторы, освещавшие крест-накрест территорию лагеря.

Подполковник лежал рядом с вертолетчиками. Разговаривали вполголоса.

— При таких заборах и охране и убежать из лагеря можно? — предположил Игошин.

Малеев хмыкнул.

— И куда? Вглубь Пакистана не пойдешь, поймают и выдадут. За беглых местным жителям полагается вознаграждение. В Афганистан? Выйдешь в ограничительную зону, там моджахедов полно. Сразу угодишь им в лапы, на куски ножами порежут. Нет, брат, тут мы сами себя лучше охраны сдерживаем.

— Так что же делать? — не выдержал бортмеханик. — Ждать, пока с голоду подохнем?

— Надо подумать, — отговорился Малеев уклончиво.

— А вы сами давно тут? — спросил майор.

Подполковник вздохнул.

— Я тут старожил, уже три месяца.

Дни тянулись медленно, перетекали один в другой, как расплавленная масса при заливке тротуаров. Все, о чем говорил подполковник, вертолетчики увидели своими глазами. Примерно через неделю пленных построили на площади посреди лагеря. Вдоль длинной шеренги шли уже знакомый американец Джим, комендант лагеря Исмаил, не расстававшийся с автоматом, еще один моджахед в камуфляже и двое европейцев в гражданской одежде.

Джим осмотрел пленных, брезгливо поморщился.

— Неужели вам хочется превращаться в скотов? Посмотрели бы вы на себя со стороны. А ведь у вас есть возможность изменить свое существование.

— Создайте человеческие условия, и мы будем походить на людей, — не выдержал русоголовый крепыш в тельняшке с закатанными рукавами.

Джим с откровенной неприязнью посмотрел на говорившего.

— Человеческие условия создаются для пленных военнослужащих, вы же таковыми не являетесь. Вы вторглись в Афганистан без санкции Совета безопасности ООН, и потому вы оккупанты, приравниваетесь к наемникам, на которых Международные соглашения не распространяются. Таких расстреливают без суда и следствия. Вот представители гуманитарных миссий, они могут подтвердить мои слова.

Один из европейцев, стоявших рядом с Джимом, утвердительно закивал.

— Да, это так есть, — произнес он с сильным акцентом.

Джим положил руку на плечо моджахеда в камуфляже.

— А это один из руководителей движения за освобождение Афганистана. Он предлагает вам вступить в его отряды. Тысяча долларов в месяц, прекрас-

ное питание, добротная одежда, через три года можете уехать в любую страну мира. Об этом подписано специальное соглашение с нашими западными союзниками.

Пленные стояли молча. Наконец двое смуглых, темноволосых парней вышли из шеренги. Они склонили головы, чтобы не встречаться взглядами с товарищами.

— Мы согласны вступить в отряды, — пробормотал один из них.

— Отойдите в сторону, — распорядился американец. — Больше нет желающих? Ну, смотрите, как бы потом не пожалеть. Разойдись.

Пленные разошлись по своим местам.

Навесы защищали от прямых солнечных лучей, но не спасали от зноя и холода. Томила духота, пленные обливались потом, страдали от жажды. Воды выдавали на день по две пятидесятилитровых фляги на пятьдесят человек. Этого едва хватало, чтобы готовить пищу. О том, чтобы умыться и постирать одежду, не было и речи. Раз в две недели пленных по десять человек выводили из лагеря и гнали в сторону небольшой речки. Она была мелкой, по щиколотку глубиной. В ней обмывались, замачивали одежду, потом выжимали ее и сырой натягивали на себя. Сушили собственным теплом. Мыла не полагалось.

Безразличие к своей судьбе овладевало пленными. Ждали обмена на моджахедов, выкупа, чего угодно, лишь бы обрести свободу, но с этим советское командование не спешило. Или не было возможности, или, как в годы Великой Отечественной войны, к военнослужащим, попавшим в плен, относились, как к изменникам? А может, и то, и другое?

Порядок в лагере был жесткий. Всем вместе собираться запрещалось, охранники могли открыть огонь без предупреждения. Переходить от одного навеса к другому тоже было запрещено. По утрам и вечерам можно было походить у своего навеса, чтобы размяться, но не дальше.

Сергей и Николай познакомились со своими товарищами по несчастью. В основном это были пехотинцы, летчик был только один. Он летал на транспортнике, самолет подбили. Выпрыгнули с парашютами, но капитан Трофимов уцелел только один, остальных моджахеды расстреляли в воздухе. Капитан был озлоблен своим положением. «Зубами бы их загрыз», — говорил он, косясь на моджахедов, приходивших в лагерь.

Дней через десять большая группа охранников, вооруженных до зубов, прошла по лагерю, осматривая пленных под навесами. Несколько человек заболели, лежали с высокой температурой, с трудом поднимались на ноги. Товарищи старались как-то облегчить их положение, но чем они могли помочь без врачей и медикаментов?

Больных пинками и прикладами автоматов заставили встать и повели к воротам. Такие же нашлись и под другими навесами. Всего собралось около десяти человек. Шатающихся от слабости, их погнали к кладбищу. Вскоре оттуда донеслась дробь автоматных очередей.

— Отмучались, — проговорил подполковник Малеев, страдальчески морщась.

Остальные пленные молчали. Их всех переполняли ненависть к врагам и осознание собственной беспомощности.

Майора Игошина поджидала приятная неожиданность. В первые же дни один их пленных подошел к нему.

— Товарищ майор, не узнаете меня?

Сергей всмотрелся и удивленно ахнул:

— Самад, неужели это ты?

— Как видите, — улыбнулся тот.

Самад Вафоев был переводчиком в мотострелковом полку, к которому было придано вертолетное звено майора Игошина. Трудно было узнать в этом худом, неряшливом пленном прежнего аккуратного и общительного парня, но Сергей узнал его сразу.

— Вот это встреча! — удивленно проговорил он. — Ты-то как в плену очутился?

— Целая история, — Самад покачал головой. — Наше подразделение окружило в горах группу моджахедов, которой командовал полевой командир Султонмахмад. Предложили бандитам сдаться. Они согласились пойти на переговоры, потребовали прислать представителей. Мы отправились к ним, трое, старшим был капитан Самойлов из политотдела. Никаких переговоров не было. Нас взяли в заложники. Султонмахмад заявил: или их выпустят, или заложников убьют. Их выпустили. Самойлова и второго офицера бандиты расстреляли, а меня увели с собой. Рассчитывали, что перейду на их сторону.

— И что помешало? — поинтересовался Дашкевич.

— Многое, товарищ старший лейтенант. Во-первых, мне, как советскому человеку, с бандитами не по пути. Во-вторых, я — таджик, а моджахеды — пуштуны. Для них таджики такие же враги, как и русские.

— Понятно, — протянул бортмеханик.

Самад перебрался поближе к вертолетчикам, и они, трое, теперь были все время вместе. Что ни говори, а дружба в таких условиях облегчает монотонное и тягостное существование.

Самад часто подходил к помосту, на котором сидел охранник, и подолгу беседовал с ним.

— Как это ты свел такое знакомство? — удивился Игошин.

— А это наш человек, узбек, правда, из Бухары. Учился в Москве, инженер-дорожник. В Афганистан прислали как специалиста, строили мост через реку Кабул. Моджахеды напали на дорожников и утащили с собой. Зовут его Джафар. Не стал упорствовать, перешел на сторону моджахедов, говорит, что жизнь дороже принципов. Прошел подготовку, скоро его отряд должны перебросить в Афганистан, а пока сторожит лагерь.

— По-русски говорит? — спросил Игошин.

— Не хуже нас с вами. Он же учился в Москве. Конечно, тяготится своим положением, но назад, как говорится, хода нет.

— Полезное знакомство, — подумал вслух вертолетчик. Но тогда он еще не мог и предположить, насколько оно окажется полезным.

Дни тянулись неспешно, как цепочка верблюдов. Днем томила жара, при нехватке воды она была просто мучительной. Ночами, правда, становилось полегче. Осень захватывала позиции в этом бесплодном крае, с гор тянуло прохладным ветром. Через день-два в лагерь навевывался комендант лагеря Исмаил со своими подручными. Пленных выстраивали на пустыре, посреди лагеря, а под навесами учиняли обыски. Хотя, что можно было найти у заключенных, лишенных общения с внешним миром? Часто приходили вербовщики, звали в отряды моджахедов, обещали всякие блага. Агитация находила отклик, измученные военнопленные откликались на их предложения. Правда, таких было немного. Что касается вертолетчиков, то они держались, хотя терпение было уже на исходе.

Иногда появлялся Джим, морщился, сетовал на то, что обещанные вертолеты запаздывают. Игошина и Дашкевича это тоже огорчало. Им казалось, что на привычных винтокрылых машинах было бы легче совершить побег.

Насколько положение пленных в лагере было непрочным, показал такой случай. Комендант лагеря с десятком охранников осматривали своих подопечных, выявляя больных и ослабевших, от которых следовало избавиться. Один из десантников лежал в жару, в полубессознательном состоянии. Исмаил пальцем указал на него, но тот самый русоволосый крепыш в тельняшке заслонил собой товарища.

— Не троньте его, — сказал он. — Парень выздоровеет.

Исмаил побагровел, явное сопротивление привело его в бешенство. Он замахнулся автоматом, чтобы ударить русоволосого крепыша, но тот оказался проворнее. Хлестким ударом в челюсть он сбил с ног коменданта лагеря. Все оторопели от неожиданности. Охранники подняли коменданта лагеря на ноги. Тот отрывисто выкрикнул какое-то приказание. Ощетинившись автоматами, охранники загнали пленных под навес, русоволосого крепыша схватили и поволокли к воротам.

— Конец парню, — проговорил с сожалением подполковник Малеев. — Пристрелят.

Но наказание оказалось страшнее. В одну из створок ворот были ввинчены четыре кольца, два вверху и два внизу. К ним за руки и за ноги привязали бунтовщика, лицом к доскам. Сорвали с него тельняшку, а затем один из моджахедов ножом принялся срезать со спины парня кожу. Действовал сноровисто, не обращая внимания на крики истязаемого человека.

Муки были нестерпимыми. Парень извивался, но привязан был надежно. Кровь стекала на землю, вокруг него роились мухи и слепни, вонзавшие жала в сплошную рану на спине.

Бунтовщик провисел на створке ворот двое суток, пока не умер. Его тело отвязали и уволокли на кладбище, туда же утащили и заболевшего десантника.

— Глупая смерть, — с горечью заметил подполковник. — Если уж погибать, так с пользой для дела.

Майор Игошин не понял.

— Как это? Для какого дела?

— Погоди немного, — отговорился Малеев. — Придет время, узнаешь.

Сергей был впечатлительным, страшная гибель товарища потрясла его. Николай Дашкевич тоже переживал, но он был покрепче характером и сохранял душевное равновесие. Тем не менее, с ним произошла удивительная история, о которой стоит рассказать.

Как-то у помоста, на котором сидел охранник, появилась женская фигура, закутанная в черное покрывало. Женщина о чем-то переговорила с охранником Джафаром, тот выслушал ее и подозвал переводчика Самада.

— Слушай, — сказал Джафар, — у вас есть мастер, который может ремонтировать всякие домашние механизмы?

Самад поразмыслил.

— Есть у нас бортмеханик Николай. Командир говорил, что у него умелые руки.

— Позови его сюда, — попросил Джафар.

Дашкевич подошел к помосту, посмотрел на женщину. Нижняя часть ее лица была закрыта полосой черной ткани, фигура была неразличима под бесформенным одеянием, но Николая поразили глаза: большие, блестящие, слегка удлинненные к вискам. Они походили на драгоценные камни и могли соперничать с ними по чистоте и ясности.

«Каким же красивым должно быть ее лицо», — подумал Николай.

Джафар подал бортмеханику металлический четырехугольный предмет с ручкой.

— Слушай, усто (мастер, значит), — проговорил Джафар. — Это бедная женщина, мужчины у нее нет, ей не к кому больше обратиться. У нее сломалась ручная мельница, она молола ею зерна. Ты можешь починить эту машинку?

— Надо посмотреть, — ответил Николай. — Починить можно что угодно, только для этого нужны инструменты и запчасти.

— Скажи, какие нужны инструменты, я принесу, — сказал Джафар. Бортмеханик осмотрел ручную мельницу.

— Мне нужны отвертка, плоскогубцы и молоток, — прикинул он. — Попробую что-нибудь сделать.

На другой день Джафар принес ему необходимые инструменты.

Поломка оказалась пустячной. Сломался шпенок, крепивший одну из шестеренок. Николай нашел подходящий гвоздь в столбе навеса, вытащил его, обрубил до нужного размера и закрепил шестеренку. Покрутил ручку, мельница была примитивной и старой, но, тем не менее, работала.

— Будет молоть, — заключил бортмеханик.

Он передал мельницу женщине и поднял большой палец вверх, давая понять, что все в порядке. Она одарила его таким благодарным взглядом, что у него даже защемило сердце. Это насколько же нужно быть беззащитной и обездоленной, чтобы так искренне благодарить за сущую пустяковину.

— Кто она такая? — спросил Николай у охранника.

— Э-э, — протянул Джафар. — Самое несчастное существо в мире. Зовут ее Фатьма. Она пенджабка, есть такой народ в Пакистане. Полевой командир Хайдар купил Фатьму себе в жены у ее родителей...

— У родителей? — удивился Дашкевич. — Разве так бывает?

Джафар махнул рукой.

— На Востоке бывает. Ее отец занял у богача деньги, чтобы прикупить товары в Исламабаде, а потом продать у себя в селении, понятное дело, с наценкой. Но в дороге его ограбили, нужно было долг отдавать, а нечем. Возмен он расплатился дочерью.

— И что потом? — продолжал допытываться бортмеханик.

— Хайдар привез ее в свое селение Бадайбер, оно вот тут, рядом. Через год его убили наши... ваши, — поправился Джафар. — Фатьма осталась одна. Детей нет, родни нет, сыновья Хайдара выгнали ее из дома. Зачем она нужна, кормить лишний рот?

— Какие сыновья у Хайдара? Ты же сам сказал, он только женился, — продолжал удивляться Николай.

— Э-э, — снова протянул охранник, дивясь непонятливости вертолетчика. — Он взял ее четвертой женой, а от трех первых у него шестеро детей.

— Вон оно что. И как теперь Фатьма живет?

— Плохо живет, — сочувственно проговорил Джафар. — Ютится вон там, в развалинах. Ходит по окрестным селениям на заработки. Кому жилище уберет, где белье стирает, где с детьми посидит. Кто покормит ее, кто денег немного даст, тем и держится. Бедная женщина.

— И сколько ей лет? — поинтересовался Дашкевич.

— Старая уже, двадцать лет. Кто такую замуж возьмет, да к тому же еще и нищенку?

Ночью Дашкевич долго не мог уснуть. Товарищи давно забылись во сне, а он все лежал с открытыми глазами и всматривался в темноту. И виделась ему большие, чистые глаза молодой пенджабки, в которых было столько горя, страдания и робкой признательности за оказанную помощь. И даже пожалел

Николай, что так быстро починил ручную мельницу. Когда он теперь увидит Фатьму?

Джафар охранял пленных сутки через двое. И именно в его дежурство Фатьма пришла снова. Джафар о чем-то переговорил с ней, а потом позвал Дашкевича. На этот раз пенджабке нужно было починить утюг. Таких утюгов бортмеханик никогда не видел, тяжелый, чугунный. Сверху откидывалась крышка, внутрь утюга засыпали тлеющие угли, а потом размахивали им. Через прорези сбоку врывался воздух, угли разгорались, и утюг нагревался. Такой древности место только в музее, а для молодой женщины он был настоящим сокровищем.

У утюга сгорела деревянная ручка. Николай попросил у охранника нож и обломок подходящей ветки. Сделал ручку лучше прежней и вручил утюг Фатьме. И снова в глазах ее светилась благодарность, и они даже повлажнели от слез. Она прижала руку к сердцу, потом поднесла ее ко лбу и губам, которых, правда, не было видно под полосой ткани, закрывавшей нижнюю часть лица. Николай тоже прижал руку к сердцу, а потом махнул ею и сказал: «Пустяки, всегда готов помочь».

И помогал. Фатьма принесла нож, одно название только, и показала, что не режет, тупой. Николай наточил его на камне. Потом привел в порядок такие же древние ножницы. Просьбы следовали одна за другой. Николай с удовольствием выполнял их и поймал себя на том, что стал ждать очередного прихода Фатьмы. Она походила на диковинный цветок, до того нежный, что до него боязно было даже дотронуться.

— Полюбила она тебя, летчик, — засмеялся Джафар. — Я ей сказал об этом, она смутилась, хотела убежать. Это понятно, никто к ней с таким участием тут не относится.

— Но почему? — Николай не переставал удивляться укладу незнакомой жизни.

— Чужая она тут, — пояснил охранник. — Одинокая, авторитетных родственников нет. Кому нужна такая? И домой вернуться не может, боится, далеко, и продали они ее.

Сочувствие к молодой пенджабке переполняло сердце Николая. Таких обездоленных и одиноких существ ему не приходилось видеть. Как не пожалеть ее? И стал Дашкевич скучать по Фатьме и ожидать с нетерпением ее прихода.

Когда Фатьме нечего было приносить для ремонта, она приходила просто так. Стояла у забора и терпеливо ждала. А когда видела Николая, то просто расцветала от радости. И неважно, что было закрыто лицо, ее глаза были выразительнее любых изъявлений чувств. Сперва они переговаривались с помощью переводчика Самада, тот знал немного язык пуштунов, и Фатьма тоже. А дальше переводчик им стал не нужен, стеснял он их. Когда люди нравятся друг другу, то и слова не нужны, достаточно взглядов и жестов.

Товарищи Николая по заключению с интересом наблюдали за тем, как развиваются отношения белоруса Дашкевича и пенджабки Фатьмы. «Прямо хоть роман пиши, — заметил подполковник Малеев. — Верно говорят, что любовь где угодно расцвести может».

Сергей Игошин даже позавидовал своему боевому другу, тот перестал замечать тяготы лагерного плена и целиком погрузился в поток большого и светлого чувства.

— Послушай, Николай, похоже, ты всерьез увлекся своей туземкой? — полушутливо-полусерьез спросил Сергей как-то у Дашкевича.

Тот смутился.

— Можно сказать и так.

— Неужели ты за свои тридцать с лишним лет ни разу не влюблялся? — продолжал допытываться Игошин.

— А в кого? — ответил Дашкевич вопросом на вопрос. — Школьные увлечения нельзя считать серьезными. А дальше училище с его военной дисциплиной, а потом служба в гарнизоне на Севере. Там какие женщины? Официантки да разведенки. На таких разве только с мужской голодухи кинешься, а уж жениться, извини. Стоило ли становиться десятым мужем? Так и живу один.

Игошин вздохнул. Он как раз и женился на официантке из офицерской столовой. Показалась ему скромной и порядочной, а когда убедился, что это не так, уже двое детей народилось. Поначалу закрывал глаза на доступность для всех своей супруги, потом, когда невмоготу стало, попросился добровольно в воюющий Афганистан.

— Фатьма зацепила меня своей незащищенностью и нуждой в участии, — продолжал откровенничать бортмеханик. — С ней даже плен перестал тяготить.

— И как ты видишь ваши дальнейшие отношения? — поинтересовался Игошин.

Дашкевич пожал плечами.

— А как их можно видеть? Мы тут в клетке, особо не разбежишься. И убивают нас, и истязают. На день вперед и то нельзя загадывать. Можно было бы, забрал бы ее с собой.

И верно, каждый день случались происшествия. Комендант лагеря Исмаил со своими подручными то пристреливал кого-нибудь со злобы, то избивал до полусмерти. А то как-то отобрали десяток пленных покрепче и увели, и больше они не вернулись в лагерь.

— В рабство продали, — пояснил охранник Джафар.

— Разве можно? — поразился бортмеханик.

Джафар покачал головой.

— Исмаил тут — царь и бог. Что хочет, то и делает. Кто ему что скажет?

Вертолетчиков комендант лагеря, правда, не трогал. Видно, накрепко ему было приказано беречь летунов.

Бесцветные, пустые дни тянулись один за другим. Обещанные вертолеты так и не прибыли, видно, западные покровители моджахедов не спешили с поставками. У них свои соображения на этот счет были.

Осень неспешно раскручивала свои витки, ночами становилось прохладнее. Небо заметно выцвело, часто налетали пыльные бури. Все вокруг заволакивала белесая мгла, по пустырю лагеря неслись струи песка и пыли. Дышалось тяжело, на всем лежал пылевой слой, тонкий, как цементная мука. Пыль медленно оседала, выбеливая окрестности и превращая воду в речке в жидкий кисель.

Уныние и тоска царили в лагере. И лишь Дашкевич, встречаясь с Фатьмой, жил так, словно и не находился в четырех лагерных пределах с их безволием и кратковременностью существования.

— Ты как Жилин из «Кавказского пленника» Льва Толстого, — заметил как-то приятелю Игошин. — Помнишь такую повесть? Там еще татарка молодая была, помогла казаку бежать из плена.

— Читал в школе. Диной ее звали, — рассеянно отозвался бортмеханик. — Только Фатьма вряд ли поможет нам бежать. У самой душа неясно в чем держится.

На том разговор и оборвался.

По правде говоря, завидовал Игошин своему приятелю. Тот жил такой полной и содержательной жизнью, что даже удивительно становилось.

Охранник Джафар убрал с забора несколько глиняных кирпичей, образовался проем, и теперь Николай и Фатъма могли стоять почти вплотную друг к другу. Как-то раз она положила руку на верх забора, он коснулся ее, и она не убрала руку. С того дня он постоянно держал ее за руку. Говорить они не могли, не понимали друг друга, но их глаза были красноречивее всяких слов. В другой раз она осмотрелась, а потом решила и убрала полоску ткани, закрывавшую лицо. Николай даже задохнулся от волнения. Фатъма оказалась именно такой, какой он ее себе представлял. Слегка удлиненное, худенькое личико было полно неизъяснимой прелести. Все черты были правильными, полные губы красиво очерчены, не говоря уже о больших, слегка раскосых глазах. Немного выдавались верхние скулы, черные брови изгибались дугами и оттеняли влажный блеск глаз. Но что просто умилило Николая, так это то, что нос и щеки Фатъмы были усеяны мелкими, золотистыми веснушками. В народе их называют «поцелуями солнца», и светило не поскупилось на ласку к молодой женщине.

Николай Дашкевич понимал, что у его встреч с молодой пенджабкой нет будущего. Сам он пленник, на положении раба, всецело зависящего от настроения коменданта лагеря. Кто знает, что с ним будет завтра? Убьют, продадут в рабство, а может, в лучшем случае, обменяют на нескольких пленных моджахедов. И она тоже, живущая, как птичка, одним днем. Но может, именно поэтому их так тянуло друг к другу, ведь давно известно, что человек жив до той поры, пока в нем тлеет хоть искорка надежды. И они продолжали встречаться, используя для этого любую возможность.

А между тем каждый новый день приносил все худшие вести. Пришел американец Джим, вызвал вертолетчиков из-под навеса. Он выглядел расстроенным, хотя, по обыкновению, старался держаться бодрячком.

— Вот что, друзья мои, — проговорил он, морща губы в улыбке, — пришел попрощаться с вами.

— Как это? — не понял Игошин.

— Кончился срок моего пребывания в этих краях. Уезжаю в Штаты. Вместо меня другого пришлют, только вряд ли с ним у вас сложатся добрые отношения. Он будет решать другие задачи.

Понятное дело, Джим не стал пояснять, какие задачи будут у его преемника.

— И с вертолетами ничего не вышло, — продолжал американец. — Решили, что моджахедам они ни к чему. Десяток машин не принесут перелома в войне, а прислать больше, это значит нужно создавать ремонтную базу, готовить пилотов. Большие расходы, и все равно у советских будет преимущество в воздухе. Так что вы переходите в разряд обычных пленных. Жаль, конечно...

Ну, ладно, — оборвал Джим самого себя. — Желаю вам остаться в живых, а все остальное без вашего участия складывается.

Он обменялся с вертолетчиками рукопожатиями, чего не позволял себе раньше, и быстро зашагал к лагерным воротам.

Игошин и Дашкевич провожали его долгими взглядами. Печально, конечно, лишились они покровительства американца, и что теперь будет дальше, одному Богу известно.

Вторая новость была не лучше первой. Охранник Джафар уже в сумерках поманил к себе Игошина.

— Кончатся мои дежурства, — проговорил он вполголоса. — Через неделю наш отряд перебрасывают в Афганистан, к Кандагару. Вместо меня теперь будет пуштун Хусайн. Злобный человек, вас, шурави, ненавидит до глубины души. Будьте с ним осторожны, к забору не приближайтесь, сразу начнет стрелять. Фатме я скажу, чтобы тоже не приходила, мало ли что может быть.

Это известие погрузило Дашкевича в уныние. Не видеть Фатмы, ее лица в золотинках веснушек, робкой улыбки и таких чудесных глаз... Даже яркий, солнечный день потемнел для опечаленного бортмеханика.

Вечером под навесом состоялось совещание пленных.

— Вот что, дорогие мои, — проговорил подполковник Малеев. — Выжидать нам нечего. Впереди зима, померзнем, тут холода до двадцати градусов доходят, со снегом и ветрами.

— И что вы предлагаете? — спросил Игошин.

— Поднять восстание и добиться свободы.

Воцарилось молчание, а потом посыпались вопросы: «А как вы это себе представляете?», «Без оружия?», «Каким будет это восстание?»

Малеев поднял руку.

— Не все сразу. Забыли, что мы военнослужащие? Я предлагаю следующее. У тебя, майор, — подполковник обратился к Игошину, — сложились хорошие отношения с охранником Джафаром. Он скоро сменяется. Попроси его достать нам оружие. Один автомат, остальное мы добудем сами.

— Нас здесь пятьдесят человек, — вступил в разговор капитан Будаев, — а остальные пленные? — и капитан мотнул головой в сторону других навесов.

— С ними установлена связь, — пояснил подполковник. — Я лично переговорил со старшими офицерами. Ползал, как ящерица, по лагерю в сумерках. Все готовы поддержать нас. План в целом таков. Имея автомат, захватим Исмаила с его подручными, потом разоружим охранников. За лагерем, в полукилометре отсюда, находятся три домика, в которых размещается охрана лагеря. Нападем на их опорный пункт, там тоже есть оружие. Таким образом, окажемся не с голыми руками...

— Рискованно, — заметил капитан Будаев.

— Вся наша жизнь в Афгане — сплошной риск, — остановил его Малеев. — Иной доли у военнослужащих нет. Хватит нам сидеть тут, терпеть издевательства, унижения и ожидать смерти. В любом случае гибель, так пусть уж лучше по-солдатски, в бою.

— Захватим опорный пункт охраны, и что потом? — нетерпеливо осведомился танкист Хорошев.

— А дальше по обстоятельствам, — коротко отозвался подполковник. — План есть и на дальнейшее, но пока нужно осуществить то, что тут задумали. Хватит разговоров. Все согласны начать восстание или есть колеблющиеся? Никого не принуждаю, дело добровольное. Кто не согласен, может остаться в стороне.

— В стороне, не в стороне, — хмуро отозвался танкист, — в случае неудачи никого не оставят в живых. Так что командуйте, товарищ подполковник.

В сумерках, за час до того времени, когда в лагере вспыхнул прожектора, Игошин подошел к помосту, на котором сидел Джафар. Тот устроился поудобнее, свесил ноги с возвышения и вопросительно уставился на майора.

— Сказать что-то хочешь?

— И да, и нет, — ответил Сергей. — Жаль, что ты сменяешься. Плохо нам без тебя будет.

— Я уже говорил вам об этом, — согласился Джафар. — Но что поделаться, не хозяин я сам себе.

— Но тогда помоги нам напоследок, — продолжал Игошин. — Ты же знаешь, зиму нам не пережить. Холод, голод, расстрелы...

— Это так, — посочувствовал охранник. — Лагеря в Пакистане — это лагеря смерти. Или переходи к моджахедам, или умирай.

— Вот и я говорю, — майор подошел поближе к помосту. — И от тебя, Джафар, зависит: жить нам или не жить.

— От меня? — удивился Джафар. — Что я могу, майор?

Игошин счел, что пора переходить к цели.

— Достань нам оружие. Хотя бы один автомат.

— Й-е, — изумился охранник. — Ты, наверное, шутишь? Меня в ту же минуту расстреляют.

— Об этом никто не узнает, — твердо пообещал Игошин. — Мы начнем действовать только после того, как ты сменишься. Никто на тебя не подумает. Да и некогда будет искать виноватого, все будут заняты нашим восстанием.

Джафар покачал головой.

— Погибнете вы все. Что такое двести человек против армии Пакистана?

— Мы не будем вести долгой войны. У нас для этого нет ни сил, ни вооружения. Наша задача — прорваться в Афганистан и там добраться до своих.

Охранник поразмыслил.

— Может получиться.

Он долго молчал, о чем-то сосредоточенно размышляя.

Игошин не выдержал.

— Мы все тебя просим, Джафар. Пусть ты сейчас с моджахедами, но в душе ты все равно остался советским человеком. Иначе бы ты не стал нам другом.

— Верно говоришь, — со вздохом отозвался Джафар. — Ладно, майор, я помогу вам. Этот автомат дать не могу, он числится на мне. У меня есть другой, неучтенный. Я купил его у крестьянина на всякий случай за сто долларов. А он, видишь, пригодился.

Вспыхнули прожектора, заливая территорию лагеря мертвенным белым светом. Игошин отошел от помоста, на котором сидел охранник.

Через три дня, также в сумерках, Джафар передал Игошину матерчатую сумку, в которой находился разобранный автомат Калашникова. В следующее свое дежурство принес три рожка с патронами.

Пленные воспряли духом. Они вырыли под навесом углубление и спрятали в нем автомат на случай, если комендант лагеря затеет обыск. И стали ждать.

Джафар больше не появлялся. Его заменил пуштун Хусайн, худой, с длинной узкой бородой, вечно хмурый и трусливый. Чуть что, он хватался за автомат и щелкал предохранителем. Такой мог выстрелить не задумываясь, и пленные не подходили близко к его помосту.

Фатма, предупрежденная Джафаром, к лагерю не приближалась. Она стояла вдалеке, на холме, и походила на маленькое черное изваяние. Николай переживал, не находил себе места, бормотал сквозь зубы проклятия всем и всему, а потом Фатма исчезла.

Пора было действовать. Игошин и переводчик Самад в полутьме быстро подошли к помосту. Игошин наставил на Хусайна автомат, а Самад повелительно крикнул: «Эй, ты! Бросай оружие! Убьем!»

Охранник испуганно вскрикнул, спрыгнул с помоста на другую сторону забора и побежал, петляя из стороны в сторону. Его автомат остался лежать на помосте. Самад забрал его.

— Вот черт! — подсадовал майор. — Надо было задержать его.

— Он теперь от страха в горы убежит, — засмеялся Самад. — Чем он может навредить нам?

Ошибался переводчик, и дорого обошлась эта ошибка пленным мятежникам.

Оставалось ждать коменданта лагеря. Исмаил с тремя охранниками появился через два дня. Решили, зная его злобный нрав, не вступать с ним ни в какие переговоры. Десантники Авдеев и Самохин, хорошо владевшие оружием, короткими очередями положили всех четверых.

Трое охранников, оторопевшие от увиденного, не стреляли, что было только на руку восставшим. Забрали оружие у убитых, у Исмаила были еще пистолет и три гранаты. С автоматами пленные перепрыгнули через забор и, прижимаясь к нему, побежали к помостам с охранниками. Одного, попытавшегося оказать сопротивление, пристрелили, двое других сдались. Их связали и поместили под навесом.

— Сколько человек в вашем опорном пункте? — спросил их подполковник Малеев через переводчика.

— Семеро.

— Что делают?

— Один варит еду, другие отдыхают.

— Звуки выстрелов долетели до них?

Охранник утвердительно кивнул.

— Конечно, слышали, но не испугались. Исмаил часто убивал пленных, могли подумать, что и теперь также.

— Пойдешь с нами, поможешь — останешься в живых, — сказал подполковник.

Охранник торопливо закивал головой, выражая согласие.

Пятеро солдат переоделись в одежду моджахедов, взяли автоматы и повели перед собой с десятков пленных, направляясь к опорному пункту охраны. Моджахед, согласившийся помочь, шел впереди группы.

Часовой, ходивший по двору опорного пункта, всмотрелся и, узнав первого моджахеда, крикнул:

— Нурулло, куда ты ведешь это стадо?

— Исмаил приказал убрать во дворе. Открой ворота.

Часовой сдался без сопротивления. Связали и того, который находился у очага, в дальнем углу двора. С остальными охранниками оказалось сложнее. Они заподозрили недоброе и, засев у окон, открыли огонь, убив двоих повстанцев. С этими моджахедами покончили, бросив в окна две гранаты.

Взяли оружие, десять автоматов, много патронов россыпью, двадцать гранат. Не забыли продовольствие и камуфляжную форму. Та, что была на пленных, совсем обветшала.

Не знали, что делать с охранниками, связали их и погнали в лагерь. Разместили под навесом. Майор Игошин взглядом указал на них и вопросительно посмотрел на подполковника.

— Придется пустить в расход, — решил тот.

— Да как-то... — замялся Игошин.

Малеев зло усмехнулся.

— Мы не в игрушки играем. Они будут мешать нам, жалостливый ты, майор, сразу видно — не пехотинец. Ты думаешь, эти бандиты помиловали бы тебя в такой ситуации?

Десантники Авдеев и Самохин не стали рассуждать.

— Отойдите подальше, — распорядились они и пошли к навесу.

Загрохотали автоматные очереди, и с захваченными охранниками было покончено.

— Что дальше? — спросил Игошин у подполковника.

— А дальше, — сказал Малеев, — вот что. Перекусим, передохнем и во второй половине дня двинемся к Бадайберу. Город небольшой, в нем гарнизон из ста солдат. Попробуем взять их, довооружимся, запасемся продовольствием и формой и скорым маршем пойдем к афганской границе. Там уж кто кого опередит. Против нас бросят пакистанскую военную часть. С ней нам не тягаться. Наша задача — скорее достичь гор на той стороне и укрыться в ущельях. Если все получится так, как говорю, мы спасены. Другого выхода у нас нет. В Иран не сунешься, он на стороне моджахедов, до Индии не доберешься, нужно будет через весь Пакистан шагать. Только Афганистан, и только пробиваться к своим. Нас меньше двухсот человек, это даже не батальон, и почти все безоружные.

Вышли ближе к сумеркам, чтобы в предрассветной мгле достичь Бадайбера. Ускоренный марш не получался, пленных обессилило скудное питание. Шли колонной по трое, высылать вперед головную походную заставу не было нужды. Окрестности хорошо просматривались, вокруг простиралась равнина с редкими выступами холмов.

Сергей Игошин и Николай Дашкевич шли в одной шеренге.

— Невеселые места, — сказал Николай, кивком указывая на глинистый такыр, площадку, потрескавшуюся от зноя. — То ли дело у нас в Беларуси: пройдет дождь, все блестит изумрудами.

— Да-а, — рассеянно отозвался Игошин. Он привык осматривать землю с высоты полета, и теперь ему все было в диковинку: и каменистые площади, и кустики полыни, высохшие, рассыпающиеся в белесую пыльцу под ногами, и верблюжья колочка, обретшая коричневый цвет. Он вспомнил, что в Пакистане растительность степная и полупустынная, и теперь воочию видел, что это такое. Помнил по карте, что Пакистан омывается на юге Аравийским морем, где-то на востоке протекает река Инд, знакомая по детским книжкам, но где это, сориентироваться было трудно.

— Ребята, побыстрее, — торопил свой отряд подполковник Малеев, но видел и понимал: быстрее у его пехотинцев не получится. Всего лишь пятнадцать человек вооружены автоматами, кое у кого по гранате, да у самого подполковника пистолет, взятый у Исмаила. Вот и все вооружение у освободившихся пленных. Остальные шли с голыми руками. Захватить гарнизон в Бадайбере можно лишь с расчетом на внезапность. Не дай бог, что-то не так, все полягут.

Солнце медленно закатывалось за чернеющие вдали отроги Гималаев. Кое-где поодаль виднелись стада верблюдов, предоставленные сами себе. Дважды попадались небольшие селения, но безлюдные, ни огонька, ни дыма из очагов. То ли брошенные жилища, то ли жители их затаились, увидев шагающих строем людей.

Легкий ветерок тянулся по степи, овевая разгоряченные лица, нес запахи сухой полыни и пыли, лежавшей островками у больших камней.

Темнело, синяя мгла струилась к небу от земли, редкие облака золотились от лучей уже невидимого солнца. Бледными светлячками проступили на зеленой ткани небосвода первые звезды.

Часа два отдохнули и пошли дальше.

Подполковник Малеев прикинул:

— Скоро Бадайбер.

Небо заметно побелело на востоке, показались очертания домов, вершины пирамидальных тополей, словно пики, устремились ввысь.

Но внезапного нападения на гарнизон не получилось. Простучала пулеметная очередь, трассирующие пули огненными пунктирами пронесли над головами шагающих пленных.

— Рассыпаться в цепь! — выкрикнул подполковник Малеев. — Ложись! Залегли.

— Странно, — поразмыслил подполковник, — такое впечатление, словно нас ждали.

Их действительно ждали.

Охранник Хусайн, которому удалось убежать, добрался до Бадайбера. Именно он предупредил командира гарнизона, полковника Фаридуна Ахмадзая, о восстании в лагере пленных.

Полковник довольно усмехнулся. Он был убежденным врагом Советской страны. Сам человек зажиточный, он слышал, что в СССР отобрали у богатых земли и прочие владения, и это приводило его в ярость. Ведь такая зараза может проникнуть и в Пакистан. Весть о том, что советские войска вошли в Афганистан и устанавливают там свои порядки, еще более обозлила пакистанского полковника. Он поклялся любыми средствами бороться с коммунистическим режимом. Сам не принимал участия в боевых действиях, Пакистан официально не воевал с Советской страной, но именно полковник Ахмадзай принимал участие в создании лагерей, где обучали моджахедов, и тех лагерей, в которых содержали пленных советских военнослужащих. И вот теперь эти восставшие кафиры, неверные, идут в Бадайбер. Полковник, узнав о восстании, нисколько не сомневался, что освободившиеся пленные двинутся именно на его город. Иного просто не могло быть. Им нужно вооружиться, захватить продовольствие и воинское снаряжение и потом с боями прорываться в Афганистан.

И полковник Ахмадзай приготовил мятежникам достойную встречу. Теперь появилась возможность непосредственно столкнуться с ними и уничтожить всех, уничтожить наглядно, чтобы и в других лагерях пленным неподводно было затевать восстания.

По замыслу полковника Ахмадзая, пленных следовало пулеметным огнем и выстрелами из пушек бэтээров оттеснить назад, в лагерь, из которого они выбрались. Стрелять по верху голов, ну а если погибнет десяток-другой, не страшно. Главное, загнать их в лагерь, окружить, снова взять в плен, а потом возить по другим лагерям и показательно, на глазах их боевых товарищей, расстреливать. Советские пленные в Пакистане должны уяснить, от кого зависят их жизни и какая их ожидает участь, если осмелятся поднять головы.

Именно поэтому и усмехнулся довольно полковник Ахмадзай, узнав о приближении отряда к Бадайберу.

Высокий, сутулый, с длинным носом и по-совиному выпуклыми глазами, он стоял на бруствере окопа и в бинокль рассматривал идущую колонну.

Вот повстанцы залегли.

— Теснить их, не идти на сближение, — приказал полковник своим солдатам.

Солдаты полукольцом обхватили повстанцев, а прямо на них медленно наезжали два бэтээра, время от времени осыпая очередями из крупнокалиберных пулеметов. И пленным не оставалось ничего другого, как отступать

перебежками. Их теснили вглубь степи, туда, откуда пришли, а боковые оцепления не позволяли рассыпаться на группы.

— Как зверей, загоняют нас в ловушку, — догадался полковник Малеев. — Только зачем? Ведь могут всех положить в считанные минуты.

Но положить их всех пакистанцы не торопились. Пленные отбивались одиночными выстрелами, берегли патроны и по-прежнему отступали. Теперь назад двигались быстрее, чем шли к Бадайберу. К наступлению ночи прошли половину пути до лагеря.

Тьма синим покрывалом окутала окрестности. Пакистанцы запускали осветительные ракеты, которые зависали в воздухе и освещали равнину призрачным светом так, что различался каждый камешек. Полукольцо солдат ждалось настолько, что рассыпаться по сторонам не было возможности. Огненные струи пулеметных очередей пролетали над головами, но потерь было мало. В степи осталось лежать не больше двадцати человек.

К рассвету добрались до оставленного лагеря. Пленные заскочили внутрь и рассредоточились так, чтобы с каждой стороны было по несколько автоматов. Те, у кого были гранаты, расположились около стрелков. А безоружным оставалось ждать, когда убьют кого-то из автоматчиков, чтобы заменить их.

Пакистанцы окружили лагерь. Редкая цепь солдат была с той стороны, за которой в полукилометре начинался глубокий сай, сухое русло некогда протекавшей тут реки. Туда вряд ли кто побежит.

Бой разгорался. Один из пакистанских офицеров время от времени кричал что-то в рупор.

— Чего он хочет? — спросил Малеев у переводчика Самада.

— Предлагает сдаться, гарантирует жизнь.

— Как же, сейчас, — отозвался подполковник. — Знаем мы эти гарантии.

Повстанцы стреляли одиночными патронами, но били точно. Подразделение полковника Ахмадзая потеряло уже около тридцати человек. Было ясно, что пленные продержатся долго, несмотря на плотный пулеметный огонь и выстрелы из пушек бронированных машин. Снаряды ложились на площади лагеря, взлетали клубы пыли и крошево камней, но каковы были потери пленных, полковник Ахмадзай не мог даже предположить.

Повстанцы понимали, что срок их жизни измерялся немногими часами. Солнце поднялось уже высоко, томила жажда. По лагерю растекалось зловоние от тел убитых охранников. Пыль, поднятая разрывами снарядов, не давала дышать, но о сдаче никто не помышлял. Это было мужество отчаяния, то самое, когда смерть воспринималась как избавление и не пугала.

Майор Игошин и бортмеханик Дашкевич находились рядом. Глинобитный забор неплохо прикрывал их от пуль пакистанцев. Пули впивались в его толщу, и из ямок струились желтые струйки, как кровь из ран.

Майор стрелял, тщательно прицеливаясь, и каждый раз негромко вскрикивал: «Есть!» Но вот сзади разорвался очередной снаряд, завизжали осколки, разлетаясь в стороны, и на спине Игошина растеклось кровавое пятно. Он медленно сполз по стене и уткнулся в нее лицом.

Николай схватил автомат и стал отстреливаться. Его охватило исступление, сходное с тем, которое побуждает закрывать грудью взлет или бросаться с гранатой под гусеницы вражеского танка.

Полковник Ахмадзай осознал, что его замысел захватить пленных живыми не удался. Они отчаянно отбивались, и каждый из убитых уносил с собой по меньшей мере трех пакистанских солдат.

По приказу полковника бэтээр проломил ворота лагеря и въехал внутрь. Теперь можно было прицельно расстреливать оставшихся советских пленных. Но и бэтээр просуществовал недолго. Гранаты, взорвавшиеся под его днищем, вывели машину из строя.

Автомат в руках Николая Дашкевича клацнул затвором и замолк. Кончились патроны. Николай в отчаянии осмотрелся, его товарищи отстреливались, но в живых осталось не больше десятка. Тела убитых устлали территорию лагеря.

Николай кинулся к замершему поодаль подполковнику Малееву. Пулеметная пуля угодила тому в голову и снесла половину черепа. Рядом лежал пистолет, захваченный у коменданта лагеря Исмаила.

Дашкевич схватил пистолет. Он хотел броситься на пакистанцев, вбегавших в проломленные ворота, застрелить одного-двух, и пусть его тогда изрешетят из автоматов. Но тут же мелькнула другая мысль. Фатьма! Она скрашивала ему тягостные дни заключения в лагере, она, словно солнечный лучик, пронизывала тьму тягостного плена. Пусть смерть, но он должен попытаться в последний раз увидеть ее. Ведь она тут, неподалеку...

Пыль и гарь от разрывов заволокли лагерное пространство желто-сизым туманом и скрадывали видимость. Николай бросился к забору, тому самому, у которого он встречался с Фатьмой и с которого охранник Джафар снял несколько блоков. Дашкевич перелез через забор и бросился бежать в ту сторону, где, как он знал, было разрушенное селение, в развалинах которого ютилась его любимая женщина.

Он бежал, навстречу ему выскочили двое солдат, он выстрелил в них, но промахнулся. Те шарахнулись в стороны, а он продолжал бежать зигзагами, чтобы затруднить им прицеливание. В него стреляли, пули визжали над головой, взбивали рядом фонтанчики пыли, и он удивлялся тому, что оставался цел.

Вот и сай, бортмеханик спрыгнул вниз, упал, вскочил на ноги и осмотрелся. Сухие склоны сая были отвесными, взобраться на них не было возможности. Далеко в стороне виднелся пологий склон, но уже слышались крики преследователей, и Николай понял, что до тропы на склоне он не успеет добежать. В отчаянии он огляделся и увидел в стене за собой узкую щель, должно быть, когда-то промытую водой. С трудом протиснулся в нее и продирался все глубже, надеясь только на чудо. Щель круто уходила вправо, и Николай затаился за выступом.

Пакистанские солдаты, преследовавшие бортмеханика, тоже спрыгнули в сай. Беглеца не было видно.

— Куда же он делся? — удивился солдат, оглядывая русло сая.

Заметил промоину.

— Вот он где.

Но внутрь расщелины пакистанцы лезть не решились.

— Пусть там и остается, — решил второй солдат. Выдернул кольцо и бросил гранату внутрь промоины. Грохнул взрыв, обрушились стены узкой щели, и образовался завал.

— Готов, — решили солдаты. — Доложим полковнику, что убит последний советский пленный.

Николай Дашкевич действительно был советским пленным, до последнего оставшимся в живых. Остальные грудями лежали у стен лагеря. Почти все автоматы были без патронов, но даже тогда пленные не желали сдаваться. Они отбивались прикладами, и их расстреливали в упор, не в силах сломить сопротивление.

Подразделение полковника Фаридуна Ахмадзая потеряло свыше пятидесяти солдат. Он стоял у ворот и рассматривал картину недавней битвы.

— Это какие-то дьяволы! — злобно пробормотал полковник, имея в виду погибших советских пленных, и подумал: хорошо, что он не принимал участия в советско-афганской войне, лежал бы теперь вот так же убитым где-нибудь под Кандагаром. — Если остались раненые, добейте их, — приказал он солдатам.

Всякая история имеет свое продолжение. Получило его и неудавшееся восстание советских военнослужащих в лагере близ города Бадайбер.

В Душанбе приехал пакистанский журналист Наваз Хамид. Он работал корреспондентом в одной из центральных газет своей страны и прибыл в Таджикистан, чтобы подготовить материалы о перспективах взаимных отношений Таджикистана и Пакистана.

Наваз Хамид был типичным журналистом, общительным, хорошим собеседником, легко устанавливал контакты с нужными ему людьми. Невысокий, полный, смуглолицый, с густыми усами, он походил на подвижную капельку ртути.

На встрече с таджикскими журналистами разговор зашел о минувшей советско-афганской войне. Кто-то посетовал, что описаны все ее перипетии и нынешним мастерам пера уже нечему уделить внимание.

— Не скажите, — отрицательно покачал головой пакистанец. — Что вы знаете, например, о восстаниях советских пленных в пакистанских лагерях?

Поразмыслили и признали, что известно крайне мало, знали только то, что такие восстания были.

— Тогда я вам расскажу об одном из них, — предложил Наваз Хамид. — Почему именно об этом? Да потому, что с ним связана удивительная романтическая история.

Пакистанец по-русски говорил неплохо. Он окончил журналистский факультет МГУ, и его рассказ был образным и обстоятельным. Он изложил историю восстания советских военнопленных в Бадайбере и обвел взглядом слушателей.

— Ну, и как?

Все молчали, потрясенные услышанным, а потом посыпались вопросы.

— Откуда известны подробности восстания?

— Я расспросил солдат, участвовавших в его подавлении. Беседовал с полковником Фаридуном Ахмадзаем, отдавшим должное мужеству советских военнослужащих.

— А подробности лагерного быта откуда взяты? А история любви белоруса Дашкевича и пенджабки Фатьмы?

— Обо всем этом рассказал бывший охранник лагеря Джафар, симпатизировавший пленным.

— Разве он остался жив?

— Остался. После лагеря он месяц воевал в Афганистане, получил сквозное ранение в грудь и лечился в военном пакистанском госпитале. Ныне живет в Бадайбере, женат, имеет пятерых детей, трудится поваром в узбекской харчевне.

— Вот это да! — подивились мы. — Жаль только, что любовь Николая Дашкевича и Фатьмы не получила продолжения.

— А вот тут вы ошибаетесь, — улыбнулся пакистанский журналист. — Имеет, да еще и какое! История эта заинтересовала меня, и я провел свое журналистское расследование.

— И каков результат? — последовал вопрос.

— Сейчас скажу. Тут есть о чем рассказать и о чем подумать, — Наваз Хамид провел рукой по густым усам, как бы разглаживая их.

Изложим его повествование от третьего лица, чтобы исключить излишние эмоции и уделить больше внимания фактической стороне той давней истории.

Итак, журналист узнал, что за бортмехаником была погоня, он спрыгнул в сай и укрылся в узкой, щелеобразной промоине. Туда бросили гранату, и стены промоины обвалились, лишив беглеца возможности выбраться из западни. Но сами преследователи говорили, что пленного они в промоине не видели. Не значит ли это, что она была глубокой и извилистой?

Наваз Хамид отправился к месту происшествия. Промоина действительно была обрушена, но что интересно, рядом с ней, метрах в трех, виднелось округлое отверстие, которое вело вглубь стены. Журналист забрался в него. Узкий ход изгибался и выводил к завалу. Стало ясно, что Николай Дашкевич от взрыва гранаты не пострадал, он укрылся за выступом стены. Скорее всего, его оглушило. Когда пришел в себя, понял, что выход завален. Тогда он стал бить ногами в стену, в стороне от завала, и пробил ее. Толщина стены в том месте не превышала четверти.

Николай Дашкевич выглянул из пролома. Темнело, выстрелы не были слышны, и он понял, что с восставшими военнопленными покончено. Он остался единственным, кто уцелел.

Стояла звенящая тишина, белесые точки звезд холодно поблескивали на глади темно-синего неба.

Пошатываясь от контузии, он побрел к пологому скату и выбрался из глубокого сая, дальше, в полукилometре от него, находились развалины селения, того самого, в котором жила Фатьма. И Николай направился туда. В полумраке он видел мерцавший огонек костра, и эти слабые отсветы пламени были для него путеводной звездой, сулившей спасение.

Как произошла встреча вертолетчика с дорогой ему пенджабкой, Наваз Хамид не стал придумывать. Его занимало другое. Главное, что эта встреча состоялась. А вот что произошло потом? Он добрался до развалин и тщательно обыскал их. Под слоем глиняного крошева и пыли он обнаружил советскую военную форму, какую обычно носили летчики. Картина прояснилась. Фатьма достала поношенную одежду пакистанского крестьянина, и Николай Дашкевич облачился в нее. Какое-то время Фатьма укрывала его в развалинах, об этом свидетельствовали груды золы в очаге, пустые консервные банки, луковая шелуха и картофельные очистки. Она ходила на заработки в окрестные селения и добывала пропитание теперь уже для двоих.

А потом они ушли. Но куда? Попытка пробраться в Афганистан и дойти до какой-нибудь советской воинской части была не только рискованной, а просто невозможной. Оставалось идти туда, где странствующая пара бедняков не привлекала бы к себе внимания.

— Есть такая истина, — Наваз Хамид снова разгладил свои густые усы. — Где можно вернее всего спрятать лист дерева? Конечно же, в лесу, среди таких же листьев.

Фатьма была пенджабкой. Ее соплеменников в Пакистане миллионы, немало их и в соседней Индии. Пенджабцев отличают преданность своему народу и всегдашняя готовность оказать содействие землякам. Больше всего их в отрогах Гималаев, там полно небольших селений. Пенджабцы испокон веков занимаются скотоводством, земледелием. Есть среди них торговцы и ремесленники.

Значит, скорее всего, Фатъма и Николай Дашкевич отправились в районы, населенные пенджабцами.

Вряд ли они шли через большие города. Скорее всего, огибали их, находя приют в хижинах бедняков. Журналист побывал в селениях близ города Кветты и в одном из них узнал, что были здесь пенджабцы, муж с женой. Переночевали и пошли дальше. Почему запомнились? Муж был светловолосый, правда, такие не редкость в Пакистане, но он к тому же был глухонемым и объяснялся с женой жестами.

— Это было наилучшее прикрытие для советского парня, не знающего местных языков, — добавил Наваз Хамид. — Только я думаю, он недолго оставался глухонемым. Находясь в чужой среде, быстро осваиваешь ее языки. Фатъма учила его своему пенджаби, а он ее простым словам своей речи. Так что они скоро достигли взаимопонимания и в разговорах.

Куда они пошли дальше и что стало с ними потом, журналист не выяснял. Не стоило привлекать внимание к светловолосому пенджабцу, он мог оказаться беглым советским военнопленным.

— Думаю, они добрались до пенджабских селений, — продолжал Наваз Хамид свой рассказ, — и устроились там неплохо. Фатъма была работающей женщиной, а Николай Дашкевич прекрасным механиком, способным и старую мельницу починить, и моторы машин отладить, а такие умельцы повсюду нужны.

Не уверен, что фамилии вертолетчиков Игошина и Дашкевича верные, — пакистанец обвел нас взглядом. — Охранник Джафар знал их по именам, а фамилии припомнил искаженно, я приблизительно воспроизвел их.

Такие восстания происходили во многих лагерях Пакистана, и все они заканчивались безрезультатно. Никого из мятежников не оставляли в живых. Плен и унижения были для советских солдат и офицеров страшнее смерти, и они даже ценой жизни старались обрести свободу.

Восстание в лагере близ Бадайбера привлекло внимание пакистанского журналиста именно романтической историей любви белорусского парня Николая Дашкевича и пенджабки Фатъмы. Она словно перекликалась с повестью Льва Толстого «Кавказский пленник». Можно было бы назвать ее «Пакистанский пленник».

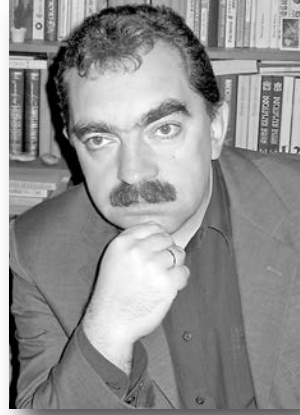
— Сам я не мог написать об этой истории ни очерка, ни рассказа, — заключил Наваз Хамид, — по вполне понятной причине. Может, кто из вас сделает это?

И я написал повесть о мужестве и стойкости советских солдат и офицеров, и о любви, которая прорастает даже там, где, казалось бы, невозможны никакие человеческие чувства.



Алесь БАДАК

Заветные слова



После вечности

Приходила из чертогов тьмы,
Зажигала маленькую свечку.
— Сгинет свет, — шептала, — только мы
Все равно с тобою будем вечно.

Очень долго нет тебя со мной.
— Что ж, — шепчу я, — значит, за стеною
Сгинул свет, и стала уж былой
Вечность, что обещана тобою.

Сгинул свет, — шепчу я. — За окном —
Ни земли, ни неба.
Все пропало,
Кроме веры, — ты войдешь в мой дом,
Чтобы вечность
Новая настала.

Песня

Душа с годами осторожней
Летит на поздний, тихий свет.
Ее позвали — разве можно
Ей не откликнуться в ответ.

Ее окликнули Вы сами
И повели в весенний сад,
Но белый май плывет над Вами,
А надо мной — осенний чад.

Пусть судьба не судит строго.
Я не обижу Вас ничуть.
В свою нелегкую дорогу
Напрасно звать Вас не хочу.

Все понимаю и ни словом
Не потревожу Ваш покой.
И мне достаточно, что снова
Сегодня рядом Вы со мной.

Заветные слова

Позабыл я заветное слово,
Что сближало с тобою всегда.
Ты была с края света готова
Каждый день возвращаться сюда,

В этот дом и унылый, и серый,
Где порог деревянный истлел.
К нашей твердой, холодной постели,
Где хмельно, как в траве-мураве.

Тут давно обновились пороги,
И постели, и стены — давно.
И порядок повсюду тут строгий,
И к столу — дорогое вино.

Сколько лун, криволицых и полных,
Сколько солнц над землею взошло!
Я забыл. Но уверен — ты помнишь
Притяженье чарующих слов.

Закричал бы тебе: — Ты богиня!
Я хочу тебя снова вернуть!
Да боюсь, что услышат другие
И затопчут единственный путь.

Весны

Плывут мои весны
вдаль, облачной стаей,
Откуда вовек
не бывает возврата.
Я с ними поплыл бы,
тоскою распятый,
Далеко-далеко,
когда бы сумел.

Открылся бы свет мне,
что нынче не виден
Ни людям, ни зверю,
ни ласточке вольной.

Крестом моя тень
 пронеслась бы над полем,
Прощаясь с Землей
 перед вечной разлукой.

Жара

В разомлевшее лето приду
Под могучий разлапистый дуб
Насладиться прохладною тенью.
Боже милый, — воскликну, — скажи,
Как жару мне твою пережить?!
И паду, словно раб, на колени.

Только вдруг, вместо эха вдали,
Мне послышится стон из земли.
Я сухими слезами заплачу.
И шепнет обессиленный дуб:
— Это воду никак не найдут
Мои корни в суглинке горячем.

Сны

Такие сны, что хочется остаться
В пространстве том, где горе не беда.
И всех любить, и злобы не бояться,
И вольным быть не день, не миг — всегда.

Такие сны, что хочется однажды
В них раствориться телом и душой.
И в черную шагнуть ночную сажу,
И дверь закрыть плотнее за собой.

Когда я поверю

И когда я поверю,
 что мне все равно:
Перестанешь,
 иль будешь по-прежнему сниться,
Ты откроешь в мой мир
 потихоньку окно
Вместе с первой грозой,
 что в окошко стучится.

Я промолвлю некстати:
— А знаешь, с тобой

Очень много преград
 сотворили мы сами,
И ты стала теперь,
Словно призрак, чужой,
И уже позабыты
 все связи меж нами.

Но услышу
на редкость спокойный ответ,
Полный вечной, загадочной
 женской печали.
— Может, бывшей любви, —
 ты мне скажешь,
 и нет,
Но, зато есть возможность
 начать все сначала.

Домовой

Кашлянет за печкой Домовой,
Вылезет на кухню среди ночи,
Половик собьет своей ногой,
Но стащить за печку не захочет.

Думая, наверно, что никто
Тут его не видит, — осторожно
Из карманов моего пальто
Выкрадет все денежки, возможно.

Посмотрю печально ему вслед,
Не окликну и не потревожу.
Стал для всех жестоким этот свет —
Каждый выживает в нем как может.

Встреча

Как тебя понимать, мне скажи,
Мой народ, самый тихий на свете?
Может быть, я не вижу межи
И не в том очутился столетье?..

Я пойду напрямиком хоть куда,
Лишь бы прочь от душевного сбоя,
Словно жито, седые года
Отклоняя рукой пред собою.

И назад полетят времена,
Перепутав и сроки, и даты.
В этом поле, большом, как страна,
Повстречаю далекого брата.

Ты откуда? — спрошу я. — И где
Раскровянил усталые ноги?
Неспроста, видно, в общей беде,
Нынче сходятся наши дороги.

Скажет брат:
— Я устал ожидать.
На земле этой счастья не встретить.
Попытаюсь его отыскать
В том далеком, двадцатом столетье.

* * *

Еще один проходит век,
Еще одно тысячелетье.
Все ищет волю человек,
Надеясь в мире счастье встретить.

Но странно осознать всем нам,
Что временем жестоким четко
На карты стран нанесена
Не сетка линий, а решетка.

* * *

Сентиментальность — то возраста знак,
Знак: осторожно!
Но ослепила глаза мне весна.
Поздно, брат... Поздно...

И полетела душа под откос,
Словно к закату.
Что там увижу? —
Свой край среди звезд?
Поле и хату?

Шапку бы в поле, как в церковке, снять,
Взгляд опускающая...
Лебеди, лебеди в небе летят —
Ангелов стая.

Перевод с белорусского Юрия МАТЮШКО.



Александр ВОЛКОВИЧ

Три рассказа

СОБАКИ ДЕРЕВНИ ПОХМЕЛЕВКА

Война пришла в белорусскую деревню Похмелевка обыденно, как осень или зима, но уместнее сравнивать ее приход с вечерним дождливым предне-настьем: невзначай серо стало и неуютно. Хотя закатное солнце пригревало и зелень буяла вокруг по-летнему, — как вдруг неожиданно смерклось, запылило на взгорке, и пятнистые тупорылые машины с немецкими солдатами в кузовах околицу заполонили. И стал июнь не июнь, а черт-те знает что.

Деревенские собаки, обычно ленивые и немые, учуяв чужаков, всполошились. Даже самая облезлая и безголосая шавка сочла своим долгом возмущение выказать. Никогда до сих пор деревенская улица многолюдным беспокойством не отличалась, а тут плетни затрещали, стронутые бесцеремонными колесами и бортами, колодезные цепи разом зазвенели, выбираемые второпях, коромысла «журавлей» начали вразнобой пришельцам кланяться. Как будто им невдомек, что поят колодезной водицей чужаков, завоевателей.

Но пока ни выстрелов, ни разрывов, как показывала накануне кинопередвижка в «Если завтра война», слышать не было, то и страху особого у людей тоже не было. Только дворовые собаки надрывались как оглашенные. Видать, лучше хозяев чуяли недоброе.

— По-хме-лев-ка! — по складам повторял немецкий переводчик название деревни, пытаясь объяснить старшему офицеру смысл забавного слова. — Тринкен! Ауф! Шнапс!

— Я, я, — добродушно соглашался щеголеватый офицер, щелкая себя по кадыку холеным пальцем для наглядности понятного.

Ни тому, ни другому никто не объяснил, что произошло название деревни совсем не от традиционного славянского состояния «похмелъ», а от изобилия лесного хмеля, густо оплетавшего окрестные перелески, переходящие к горизонту в настоящий дремучий лес. До таких подробностей командованию прибывшей оккупационной части дела до поры до времени не имелось.

А вот неистовство собачьего поголовья вызвало если не разочарование, то явное недовольство. Неприятие незваных гостей исходило от сельчан угрюмыми взглядами из-под лбов, вымученными кривыми улыбками-ухмылками с потаенным смыслом, лишенным ожидаемого подобострастия и смирения. Это настораживало, раздражало, вынуждало к ответной реакции.

Песий оглушительный лай, переходивший в глухое рычание при приближении людей в мундирах, требовал показательной остратки.

— Всех собак отловить и доставить на регистрацию! — последовал беспелляционный приказ, тут же растолкованный толмачом свежеиспеченному

старосте, выбор которого выпал на бывшего колхозного бригадира по фамилии Безрученко.

В Похмелевке, имевшей отдельную полеводческую бригаду, преклонных лет Безрученко остался, считай, за главного из всех руководителей небольшого, но крепенького хозяйства с центральной усадьбой на узловой железнодорожной станции, километрах в десяти. (Ее уже заняли немцы.) Остальное население — ветхие старики, бывшие железнодорожники, доярки, полеводы и те, кого куда пошлют. А отставной бригадир к тому же — с говорящей фамилией: с культей по локоть. Когда был еще при силе и власти, то вожжи бригадирской брички на руку наматывал — и айда по полям. Мужикам, бабам спуску не давал.

А теперь сник. Еще бы! Попробуй выполни приказ: люди недовольные, собаки злые, немцы с виду лощеные и вежливые, но поди угадай, что у них на уме!

Народ недоумевал: что это еще за регистрация такая, отродясь в селе не видывали, чтобы псов цепных на учет ставили... Яблони с грушами Советы переписывали, скотину считали, лошадей отымали. Даже, говорят старики, дымные каминны в голодные годы на учет брали, чтобы налогом обкладывать... Теперь вот шариков с тузиками черед настал. Ну, а тех, что без призора по задворкам шныряют? По хвостам считать? Те, которые с собачьими свадьбами к деревне прибились и проживают вольготно без цепей и ошейников? За них тоже ответ держать?

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Это к тебе, убогая, хваленый немецкий «орднунг» припожаловал! Пришла беда: отворяй ворота.

Говорят, охота пуще неволи, а неволя горше любого нежелания, потому что подневольный человек — хуже безмолвной скотины. Та хоть взбрыкнуть может, а то и бзик закатить, задравши хвост. А что мирный селянин может, если вороненные автоматы наперевес, если рука немецкого офицера на кобуре, а черная овчара рвется на тебя с поводка и злобой в лицо дышит?

Офицерову овчарку, неотлучную спутницу старшего над другими эсэсовцами начальника, невзлюбили сразу и вдруг: и сельчане, и деревенское собачье племя. А узнай в ней виновницу переполоха и представься такая возможность, местные кобели разорвали бы ее на части. Арийская сука как раз готовилась оценить, и только беспечность хозяина позволила ей отправиться вместе с ним, как считалось, в недолгосрочную восточную кампанию. Овчарка маялась тяжестью в животе и в обвисших тучных сосках, истекала слюной и злобой, ненавидела любого приблизившегося. Ее раздражали чужие запахи, взгляды, движения. Незнакомая обстановка, бестолковый собачий лай доводили сучару до бешенства, до утробного рвотного рычания. Хозяин не на шутку встревожился за здоровье своей любимицы и за судьбу вот-вот готового появиться на свет помета. Требовались тишина, покой, отсутствие каких бы то ни было внешних раздражителей. А тут эти беспородные славянские ублюдки... Ничто не должно служить помехой рождению здорового арийского потомства! Следовательно — заткнуть настырные пасти. Навечно.

Поутру светопреставление началось. Кое-кто из догадливых хозяев додумался все-таки отпустить собак с привязей, пинками, криками гнал со двора прочь, а те, верные, домашние, приняв беспричинную немилость за странную игру, возвращались обратно, ластились, дурачились, оглашая окрестности радостным лаем, не ко времени, не к месту... А матерый кобель бригадира, такой же сумрачный и лохматый, как и его поводыр, из будки напрочь вылезать воспротивился, пока расстроенный вынужденным старостством Безрученко не намотал поводок на культю и силком поволок упиравшегося кобеля к

месту собачьего сбора, показывая пример остальным. Хочешь не хочешь — пришлось, уповая на надежду, что все обойдется и плохое минет.

Не минуло, не обошлось.

Людам сразу понятно стало, какую регистрацию затеяли немцы возле дикой груши, что подпирала корявыми ветвями черепицу бригадной конторы. Сюда, к месту традиционного схода, и было велено привести деревенских собак. Вместе с хозяевами. Или наоборот?

Лающее, визжащее, оживленное песье разномастье, привычное к утреннему многолюдью возле конторы, не могло взять в толк, отчего спозаранку столпотворение и что делают на бригадном наряде вооруженные автоматами чужаки, окружившие площадь плотным строем. И куда подевались вчерашние качели. И почему гробовое молчание. И что означают веревочные петли, лениво свисающие с толстых ветвей.

Пока старший офицер оглашал, а переводчик переводил приказ о проведении обязательной стерилизации всех беспородных собак, разносчиков заразы и скверны, люди на что-то еще надеялись. Все происходившее представлялось не больше чем странное кино, в съемках которого им пришлось вынужденно участвовать. Поэтому, считая себя и своих подопечных случайными и необязательными на «балу» под названием «стерилизация», ожидали что-то вроде переписи, в худшем случае — прививок от бешенства, ящура или что там еще потребует немецкий «орднунг». Но не тут-то было! Действительность превзошла все мыслимые и немыслимые ожидания.

Когда, всунутая в петлю распорядителем «бала», — а это был рыжий фельдфебель, принимавший собачьи поводки из рук запуганных хозяев, — задергалась, закачалась и вскоре, вытянувшись, затихла пятнистая гончая вдовы бригадного агронома Степанюка, первая в списке, народ ахнул. Ужас охватил присутствующих, а холодная пасть страха мертвой хваткой сдавила горла и мысли. Руки и ноги отказывались двигаться, а сознание — понимать происходящее.

Пятнистые дети и внуки агрономовой гончей, родоначальницы здешней, донельзя смешанной породы, пегая от возраста лайка местного лесника, отсутствующего на «параде» по причине недавней мобилизации, разномастные дворняги — эти беспокойные звоночки каждого двора, надежные сторожа и пастухи, охотники и следопыты, стойкие в голоде и в холоде обитатели будок и конур, цепные и «вольнотпущенные», не раз битые не слишком заботливыми хозяевами, ухоженные и беспризорные, обласканные судьбою и людьми и не очень, обученные собачьей службе и самоучки, шарики, пальмы, пираты, дозоры, — всех их без разбору мастей, пород и родословных принимала грушадичка, привычная к качающейся тяжести на пружинистых ветвях.

Кто-то из обреченных псов успевал огрызнуться, кто-то лизал хозяевам руки, кто-то норовил ухватить зубами за палец палача...

Скрипело дерево, превращенное в виселицу. Качались на ветвях-перекладах страшные плоды, «дозревающие» на глазах. Казалось, плакали колокольчики, тоскливо звенели бубенцы...

На глазах онемевших сельчан умирала, не теряя любви и верности до самого последнего мгновения, собачья преданность, так и не успев ни понять, ни простить вынужденное людское отступничество...

Ступор, охвативший присутствующих, нарушился неожиданной, отчетливо прозвучавшей в тишине командой «Фас!».

Это бригадир Безрученко, стяхнув с культи намотанный поводок, ею же указал получившему свободу, ошестинившемуся неухоженной шерстью гончаку — сыну той самой «агрономши» — направление броска.

— Кси его! Взять! — добавил бригадир для верности, показывая на старшего офицера, руководившего экзекуцией.

Это все, что успел последнее сделать в должности старосты и в своей дальнейшей судьбе колхозный бригадир... Он и до войны считался непредсказуемым самодуром. Но как знать, как знать...

Пулеметная очередь оборвала прыжок гончака, а также жизнь его хозяина, прекратила весь бессмысленный спектакль, затеянный оккупантами.

Люди разбегались с места сборища в панике и страхе. Собак, не дождавшихся очереди на «регистрацию», фашисты пристрелили на месте. Селян не трогали.

Порядок был восстановлен.

Деревня будто вымерла. Ни огонька, ни звука. Ни привычного, казалось бы, со времен создания Мира деревенского собачьего лая.

А ночью деревню окружили... волки. Да, да именно они — возбужденные, тоскующие, страшные — завывали нестройным хором, опровергая все законы и правила, существующие в природе. Стоял июнь, начало лета, благодатная для лесных хищников пора, однако неведомые силы и токи заставили зверей сбиться в ночную стаю и напомнить себе и окружающим пугающим плачем суровую пору метелей и морозов, которые всем предстояло еще пережить. А может быть, волки собрались справить звериную тризну по бесславно погибшим одомашненным собратам? Как знать, как знать...

Тревожную ночь провели жители деревни Похмелевка, напуганные произошедшей накануне собачьей казнью и небывалым волчьим пришествием. В хатах шепотом вспоминали о кометах, о других странных небесных явлениях, предшествовавших вражеским нашествиям былых времен...

В постоялой избе, где разместился со своей овчаркой старший немецкий офицер, разыгралась настоящая трагедия. У любимицы хозяина начались преждевременные роды — и ошавевшая от боли, страха, от угнетающего сознание волчьего воя, что, казалось, проникал во все щели и даже бесновался в трубе, — молодая обезумевшая сука передавила, а затем сожрала всех своих четверых новорожденных щенят.

Расстроенный таким поворотом дела офицер, не справившись с нервами и позорной бедой, не нашел иного выхода, как застрелить несчастную тварь из парабеллума.

«Какая дикая, страшная страна!» — в отчаянии думал он.

Немецкий офицер не мог позабыть тот нечеловеческий блеск, который появился в глазах безропотных поначалу сельчан в завершении собачьей экзекуции.

...Шел второй день самой губительной в истории человечества войны.

СОЛЕННЫЕ УШИ ШТРАФБАТА

Закон штрафбата: до первой крови. Кто его придумал? Война. Как и штрафные батальоны, рожденные суровой военной необходимостью.

С марша — в бой, в самое пекло. Назад — ни шагу. Струсивших, побежавших посекут пулеметами свои же, из заградительных отрядов. А что может быть позорнее, чем получить пулю от своих? Лучше уж поймать свинец в атаке, вместе со всеми, в орущей, стреляющей, бегущей сломя голову цепи, когда понимаешь, что за правое дело, пан или пропал, когда — на миру и смерть красна.

Но лучше, конечно, — ранение. Желательно легкое. Тогда, по ранению, тебя направят в лазарет, а потом — в обычный, линейный батальон, и станешь зачинать правое дело с полным на то правом: не с обидного обращения-призыва «Граждане штрафники, веселей, мать вашу за ногу!», а естественным и понятным приказом: «За родину, за Сталина, вперед!»

А пока:

— Штрафники, соленые уши! Кто заляжет — пристрелю собственноручно! Пошли!

Это комбат.

И поднимаются урки в атаку. Как миленькие. Комбат слов на ветер не бросает.

«Голова садовая, соленые уши», — любимая комбатовская присказка.

Хороший командир, душевный.

— За что, соколик, угодил в наши славные ряды, за какие грехи тяжкие? — допытывался он у молодого белобрысого бойца, выбрав его безошибочным чутьем бывалого вояки из нескольких десятков солдат пополнения, в основном необстрелянного, построенного в развернутую шеренгу.

Пополнение поредевшему батальону принимал собственноручно, как его называли, «штрафбатяня», взявший себе за правило беседовать с вновь прибывшими. А когда еще? После первой же атаки на сильно укрепленные позиции фрицев от отдельного штрафного батальона, брошенного на усиление подразделений армии, занявшей плацдарм под городом Кюстрином, мало что останется. Батальон людьми пополнят, спору нет. Но командира новички должны запомнить. Он для них нынче и впредь — и царь, и бог, и воинский начальник.

Основную массу вновь прибывших составляли такие, как рядовой Онищук, — молодые и не очень солдаты призывного и послепризывного возраста из только что освобожденных оккупированных областей Беларуси и Украины, осужденные уже в военное время за разные проступки и которым различные сроки тюрем и лагерей были наспех заменены штрафным батальоном.

И тем, и другим, и третьим передовая — не только избавление от домокловых мечей лагерных сроков, судимостей, праведных и неправедных приговоров, но и реальный шанс оправдаться перед собой, людьми и судьбою, а если пофартит — то остаться обеленными и живыми во вселенской мясорубке, смыв вину перед народом и страной собственной кровью.

Перед построением комбат бегло просмотрел личные дела прибывшей группы. Листали тощие папочки вместе с «особистом» батальона, щеголеватым капитаном СМЕРШа, державшимся перед комбатом, состоявшим в звании майора, но тоже штрафником, с подчеркнутой беспардонностью, граничащей с хамством.

Так себе контингент, ничего особенного. Два-три «самострела», пытавшихся собственноручно нанести себе легкие ранения и тем самым избежать передовой. Осуждены за трусость.

Человек пять — обвиненных в преступной халатности и неисполнении боевого приказа и, следовательно, разжалованных и осужденных младших офицеров и сержантов из разных родов войск — публика воевавшая, битая.

Далее, по степени надежности — так называемые политические: осужденные и попавшие в штрафники за опрометчивые высказывания в адрес Советской власти, Красной Армии и существующих армейских порядков, квалифицированные военным трибуналом как пособники империализма, пропагандирующие силу и мощь фашистской Германии.

По правую руку с рядовым Онищуком стоял в строю пожилой мужчина в офицерской полевой гимнастерке с темными пятнышками снятых знаков различия на воротничке, обутый в кирзовые солдатские сапоги — разжалованный капитан-артиллерист; по левую — тощий зэк с нагловатыми глазами вприщур, в ботинках с обмотками; далее — такие же, как этот бывший уголовник, люди с черными, загорелыми лицами и показным безразличием в пустых глазах, составлявшими разительный контраст с новеньким, свежезеленым обмундированием, надетым на исхудавшие от лагерных харчей тела. На черных, натруженных тюремной работой руках виднелись наколки.

Отдельной обоймой торчали в шеренге степенные отцы семейств, невзрачные и неуклюжие интеллигенты, которым военная форма шла, как корове седло, — политические, так называемые враги народа. Они и в строю постарались быть вместе, ближе друг к другу — по идейным соображениям.

Несколько горячих голов со сроками за служебные и хозяйственные преступления, самосуд, мародерство.

А главная масса новичков — из числа ранее не воевавших, необстрелянных бойцов, получивших сроки разной степени тяжести еще до призыва.

За исключением прожженных уголовников, отмеченных солидными статьями УК и татуировками, к числу последних относился и рядовой Онищук — бывший железнодорожный стрелочник, по вине которого произошла (либо не была предотвращена) авария на железной дороге прифронтовой полосы где-то в районе Бреста. Пять лет тюрьмы были заменены Онищуку штрафбатом, куда он доехал после двух месяцев, проведенных в учебном полку под городом Новомосковском. Как, впрочем, и остальные новобранцы — номера расчетов станковых пулеметов «максим» и ручных Дегтярева, бронбойщики противотанковых ружей ПТР, просто пехотинцы — автоматчики, рядовые стрелки, выбранные среди уголовного люда за хорошее поведение и патриотические настроения, добровольцы, второпях обученные азам наступательного и оборонительного наземного боя в составе стрелковых отделений, взводов, рот. И брошенные для латания дыр в наступающие войска.

Рядовой Онищук привлек внимание комбата не только простодушным славянским лицом и белобрысой стриженной головой с торчащими из-под нахлобученной пилотки ушами, но и фингалом, горевшим под глазом, отдающим фиолетовой желтизной.

— Упал с лошади, соколик? — ласково спросил его «штрафбатяня».

— Никак нет! — замялся тот под смешок сослуживцев. — Просто ушибся... О борт машины...

Перед прибытием на плацдарм, в дороге, еще в железнодорожной теплушке, следовавшей на фронт, молодого бойца обобрали ехавшие в одном вагоне урки из той же маршевой роты, выпотрошив из новенького солдатского сидора пачку махорки, кусок мыла и сухпак в виде банки американской тушенки. Да еще «отоварили» несговорчивого попутчика кулаком в глаз. Чтоб не ерепенился.

Жаловаться конвою, охранявшему походное воинство в пути, Онищук посчитал зазорным. Не жалко было мыла с махоркой — не курил. Черт с ней и с тушенкой: не наелся — не налижешься. Но вот синяк...

— Так за что, говоришь, был осужден? — переспросил комбат, отлично представлявший, что именно с молодым бойцом могло произойти в дороге и что ожидает его впереди в компании приклатненных однополчан. Неровен час, и в спину стрельнуть могут... Насмотрелся на зэковскую вольницу и показную браваду так называемых законников: молодцы среди овец. Ухари

среди таких вот, как деревенский увалень Онищук, схлопотавший, если ему верить, срок за чью-то безалаберность и халатность. Бои быстро расставят каждого на причитающееся ему место.

«Поберечь бы этого стрелочника-соленые уши... Правильный паренек, сразу видать», — пришел к выводу офицер.

Однако навалились фронтовые заботы, и о молодом бойце комбат вскоре забыл. Сколько таких прошло перед глазами!

Определили новичка в роту противотанковых ружей, вторым номером или заряжающим, а напарником, наводчиком ПТР, стал у него один их тех бывших попутчиков, кто сожрал американскую тушенку в дороге и табачок скурил, бесстыжим образом изъязв из сидора новобранца.

Бронебойщик-зэк уже участвовал до этого в боях и противотанковым ружьем владел отменно.

Приносить извинения новоиспеченному напарнику он, как выяснилось, не собирался, хотя, как казалось, в душе себя за наглый, за компанию разбой корил. Выражалось сие в отборном мате.

«Интересная вещь: блатная групповуха! — думал иногда «штрафбатяня», до войны командовавший стрелковым корпусом, отсидевший половину десятилетнего срока, полученного по обвинению в пораженческих настроениях комсостава, и направленный на фронт после Курской битвы накануне Белорусской освободительной операции. — Когда вместе бывшие уголовники-штрафники собираются, то друг перед дружкой выпендриваются: каждый герой, хоть в навоз зарой. Поодиночке — либо шавка, либо храбрец безоглядый. Вот и пойми природу штрафбатовской отчаянности!»

Но только начались бои — и все обиды, симпатии и антипатии улетучились, будто дым после разрывов, а земля, в которую штрафной батальон на плацдарме зарывался, укрываясь от артналетов и бомбовых ударов и в которой многие остались лежать навечно, уравнила в правах и шансах всех без разбору — начальников и подчиненных, уголовников и политических, молодых и пожилых, безвинных и виновных. Каждый стремился выжить. И не только выжить, но и победить.

Одним словом, война.

А через каких-то пару месяцев, после того, как узкий пяточок на западном берегу Одера, получивший название Кюстринский плацдарм, был основательно десятки и сотни раз перерыт немецкими снарядами и бомбами, после того как закрепившемуся на нем с самого начала передовому отряду 5-й ударной армии со штрафным батальоном на острие, а затем войскам 8-й гвардейской армии удалось не только удержать плацдарм под шквалом атак, но и расширить его, — началось большое, самое главное на этом участке 1-го Белорусского фронта наступление в направлении на Берлин. Тогда, проводя инспекцию взводов и рот вверенного ему отдельного штрафного батальона на предмет пополнения личным составом перед решительным броском, известный нам майор-«штрафбатяня» в обросшем русой шевелюрой бойце с закопченным черным лицом узнал подмеченного ранее лопухого рядового Онищука, то удивился и обрадовался ему, будто старому знакомому.

— Жив, курилка-соленые уши? И даже не ранен?

— Никак нет, не ранен, — глуповато улыбнулся бронебойщик, виновато глядя на командира батальона.

— Значит, еще повоюем вместе! — весело заключил майор, вкладывая в слово «вместе» двоякий смысл: и то, что оба пока еще живы, и то, что

штрафбатовская принадлежность обоих никаким ранением либо контузией не отменены.

Вспомнил командир батальона и наградной список, поданный ему накануне начштабом по итогам оборонительных боев за плацдарм: фамилию отличившегося в бою рядового Онищука вымарал в списке награжденных капитан-особист.

Расчет бронебойщиков подбил немецкий танк — из числа тех, что раз за разом валом накатывались на позиции, стремясь опрокинуть закрепившихся на плацдарме штрафников в мутный зимний Одер за их спиной. За уничтожение бронированной машины полагался минимум орден Отечественной войны. Однако Онищук только заряжал ПТР, а целился и дергал за курок его напарник — уголовник со стажем. В том числе — боевым.

Особист все разложил по полочкам: кто и что за подбитый немецкий танк из них заслуживает.

«Штрафбатяня» даже и не нашелся с другими аргументами...

«Молод еще боец, — подумал он об Онищукe и ему подобных. — Будут на его счету и награды, и ранения, лишь бы уцелел».

О себе комбат не думал. Он был «штрафбатяней», и ему полагалось решать и заботиться в первую очередь за других и о других.

И вот поступил приказ наступать. После яростной артподготовки окопавшиеся роты поднялись в атаку дружно, пошли вперед бодро: до Берлина было рукой подать. Еще ближе — до немецких траншей, ошетилившихся огнем из всех видов оружия.

— Веселей, братва! Навалимся! — подбадривал людей «штрафбатяня».

Никого из подчиненных понукать не пришлось — победа маячила совсем близко.

Ротные командиры, взводные шли в первых шеренгах. А штрафная уголовная, приклатненная и прочая нарванная публика, на чью дерзкую бесшабашность в сражении тайно и явно делал ставку не только командир батальона, но и начальники значительно выше, совершила то, что и должна была совершить: рубежи оборонявшихся немцев были смяты. Дремавший джинн штрафбатовской отваги оказался выпущенным из бутылки на погибель врагу.

И пошло и поехало.

И все бы ничего, да вот потери оказались несоразмерно тяжелыми.

Дело в том, что наступал батальон... по минному полю, проделать проходы в котором надо было скрытно, непосредственно перед наступлением. Однако оказалось, что свои же противопехотные мины устанавливались в ходе обороны впопыхах, снаряжены были неизвлекаемыми взрывателями, а подрывать их на месте либо тралить танковыми тралами не хватило ни времени, ни средств, ни другой возможности. Кроме как пустить вперед штрафников...

Война все спишет. Семь бед — один ответ.

Успех наступления, достигнутый в том бою штрафным батальоном, закрепили и развили другие подразделения, а значительно поредевший, периодически пополняемый людьми штрафбат участвовал еще во многих боях и дошел до Берлина.

Многих недосчитались, очень многих. Из личного состава батальона в восемьсот человек, начинавших бои под Кюстрином, в живых остались единицы. Погибли многие офицеры, сержанты и рядовые: командиры рот

и взводов — их выщелкали немецкие снайперы; почти все пулеметные расчеты — добыча вражеских минометов и артиллерии; легли под гусеницами «тигров» и «фердинандов» не самые удачливые бронбойщики.

Раненых и покалеченных решением военного трибунала освободили от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления, многие из них перестали считаться врагами народа.

По злой иронии судьбы большинство ротных сослуживцев Онищука получили ранения и увечья на том самом минном поле, проходы в котором наши не успели проделать перед решительным наступлением с Кюстринского плацдарма.

В том памятном утреннем прорыве погиб среди других и капитан-особист, заменивший убитого командира роты автоматчиков и поднявший залегших было штрафников в атаку.

Командира штрафбата убили значительно позже, уже в Берлине, после подписания капитуляции.

Погиб «штрафбатяня» от пули немецкого пацана из «фольгсштурма», стрельнувшего наугад в группу советских солдат и офицеров, осматривавших развалины.

Рядовой Онищук, сопровождавший комбата, при этом присутствовал и даже сам закрыл ему глаза.

Когда к умирающему офицеру бойцы сопровождения приволокли перепуганного немецкого мальчонку, сделавшего бессмысленную очередь из «шмайсера», майор, затихая, прохрипел:

— Уши ему надрать, уши...

Он, наверное, хотел добавить свое любимое словечко «соленые», но не успел...

А штрафник Онищук каким-то чудом на страшной войне уцелел. Ни царапинки не получил боец ни в одном из жестоких боев, в которых пришлось участвовать в последние месяцы сражений. Хотя не раз смотрел смерти в глаза.

Такое тоже бывает.

Впрочем, до дома он доехал нескоро.

По окончании боевых действий и расформировании штрафного батальона, где Онищук числился уже первым номером расчета ПТР (напарник был тяжело ранен и направлен в медсанбат с последующим снятием судимости), рядового Онищука взяли под стражу и повезли под конвоем в далекий сибирский лагерь для продолжения отсидки полученного ранее срока.

Кто-то из наиболее рьяных и въедливых членов армейского трибунала, рассматривавшего его дело, убедил заседавшую «тройку» и настоял на том, что, по сути, боец отдельного штрафного батальона гражданин Онищук свою вину перед советским народом и государством кровью фактически не искупил, так как за пять месяцев, проведенных на передовой, не получил даже легкого ранения.

Подтвердить геройское поведение солдата в бою не смогли его командиры, почти все погибшие.

Представлений к поощрению и награждению в личном деле также не имелось.

Последующие четыре с половиной года Онищук провел в заключении. О своем фронтовом штрафбатовском прошлом он вспоминал часто, но никому ничего не рассказывал.

Но только иногда, даже спустя много лет после войны, на которой фактически отмотал свой, никем не учтенный, срок, старый солдат, разбуженный среди ночи каким-то внутренним толчком, как бы явственно слышит знакомый голос «штрафбатяни», влекущий окопную братию в очередную смертельную атаку:

— Вперед, сучьи дети! Веселей, соленые уши!

Даже во сне ветеран ни на кого не таит зла. Понимает: так было надо. Во имя Победы.

ROMANIA

В субботу отправились откапывать немца.

Место знали приблизительно: за сараем, возле вербы.

Не у нынешнего, вымахавшего на задворках за десятилетия — пучком в три ядреных ствола — дерева, а возле материнского, давно испорохневшего корча, как вспоминала старая женщина, разорвалась партизанская мина, унесшая на тот свет постояльца в 44-м военном году. В воронке мертвеца и закопали.

Когда хозяйка двора была еще жива, то рассказывала:

— Як загрыміць, загудзе! Выбухі вакол хаты. Ён (немец, постоялец) і пабег. Куды, навошта? Каля вярбы яго і пасекла. Крыві амаль не было. Тады ж пахавалі...

— А много немцев в деревне стояло? — допытывался у бабушки внук.

— Багата. Немцы, мадзяры. Пабеглі ўсе, калі нашы пачалі наступаць... Ці хто ж іх лічыў...

За бабушку подсчитал подросший внук. Прикинул интеллект к носу, результат умножил на вузовскую стипендию, которую к тому времени получал, разделил цифирь на зарплату деревенских родителей и личные городские запросы — и получился расклад, вогнавший недоросля в тоску.

Катастрофически требовалась финансовая поддержка. А тут институтский дружок надоумил: мол, у всех продвинутых студентов давно уже свой бизнес, собственное хобби, а бывает такое, что, к какому бы месту его ни приложить — получаешься «в шоколаде».

— Какое такое? — загорелся будущий инженер.

— Железное!

И показал «Железный рыцарский крест». Немецкий.

«Бляшка», по словам знатока, тянула минимум на полгода повышенной стипендии, если сбавить находку нужным людям — коллекционерам, торговцам антиквариатом и реликвиями времен Второй мировой войны.

Подробности: котируются ордена и медали вермахта. Особый спрос — на похоронные медальоны. За них, если все сложится, состыкуется и покатит, можно получить наличманом в евро.

Занимаются розыском захоронений погибших героев специальные германские фонды, неутешные вдовы, здравствующие родственники и неугомонные активисты. Дело, по всем прикидкам, стоящее, беспроигрышное. А личный военный жетон погибшего — просто клад. «Бабки» за него дают — немеряные.

«Есть такое местечко!» — сообразил студент, он же — великовозрастный внук почившей в Бозе хозяйки заброшенного родового хутора в белорусской деревеньке, название которой по щекотливым причинам умалчивает-

ся. — Надо в немецкой могилке покопаться, авось — золотая жила! Покойник наверняка — со всеми причиндалами...»

Получив через однокурсника «добро» анонимного барыги-заказчика на медальоны, медали и другие стоящие трофеи и согласие на земляные работы дядьки — единственного, обитавшего поблизости хранителя родового гнезда, студент отправился в разведку.

Хуторок, несмотря на обещания, даваемые у ложа умирающей бабушки сыновьями и внуками, находился в запустении: глядел заколоченными окнами и весь порос сивым бурьяном. Наследники давно уже не казали сюда носа.

И вот сподобилось. Только где искать?

Бригада «черных копателей» вербовалась студентом из местных аборигенов, во избежание лишней огласки.

Выбор оказался негуст.

«Петька Вершок пойдет... Ему на пенсии скучно, а клева на озере в ближайšie недели не предвидится — жара, июль...»

Одноклассник Володя наверняка согласится, в прошлом — сержант-танкист, может сойти за эксперта, учились вместе в школе...

Дядька Федор от дармовой выпивки не откажется, свой человек...

Можно еще соседа Михалыча позвать, он тоже выпить не дурак...

Кого еще пристегнуть?

Митяню-конюха — и хватит!

Эти перелопатят двор и округу, только помани пряником в виде хорошей выпивки и денежного вознаграждения в придачу. Орлы!»

Такими размышлениями организатора поисковой экспедиции — младшего хуторского наследника по имени Славка — завершился предварительный смотр сил.

В выходной субботний день все посвященные прибыли на хутор. С лопатами, с проволочными шупами, однако — без запаса курева и закуски, гарантированных «от пуза» продюсером. А заядлый рыбак, старикан Вершок приперся к чему-то с удочками. Спрятал их в кустах.

— Копать отсюда и до обеда! — сострил Славка, вырубая в высокой траве штыком лопаты прямоугольник места предположительного захоронения, выбранного по «наводке» деревенских родственников.

Рабочий народ воспринял шутку без воодушевления: а разминка?

Назвавшись груздем, продюсер полез в спортивную сумку.

По бутылке белой на брата было запасено, однако логичнее было с утра разминаться красненьким, резервным.

Лиха беда начало, а там стакан покажет.

И правильно студент поступил, не дав разбосячиться с самого начала: дерн оказался застарелым, сбитым. Прошедшие годы утрамбовали немецкую могилу нешуточно, наверняка, однако не учли проникающую способность плодово-ягодного вина.

А после принятия добавки дерн, наштигованный кореньями, поддался, яма в пятеро лопат быстро углубилась по колено, черное сменилось желтым, глубже требовалось осторожнее. А куда глубже, если синяя глина, и, по всем признакам, со времен скандинавского ледника никакие подвижки на этой отметке почву не шевелили... Промашка? И ежу понятно.

С ходу, сдуру разворотили широкую яму, да без толку — никаких признаков захоронения.

Стакан показал: есть еще порох в пороховницах, но надо с умом искать, грамотно.

Щупы не дали ожидаемого результата: только булыжник изредка в глубине скрипел, стекло блестело, кирпичные половинки и полусгнившие доски на свет божий появлялись, черные, как будущая Славкина доля.

Не показала ясности и траншея, наспех пробитая по краю заброшенного двора, по задворку, где начинались заросли. Хоть бы какая-нибудь мелочь, указующий признак отыскался — каблук от ботинка, кусок кожаного ремня, пуговица, железка...

Ровным счетом ничего.

(О костях никто вслух не заговаривал.)

Да, Федор вспомнил: мать рассказывала, что сапоги с убитого немца сняли прежде, чем тело закапывать. Хорошие были сапоги, с короткими халявами, медными подковками и такими же гвоздиками на подошве. Не пропадать же добру!

Стали производить рекогносцировку заново. Отправной точкой считался старый сарай, на месте которого буял драчливый ольшаник вперемежку с кустистыми вербами. А самого сарая давно уже не было в помине — сгорел, по словам дядьки Федора, от молнии после войны, а новый — развалили и продали на дрова. Стало быть, надо искать место пожарища, от него и плясать. Головешки, пенек — там неподалеку должна быть могила.

Еще Федор вспомнил разговоры матери про большой камень, обозначающий могильный холмик, но камень, если память не изменяет, забрали под фундамент, когда строили новую хату в деревне. Выходит, кроме головешек в земле и гнилых корней рухнувшей вербы, никаких существенных ориентиров места не сохранилось.

Пока судили-рядили, подошло время обеда. Тут уж Славка не поскупился, расстарался, стал метать на клеенку, расстеленную в холодке все, что привез.

Разлили в стаканы водку.

Разговор зажурчал.

Народ, подкрепившись, повеселел.

Копатели из молодых, — а это Володька и Славик, — пили спиртное в жару, чтоб поддержать компанию, для аппетита и разговора.

Деду Вершку и соседу Михалычу по старости только для запаха и нужно было, дури у каждого и без того хватало.

А дядька Федор и конюх Митяня нагружались на дармовщину неторопливо, с полным осознанием важности собственного присутствия и происходящих событий. Заглотив продукт послевоенного полусиротского розлива, насупились, не повеселели. Федор лоб морщил, «патылицу чухау», будто тужился, пытаясь вспомнить, где этот сарай аккурат располагался... И знал же, прощельга, обязан был помнить, однако по своему обыкновению вперед не соваться и уступать просьбам близких в самый последний момент, когда уж совсем невольно, кочевряжился да отнекивался. Забыл, не знаю...

Что ж, стакан опять показал. Опрокинув очередной граненый, «булганинский», Федор выдохнул вместе с отрыжкой:

— Колоду искать надо!

Чужому бы, городскому, и невдомек, а деревенскому человеку вмиг ясно стало, о чем речь: сарай-то дедовский на дубовых колодах стоял, именно так дома и риги до войны строили, тогда о блочных фундаментах не помышляли.

Догадка сплотила, отрезвила.

Шупы проворно замельтешили, лопаты со вкусом зачавкали, мореный дуб снизу глухим стуком вдруг отозвался — в одном месте, в другом, в третьем; квадрат бывшего фундамента в нужную сторону определился; шагами отмеряли расстояние от линии тыльной стены, а там, действительно, под верхним слоем — трухлятина древесная, корни, лиственный перегной и различный хлам пошел.

Тут бы передохнуть, дух перевести, определиться, но куда там, совсем горячо, давай копать, а что обнаружили — непонятно...

Тряпье — не тряпье, кости — не кости, палки глиной облепленные, почему-то крышка от чайника, кольца чугунные от плиты, банки консервные, бутылки, гвозди ржавые, еще какая-то мелочевка в комках... Не иначе свалка. Опять не то!

Впору веревки натягивать, на квадраты площадь разбивать, как умник Вершок советовал. А самого-то, тю, и след простыл! Смылся под шумок, и удочки из кустов исчезли. Рыбак хренов.

Дурной пример заразителен. Сразу все заскучали, зазевали — и начался перекур с дремотой. Повалилась разомлевшая публика где ни попадя: в тени под кустами, в полусумраке брошенной хаты.

Володька-танкист укатил на мотоцикле к себе в деревню. А Славка, как главный зачинщик «торжества», остался копаться в ямке, напялив на голову пилотку из газеты, чтоб не напекло.

И так, и сяк примерял заскучавший свой интеллект, пока не уперся взглядом в зеленый бугор, подступавший к хутору ежевично-крапивенной массой со стороны реки. Может быть, здесь поискать?

Флибустьерское счастье, кажется, юноше улыбнулось. Под покровом колючего матраса, лихорадочно изрубленного лопатой, в десятке шагов от начатой ямы вылупился древний пенек, подпираемый пологим холмиком. Неужели тот?

Славка стесал лопатой редкую «чупрыну» с возвышенности, круг расчистил.

К этому времени Володька из деревни подоспел.

Вдвоем стали над ямкой корпеть.

Сразу — песок. А через какой-нибудь метр обрывок брезента ли, мешковины ли подцепили размером с женский платок.

Истлела материя, трухой в пальцах рассыпается. Знать, не сыра-землица лицо убиенного, не церемоньясь, прикрыла в лихом году, а «домовина» крестьянская, скорая, тело недруга второпях укутала, дабы обычай христианский соблюсти и не как последнюю собаку в землю упрятать...

И березовый крест наверху наверняка стоял...

Был да сплыл.

Заспанная бригада подтянулась. Глаза бестолковые таращат.

«Адшукалі?»

Лопаты — в сторону. Славка в тонких перчатках (насмотрелся, шельмец, программ про археологические раскопки) начал руками землю разгребать, помогая себе мотыжкой. Долго ли, коротко ли ковырялся — как круглый ком из недр выкатился и матовой желтизной человеческого черепа в мокрых перчатках крутнулся.

И куда только заготовленные на всякий случай слова про бедного Йорика у юного Шлимана подевались?! Испугался парень, побледнел...

Череп, кости, истлевшие тряпки, обрывки бумажных спрессованных листов, что-то с виду железное, кожаное — это вам не хухры-мухры... Как ни крути — людская могила, разрытая... Хоть и немецкая.

Бригада враз зашумела, загалдела. Каждый из присутствующих счел своим долгом высказаться по поводу находки.

Первым встрял невесть откуда взявшийся ренегат Вершок, как будто бы его ожидали и мнение спрашивали:

— Закапаць уражыну абратна ды кол асінавы забіць! Каб ні дна яму, ні пакрышкі!

На Вершка недружно зацькали, а тот, чувствуя перед коллективом вину за прогул, взъерошился, будто пойманный ерш, вильнул взглядом в сторону неприбранной клеенки с закуской, проглотил слюну и решительно пошел прочь, мимо стола, походя хряпнув единым глотком забытый стакан. Надо полагать — в знак протеста. И только размотанная леска на удочке волочилась за стариком, цепляясь за траву крючком-вопросом.

Озадачил дед, смутил. А закинутый им поплавок сомнения остался на поверхности без движения.

— Закопать-то мы закопаем и куда следует сообщим, если спросят, — попытался сгладить неловкость ситуации Славик. — А что нашли? Кости? Надо дальше рыть! Документы, смертный жетон искать! Тогда, может, и узнаем, кто да как...

— Вот-вот! На поминки, что ли, собрались? По три рюмки — и баста? — поддержал бывшего одноклассника Володька и продолжил без видимой связи: — Я в Германии служил, в Трептов-парке на экскурсии бывал. Знаете, как наши могилки там прибраны, ухожены? Фамилия на каждом столбике. Неизвестных тоже много. Так и написано — неизвестный. А тут? Откуда ее взять, фамилию? Давайте искать, раз начали. Опять все бурьяном зарастет!

Старшее поколение, судя по их внешнему виду и настроению, противилось любому из прозвучавших предложений. Кол внутреннего несогласия, вбитый в недавнее единомыслие репликой Вершка, затронул острыми краями давно зажившую рану, редко по нынешним временам вспоминаемую, однако, оказывается, не забытую. Да и что они помнили, детишки военной поры, к примеру, Михалыч — патризанский сынок, или Митяня — войны последыш?! Тот же дядька Федор, родившийся в 41-м и просидевший смутное для родителей время в колыске и на печи, пока отчую хату наши же, партизаны, и не спалили, участвуя в армейском наступлении? Правда, после семья набедовалась, намыкалась. Так не они же одни! Оккупация, будь она неладна, многим крови попортила, многие жизни унесла... Так что ж сейчас — с вилами на комара? Давно уж тот германский вояка в земле истлел, а родители и родственники, если где-то и остались, слезы утерли и думать о нем позабыли, как забывают люди своих близких, умерших и павших... Стоит ли прошлое ворошить, плохо или хорошо, что могилку вскрыли? Правильно ли, по-христиански — загрести, наплевать и забыть?!

Славик, чувствуя себя кругом виноватым, на глубокую философию по оному поводу не претендовал, а то, что в черепушках соратников по могильному делу шкворчало, навряд ли себе представлял. Однако посыпать голову пеплом тоже не торопился и конфликт старался непременно сгладить. А нужен ли раздор? Да что вы, мужики, менжуетесь? Не пора ли выпить, закусить и «квитку» на затее поставить, еще немного порывшись и какие-нибудь вещички немца отыскав. Окончательно удостовериться, Фриц здесь закопан или Ганс? А пока прошу к столу...

Ямку с останками целлофаном прикрыли, направились к «поляне».

Сидели без утреннего энтузиазма, клевали вилками в открытых консервных банках неохотно, пили морщась и кривясь. Не пошла выпивка, не пошла, родимая... Возникшая накануне неловкость, казалось, комком застревала в горле, и как ни кашляй, ни колоти кулаком по спине, ее не выплюнуть. Чувство необъяснимой вины не желало растворяться в граненых стаканах, усердно пополняемых услужливым студентом. Каждому из присутствующих казалось, будто совершается что-то не то и не так, а поэтому дармовая водка не в удовольствие и летний день — не в радость.

Наконец Федор на правах хозяина территории решил проявить себя, подводя итог своим сомнениям и, как оказалось, мнению большинства, не считая отсутствующего Вершка.

Дядька дожевал луковый стручок и, обращаясь к племяннику, изрек:

— Вы тут, Слав, сами с Володькой заканчивайте. Приберитесь. А мы — домой. Надо крест сварганить. Дубовый. Чтоб стоял, пока то да се...

Старичье, кряхтя и вздыхая, не сговариваясь, поднялось с колен и гуськом побрело с разоренного двора в сторону деревни, трезвея на ходу. Этим потертым жизнью людям еще предстояло осуществить родившуюся за столом идею — взяв в руки плотницкий инструмент, срочно стругать, затесывать и запиливать неподатливую древесину, мастера из дубового бруска надмогильный крест.

Дело, в общем-то, привычное, житейское.

Славик направился было вдогонку, чтоб хотя б по пятерке дедам всучить за проделанную работу, задержать, однако остановился, рукой махнул. Не перепрешь. Видать, жареный петух их в темечко клюнул...

Пришлось разгрести захоронение вдвоем.

И шарили-то, просеивая землю сквозь пальцы, недолго: вскоре искомое было извлечено. Относительно хорошо сохранились лишь кожаный ремень, медная пряжка к нему, какие-то бляшки из амуниции и что-то похожее на кошелек.

Бумаги, которые в полуистлевшем портмоне лежали, давно в труху превратились. Ничего прочесть не удалось.

Ни медалей, ни орденов, ни знаков различия при убитом не оказалось, видать, не слишком знатный вояка был.

Осторожничали тоже зря — ничего трофейного, взрывоопасного в земле не оказалось.

А вот облепленный тленом металлический кружок заставил сердце главного искателя екнуть: личный опознавательный знак! Эврика!

Оттерли поверхность тряпкой, смоченной бензином из мотоцикла.

Алюминиевый круг с дырочкой вверху, разделенный надвое поперечной бороздкой. В верхней части отчетливая надпись «ROMANIA», а под ней — многозначные цифры. По-видимому, личный номер солдата и номер воинской части. А что еще?!

— Румын! — произнес Славка, еще не зная, радоваться или огорчаться.

— Так точно! — по-военному отрапортовал Володя-танкист и стал собирать инструмент...

Найденные человеческие останки парни аккуратно завернули в целлофан, положили на дно ямы и быстро, молча закопали, насыпав на месте погребения невысокий холмик с тем, чтобы с утра вернуться и поправить как следует.

Уже смеркалось, и пора было убраться с хутора восвояси.

Спустя некоторое время на новой-старой могилке появился дубовый крест. Его смастерил дядька Федор. Помогавшие ему сосед Михалыч и конюх Митяня больше мешали: суетились и лезли с советами.

Принявший участие в работе бывший танкист Володя выжег на перекладине раскаленным гвоздем слово «ROMANIA» и цифры, списанные с жетона. Авось кому-нибудь понадобятся.

Отношение деревенских к произошедшим раскопкам и найденным останкам румынского солдата (шила в мешке не утаишь) лучше всех выразил дед Вершок, по его версии, — самый полезный участник событий.

«Захопнік! Многа ўсялякіх мы тут бачылі. Няхай сабе ляжыць! Зямлі на ўсіх хопіць!»

Славка, как и следовало ожидать, оказался в пролете: румынская военная атрибутика фронтовых лет на черном рынке, выяснилось позже, не пользуется спросом. Не слишком усердно разыскивают своих павших героев и на их исторической родине.

А скорая на суд, злая на язык деревня окрестила Федорова племянника обидным для него прозвищем «Румын». Явится студент на побывку, а в спину: «Румын приехал! Немца откапывать!»

Хоть глаз на родину не кажи.

Ничего общего и нарицательного с сыновьями страны Румынии, бесславно павшими на Восточном фронте, polegшими в земле необъятной России, в том числе в лесах и болотах Беларуси, это прозвище не имеет.

Румын — да и все.

Впрочем, долго оно за Славкой не задержалось. Забылось. Как забывается все хорошее и плохое.

Славка с тех пор копательный бизнес, так неудачно начавшийся, забросил, однако на хуторе стал бывать по возможности чаще, за могилкой приглядывать. Говорит, мол, все равно к румыну никто с его родины не приедет, а тут вроде как бы и свой человек отыскался...

Видать, парня тоже, как и дедов, жареный петух в темечко клонул. Он и на бабкиной могилке несчастый гость, а тут с чужой возиться разохотился.

Все-таки недаром студента по-обидному прозвали.

Что с него, румына, взять?





Елизавета ПОЛЕЕС

***И нежность. И боль.
И бездонность Вселенной***

* * *

Может, мало меня вы любили?
Может, мало дарили участия?
Но еще я не горсточка пыли
И еще я надеюсь на счастье.

Я еще уповаю на Бога
И бреду по дорогам и весям.
Оглянитесь: вот я, у порога,
Вот я, мира юдольного вестник.

Протяните мне корочку хлеба,
Подарите руно золотое:
Я еще не рассорилась с небом,
Я еще не рассталась с мечтою.

* * *

Все, что в прошлом, за спиной,
помню мало.
Не гони меня, родной,
с пьедестала.

Задержи здесь, задержи
на высоких,
на не ведающих лжи
жизни строках.

Ждет ли радость впереди?
Ждут ли беды?
Их — до выдоха в груди —
путь неведом.

Только цены на любовь
зная плохо,

замираю пред тобой —
вся из вдоха.

* * *

Разбежаться — небом надышаться,
Ветреною позднею прохладой.
Всякое ведь с нами может случиться,
Если каждый миг считать наградой.

Разогнуться гибче, распрямиться —
Радость в сердце дольше удержать бы!
Будет ночь еще так долго длиться —
До рассвета ласковых объятий.

Размечтаться?
Впрочем, все возможно,
А быть может, — вовсе и не поздно...
Мир не до конца исполнен ложью,
Если в небе так сияют звезды!

* * *

Сколько звезд сияет в небе —
Их не счесть!
Дотянуться сердцем мне бы —
Слушать весть!

Не с баулом, не с вещами
Заглянуть.
Сколько странствий обещает
Млечный Путь!

Чем он манит, непонятный
Горизонт?
Кто развесил необъятный
Неба зонт?

Неужели так случаен
Жизни след?
Неразгаданная тайна —
В синей мгле.

Но зовет он и зовет он,
Звездный свет.
Может, там, за горизонтом,
Есть ответ?

Пылинка

Я крик твой, эпоха,
И боль вековая.
Я малая кроха
И белая стая.

Я ветер горючий
И пепел горячий.
Степная колючка
И голос ребячий.

Пылинка седая
Вселенского чуда.
Но тайна — куда я,
Зачем я, откуда?

Земля

То ль ударило оземь «градами»,
То ли выпали цезий с радием —
Только птица кричит отчаянно,
И планета моя качается.

Ах, планета моя печальная,
Голубая, необычайная,
Вся одетая звездной россыпью,
Жемчугами осыпана росными.

Как планета моя качается!
Неужели любовь кончается?
Неужели во зле, неверии
Мы растаем за дымкой серою?

А планета, она ведь хрупкая,
Вся украшена незабудками,
Непрозрачная, но хрустальная,
С нераскрытыми еще тайнами...

Все сильней планета качается.
Не разбить бы ее нечаянно.
Не спугнуть бы ее раздорами...
Не кружите так низко, вороны.

Пусть, как исстари, знойным вечером
Разрывают эфир кузнечики,
Пусть весной трава пробуждается...
Ведь не все на земле прощается.

* * *

Это спрятано на дне —
В сердца омуте.
Затаилось в глубине —
И не помнится.

Ни во сне, ни наяву
Боль забытая
Не родит ответный звук
И под пытками.

Говори же веселей,
Смейся яростней.
Да просторами морей
В лодке парусной

Уплывай, куда глаза
Смотрят зоркие.
Нет, не скатится слеза
Ни за горькую

Долю-долюшку твою,
Льком шитую,
Ни за участь — на краю
Жить побитою.

Улыбайся, как всегда,
В мир влюбленная.
Жизнь — и сладкая вода,
И соленая.

Пой смелей, да не скажи,
Что там прячется,
В тайнике твоей души
За чудачеством.

* * *

Еще совершу я открытие
Не раз, и не два, и не восемь.
Пускай назначают отплытие
Из лета зеленого — в осень,

Пускай назначают прощание
С листвою, с усмешкою, с детством.
Но тайны, но звезды, но знания —
Еще не наследство, а средство

Дерзать, восхищаться, витийствовать,
Разламывать жизни устои.
И стоит сражаться неистово,
А значит, — надеяться стоит.

Пусть осень, стыдливая спутница,
Мелькнет обнаженной веткой,
Я знаю: весною распустятся
Тюльпаны, подснежники, ветры.

И снова, бедой обожженную,
Они врачевать будут душу.
И снова я буду, влюбленная,
Весеннюю музыку слушать.

Ведь счет еще жизнью не выставлен
И скрыт за невидимой дверцей...
А годы, как точные выстрелы, —
Пронзают без промаха сердце.

* * *

В себя вобрала я так мало, так мало:
Два крика всего над простором причала,
Два чаек рассказа, гортанных и важных,
Да моря ночного дыханье и влажность.

В себя вобрала я так много, так много:
Две тихих слезинки о жизни убогой,
Мгновение сна — от рожденья до тлена.
И нежность. И боль.
И бездонность Вселенной.





Татьяна ЛАШУК

Два рассказа

БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

К девяти утра столовая санатория оживала. Столики быстро заполнялись людьми, веселыми от предвкушения еды и предстоящего еще одного летнего отпускного дня. Гастритники покорно шли к диетическому столу за своей порцией пресной жиденькой кашки. Более счастливым обладателям здоровых желудков полагалась на утро смуглая запеканка или омлет с серым казенным кофе. Пока длился завтрак, все болтали друг с другом, обсуждали предстоящие процедуры, прогноз погоды (опять жара) или что-нибудь еще.

Ольга Васильевна приходила в столовую позже всех. Пока отдыхающие дремали, она успевала на утреннюю пробежку. Подходила к своему столику, вежливо здоровалась и садилась, обдавая сотрапезников ароматом свежего утра и тонким шелковистым запахом духов. Ела она медленно, крошечными кусочками и сидела очень прямо. Угадать ее профессию было нетрудно. Такая птичья гладенькая головка и хрупкая, как сухая веточка, фигура бывают только у вышедших на пенсию балерин. И легко можно было себе представить, как она этими самыми своими длинными ногами пружинисто крутила фуэте или выбрасывала прямой угол арабеска.

Ольга Васильевна держалась обособленно. Большую часть времени она проводила у себя в номере, аккуратно посещая процедуры и холодно отвечая на приветствия всех желающих с ней поздороваться. Пока отдыхающие парочками прогуливались по сосновой просеке, она сидела неизменно на одной и той же скамейке и читала толстую книгу с иностранной обложкой.

Эта неприступность заинтриговала Анатолевича, санаторного сердцеда, за две недели пребывания успешного обаять большую часть отдыхающих лиц женского пола бальзаковского возраста. Анатолевич подключил все свои чары вкупе с шоколадкой и добыл от администрации санатория интересные его сведения. Сорок два года, не замужем, детей нет, рост сто шестьдесят восемь сантиметров, вес сорок девять килограммов, астматический бронхит. И когда Ольга Васильевна после врачебной ванны в белоснежном мохеровом халатике грациозно шествовала по коридору, он попался на ее пути с каким-то цветистым комплиментом. Но она посмотрела на него глазами грустного олененка и прошла мимо, чуть нагнув голову. Это несколько обескуражило Анатолевича, но и раззадорило одновременно: он все равно подобрался к ней поближе, переночевав в ту ночь за стеной у ее соседки по номерам.

В другой раз, когда Ольга Васильевна читала свою книгу, у нее из страниц случайно выпала закладка. Бдительный Анатолевич тут же метнулся, поднял закладку и с поклоном подал читательнице: передавая из рук в руки убедился, что ладонь у нее нежная, но прохладная.

— Интересная, наверное, книга? — задал он свой неизбежный вопрос.

— Oui, — кратко ответила Ольга Васильевна. Поскольку Анатолевич французским не владел, их диалог на этом и закончился, но настойчивый поклонник не терял надежды.

К завершению курса оздоровления отдыхающими было решено в знак благодарности санаторию своими силами устроить концерт. Конечно, на любительском уровне, но тем не менее!.. Сразу же нашлась исполнительница восточных танцев, кто-то умел показывать фокусы, а кто-то мог прочитать стихи собственного сочинения (специально написанную благодарственную оду санаторию «Серебряные Сосны»). Анатолевич активно вызвался спеть песню Верки Сердючки в образе, и добровольцы тут же начали вырезать ему из картона звезду на голову и мастерить из серебристого кимоно одной объемистой дамы костюм для сцены. Пригласить отставную балерину порадовать народ своим искусством Анатолевич отправился лично.

Перед заветной дверью он даже почувствовал некоторое волнение. На повторный стук дверь открылась: Ольга Васильевна возникла на пороге в пижаме — был уже вечер, но, впрочем, еще не поздний). На голове у нее был намотан тюрбан из мокрого полотенца — видимо, она только что мыла волосы.

— Ольга Васильевна, добрый вечер...

— Добрый вечер.

— Я пришел... У нас там организуется концерт. Так я пришел пригласить вас станцевать танец маленьких утят... то есть лебедей... Лебедей?..

— Нет, — спокойно ответила она, — нет. Извините, но я давно уже не танцую.

И кивнув на прощанье, просто закрыла у него перед самым носом дверь.

Анатолевич поблелел. Даже две его бывшие тещи (при всей их оптической точности прицела в болевые точки) не смогли бы повергнуть его в такие глубины уязвленного эго.

На следующий день Ольге Васильевне всеми отдыхающими (особенно возмущенными дамами) был объявлен бойкот. С ней никто не здоровался, от нее отворачивались. Когда она пришла на завтрак, за столиком на лицах было написано затаенное ожидание. Ольга Васильевна отодвинула стул и обнаружила на его сиденье размытую звезду сочного плевка. Она оглянулась по сторонам: вокруг все места были заняты жующими людьми. Она тихонечко вздохнула, придвинула стул обратно и пошла к выходу.

А вечером концерт удался на славу. Музыка гремела так, что отголоски и возгласы проникали даже сквозь закрытую дверь в номер Ольги Васильевны. Анатолевича дважды вызывали на бис. И он довольно пожинал плоды своей славы в виде неистовых аплодисментов и отпечатков помады на щеках. Санаторий в тот вечер долго не мог успокоиться и затихнуть, пока, наконец, сон не утихомирил даже самых неутомимых обитателей.

Была глубокая ночь и полнолуние. Ольга Васильевна всегда тяжело переживала полную луну. Она занавесила окно, но потом ей стало невыносимо душно, и окно пришлось открыть. Она приняла таблетку и испугалась, что опять начинается приступ удушья, даже хотела позвать дежурного доктора, но было совестно ее будить, да и вроде бы отпустило. Она босиком ходила по комнате и дышала, дышала.

Лунная дымчатая лента легла на стол и высветила стоявшую на нем в рамке фотографию. Ольга Васильевна и без призрачной подсветки прекрасно видела каждую деталь этого снимка: на нем она в гриме и в блестящем оперенье Одетты, с охапкой цветов в руках, а рядом с ней Зигфрид-Саша, такой же

молодой и счастливый. Они оба улыбаются и глядят куда-то поверх объектива фотографа: наверное, смотрят на свет восходящей звезды своего признания и успеха. Вместе с ним они только что вырвались из безликого строя кордебалета, станцевали свою премьеру и на сцене идеально чувствовали друг друга. А через несколько часов Саша смывает грим и после нескольких бокалов шампанского, выпитых с ней наедине в гримерной, легкомысленно сядет за руль автомобиля и уедет. Навсегда уедет.

После Сашиной гибели ей пришлось танцевать эту партию и с другими партнерами. Они правильно улыбались, правильно делали поддержку, но все было *по-другому, что-то не так*. Из ее танца тоже *что-то* навеки ушло, словно оторвалось, как крыло, и стал тяжелым сквозной дым белой пачки. Каждый раз после спектакля ее душа горела, словно вскрывалась старая рана. Потому-то она очень не любила танцевать Одетту и с искренним облегчением, безо всяких проволочек и закулисных козней, передала свою заглавную роль новой молоденькой солистке.

...К утру слабая боль, щипавшая ее сердце, вдруг прошла грудь насквозь острой иглой и протянула длинную нитку. Ольга Васильевна вскрикнула и задыхнулась. Нить туго натянулась до пределов невозможного, нечеловеческого страдания и — оборвалась. Сразу стало легко и радостно дышать, а ее тело словно растворилось в потоке прохладного воздуха. А из распахнутого окна слышались отчетливые, знакомые звуки музыки. И Ольга Васильевна затрепетала: она понимала, что это означает. Она заворуженно приблизилась, выглянула в окно и удивленно спросила у неба, влекущего в свою раскрытую глубину:

— Как, неужели мне пора? Так скоро, но ведь я еще не готова!

Но звуки увертюры становились все громче, все захватывающе, и в них не было и не могло быть ни одной фальшивой ноты, одна чистая властная мелодия. На последних тактах, когда ожидался ее выход, Ольга Васильевна успокоилась и улыбнулась. Она и раньше подозревала, что превращаться будет совсем не страшно. Она послушно поставила на подоконник свою розовую перепончатую ступню, навсегда освобожденную от пуантов. Откинулась назад и свела за спиной лопатки, чтобы выпростать крылья в оконный проем, оттолкнулась и легко взлетела.

Туда, вверх, куда поднимаются все сказочные лебеди. К огромному магниту белой сверкающей луны.

СЕЗОН ГОРЬКИХ ЯБЛОК

Яблонька цвела только свой первый год, но уже завязала три яблочка. «От добрый знак, — с удовлетворением рассуждала Дунчиха, разглядев в листе зеленые и мелкие, как орех, шарики. — Батькина память пошла в рост. Может, и будет какое добро. Хоть внучат понянчу...» Деревце это посадил еще ее муж в последний год своей жизни. Сажал под окнами дома и надеялся попробовать с него яблок. Человек ушел в землю, а дерево потянулось от земли, набирая силу.

Летнее утро разогревалось под лучами припекавшего солнца, и во дворе стало солнечно и радостно. Хорошо и приятно было наблюдать хозяйскому взгляду. Курица важно вышла из сарая и пронзительно кудахта, что снесла яйцо; бледно-рыжий кот яростно вылизывал себе живот, навзничь развалившись на траве. А Дунчиха возвышалась посреди своего двора: еще не старая, осанистая и здоровая, настоящая приеманская Церера, даром что босоногая,

в платке и застиранной юбке. Ее загорелые ноги крепко стояли на земле: на правой лодыжке розовел полукруг шрама — еще в детстве сильно поранилась серпом на жатве, но ничего, все зажило. И первый свой созревший огурец она ела, хрустко надкусывая его крупными белыми зубами.

Про Дуньков вообще в деревне завистливо отзывались, что их никакая холера не берет. Жили они с царских времен хорошо, зажиточно: просторная ладная хата, гумно, своя сажалка, и в хозяйстве две коровы и конь. Батрачить к ним многие ходили. За польским часом Дуньки тоже жили неплохо, а когда пришли Советы, односельчане уже предвкушали конец их благоденствия: уж больно точно вписывались Дуньки в представление о вредоносном кулацком элементе. Их ждал на вечное переселение Урал или Казахстан, чтобы растворить в себе и смешать с остальными врагами народа. Но не тут-то было. Дунько сумел вовремя сходить с узелком к нужному человеку и был тогда записан с семьей в более безобидные середняки. Землю у Дуньков, конечно, почти всю отобрали, одну корову они сами зарезали, а коня пришлось с тяжким сердцем отдать колхозу. Зато ничего, никто их не тронул и с родного места, как пыль по степям, не понес. Однако самому Дунько, видно, вышла вся эта история боком: однажды он, никогда не болевший молодой мужик, утром не смог с постели встать и рукой шевельнуть, а через три дня его и похоронили.

Дунчиха осталась одна смотреть за старой свекровью и поднимать двоих сыновей: Семена с Володькой. И ничего, все у нее вышло как надо: старший, Семен, мозговитым вырос, поступил на инженера. Пока он в городе учился, Дунчиха сдала в хате его пустовавшую комнату молодой учительнице Катьке. Сейчас она с досадой думала, что лучше б она этого и не делала, потому что Семен на каникулы как вернулся, так и закрутилось у молодых людей дело серьезное. Семен все книги брал у нее почитать и дочитался до свадьбы. Нет, взять замуж *учительку* — это конечно, почетно. Да и против самой Катьки Дунчиха ничего не имела, даже с неосознанной своей материнской ревностью признавала, что девка и с лица ничего, и скромная, и по хозяйству помочь сама вызывалась. Но все равно, если она сама по себе несвойская, недеревенская: коротко острижена, гладенько расчесана на пробор, и ходит вся такая деликатная, к тому же носит лифчик и белые носочки. Каждый вечер стирает их у колодца, изводя мыло. Но самое главное было то, что Катька-то совсем из голодранцев и сирота. Приехала жить: в хату с собой огромный чемодан притащила, а там одни книжки. (За самой Дунчихой в свое время в приданое, слава Богу, корову давали.) Вот это-то и было плохо, да только уж так сошлось. Мысли Дунчихи сейчас работали в одном, но приятном направлении: надо запастись самогоном, а к осени заколоть кабанчика и старого петуха можно тоже под нож: свадьба чтоб была как у людей...

Ход ее рассуждений прервался. Калитка открылась и пропустила во двор Володьку, который вернулся с ночной рыбалки.

— Мамка, глянь, — он с гордостью поднес ей ведро. Там в воде беспокойно трепыхались глянцевого цвета спины двух крупных рыб.

— Ну то добро. Неси на кухню — будет сегодня уха... Только гляди кота!..

Подросток послушно повернулся, чтобы уйти, но тут же получил в спину материнский окрик:

— Ну и где уже портки себе ободрал?! Вошь лосиная!..

Володька со сновкой увернулся от шлепка и начал подниматься на крыльцо. Следом за ним заинтересовано потянулся и кот.

Дунчиха пошла к колодцу. Она спустила порожнее ведро, зачерпнула и

начала крутить колодезную ручку наверх, легко поднимая его уже тяжелыми полным воды. В этот момент из распахнутого окна кухни захрипело, прокашлялось радио и затянуло громкую бодрую песню:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

— Ирод, да сделай ты тише: бабтя спит! — негодуяще закричала сыну Дунчиха.

— Бабтя уже не спит, — равнодушно сообщил Володька, но убавил громкость. Он вдруг высунулся всем своим полуголым поджарым торсом из окна, опер побитые локти на подоконник и с самой нежной улыбкой потребовал у матери:

— Мамка, купи мне ровар! Я ровар, как у Семки, хочу...

— А фичку под лычку не хочешь? — сурово спросила Дунчиха, для выразительности поднимая сложенные пальцы правой руки в нужной композиции. — Какой из тебя с твоими тройками пионер? Семка себе сам на ровар заработал, а ты мое горе горькое!

Володька сразу понял, что (как говорят в клубе) дискуссия окончена, и пропал из окна.

Дунчиха между тем плеснула себе на ноги холодной воды, обтерла ступни об траву и взошла по ступенькам в дом. На кухне она быстро оборвала рыбки жизни и разделала серебряные тушки для ухи, растопила печку. И вот уже скоро заклокотала вода в пузатом горшке, наваривая пахучий суп.

Выгнав Володьку покормить кур, Дунчиха поставила свекрови завтрак на стол и взялась мыть полы. Старая Константиновна присела под окно на лавку завтракать: ела она хлеб с яйцом, густо просыпая крошки себе на телогрею и на пол, но Дунчиха молчала, терпела.

Подтирая пыль под шкафом, Дунчиха вдруг спохватилась: ну вот, Семену есть что надеть на свадьбу — справила она ему на учебу костюм с галстуком и рубахой, а Катька-то с ним парой смотреться не будет! Эта мысль отчего-то ее разволновала. Она бросила тряпку, обтерла руки и полезла глубоко в закрома шкафа, вытащила оттуда на свет божий заветный отрез бледно-голубого крепдешина. В шероховатых и темных от работы пальцах он смотрелся особенно нежным воздушным облаком. Столько лет еще со своей свадьбы хранила она этот отрез доченьке на платье, но Господь ей только двух сынов послал.

— Кать, а Кать! Иди сюда, — окликнула она девушку в окно. Половшая в огорожке бураки Катерина покорно разогнулась и, несколько удивленная, вошла в дом.

— Ну-ка, глянем, как на тебе посмотрится!.. — Дунчиха набросила смутьившейся девушке ткань на плечи и обернула по талии. — И славно. Надо будет шить к Фане идти, у нее «Зингер» давно без работы стоит.

— Та ваша Фаня за работу семь шкур снимает, — пробурчала Константиновна, которая, как всякая женщина, с интересом наблюдала зарождение нового платья. — Девка раньше приданое сама себе шила, без сундука и не брали замуж!

— Ой, помолчите, мама, вас не спросили! — пошла на подмогу вспыхнувшей Кате Дунчиха. — Наша невеста всех лучше будет...

— Ой, не надо, Настасья Васильевна, я все равно такого подарка не приму... — Катерина потянула с себя ткань. — Мы с Семеном хотим, чтоб все было скромно...

— Примешь, еще как примешь, — отрезала Дунчиха. — Раз в нашу семьюходишь, то ты нам родная... А свадьба дело родительское, вас не касается...

Катя по опыту знала, что спорить с Дунчихой дело неблагодарное. Все равно они с Семеном втайне собирались после свадьбы искать свой угол. Между тем Дунчиха разошлась: достала длинную, в пол, фату, в которой сама венчалась, и надела будущей невестке на голову. Пожелтела прозрачная ткань, поизмялись белые цветочки венка, но сразу в комнате возник тот особый праздничный свет, когда является миру невеста. Праздник, праздник, и тревожная радость за судьбу молодой, и особенный блеск смущенных и радостных глаз!.. Дунчиха пустила слезу и заголосила, вытирая тыльной стороной руки мокрые щеки. Константиновна закачала головой. Катя стояла неподвижно и мучилась от неловкости. Спас ее вернувшийся с сенокоса жених: неожиданно под окном мелькнула его голова и плечи с закинутой на них косой.

— Все, Семен идет! — радостно сообщила она и с облегчением сняла фату.

Час наступал обедать. Все собрались за столом: Катя резала на пышные ломти мягкий домашний хлеб, Дунчиха разливала дымящуюся уху. Перед едой Константиновна и Дунчиха синхронно вдвоем перекрестились в красный угол на Николая Угодника: молодежь сидела с растерянными лицами, но ничего, помалкивала.

— А я утром два самолета видел, — с набитым ртом объявил Володька. — Я, когда вырасту, буду летчиком, как товарищ Валерий Чкалов.

— Летчиком он будет! Туда дурных не берут, — оборвала его мать. — Вилы в руки да в колхоз на поле тебе дорога...

— А он хочет стать летчиком, — вступился за брата Семен. — И станет, потому что в нашей стране всем мечтам открыта теперь дорога. Вот увидишь, мать, ты еще про Володьку в газете прочтешь, да, Володька?..

— Да-а-а... — важно протянул подросток.

— Ой, твои бы слова да Богу в уши... — скептически вздохнула Дунчиха.

— Да при чем тут Бог?.. Сам, своим трудом и талантом советский человек добивается успеха. Мы вот с Катей над ним шефство возьмем и поможем в учебе, если надо.

Дунчиха махнула на него ложкой:

— Ты сам себе помоги: скоро свои дети пойдут, так их и будешь на ноги поднимать...

Катя покраснела, Семен смутился тоже, но заупрямился:

— Все, мам, теперь людям по плечу: скоро и детей воспитывать по науке будем, всех по талантам и способностям...

— Вы бы лучше их по божескому закону воспитывали... — не выдержала и вставила свою реплику и Константиновна. — Вон вчера ваши пьянеры в батюшкиных детей камнями кидались! Что это делается, совсем Бога забыли. Значки нацепят и ходят так, нечистиков радуют...

Семен уже и рот раскрыл для возражения, но глянул на мать — и закрыл.

После обеда Володька упросил Семена дать ему покататься на велосипеде. Он важно и неторопливо выехал со двора: на деревенской улице за ним сразу же побежал хвост из товарищей, просивших дать прокатиться и им.

— После дам, у меня дела есть, — надменно ответил им Володька и увеличил скорость, отрываясь от просителей.

Ветер свистел ему в лицо, ерошил волосы. Володька крутил педали без остановки и несся по дороге. Мимо мелькали темные елки у обочины. А он — летел!..

У реки мальчишка соскочил с велосипеда, по нагретому от солнца песочку сбегал вниз, сбросил штаны и бросился в воду, поднимая фонтан белых брызг. Хо-ро-шо-то как!.. Володька до изнеможения плавал, фыркал и отплевывался. Наконец устал и пошел на берег. Там он долго загорал, блаженно растянувшись нагишом на песке.

В небе опять загудел самолет. Володька задрал голову и, щурясь от ослепительного садившегося солнца, заорал вверх:

— О-го-го! Привет, я здесь!..

Пушистый рокочущий след удалялся в небе. Володька устал валяться, надел штаны и, сумрачно предвкушая материнский нагоняй за долгое отсутствие, поехал домой.

В деревне он на улице увидел брата с невестой: Семен и Катя шли, держась за руки. Вид у них был счастливый. Володька с завистью подумал, что они наверняка недавно целовались. Он посигналил им и пронесся мимо.

Повезло сразу не встретить мать: она ушла в хлев кормить кабанчика. Володька прошмыгнул в дом, зашел на кухню и там жадно припал к ведру с водой, звучно хлебая прямо из ведра. Напившись, он подошел к календарю и оторвал листок: день-то ведь уже заканчивался. На листке ничего не было интересного: шахматный этюд. Белые начинают и выигрывают. Решение см. на листке от 30 июня. Шахматами Володька не интересовался, хотя в школе был популярный кружок. Он небрежно смял бумажку и бросил в печку последний беззаботный день своего детства. Затем открыл дверь и побежал на улицу.

На календаре было 22 июня.





Славомир АНТОНОВИЧ

Тебя люблю я, как и прежде

AVE

Над засыпающим проспектом
Горят малиновые зори,
А дома синие конспекты
Зовут, как окна аудиторий.

Любуемся, как гладит ветер
Каштаны дивные и клены.
И балагурит майский вечер:
На щечках девочки влюбленно,

Как будто маленькие гроздья,
Порой пугливые излишне,
Рассыпал он веснушки-звезды.
Гляди и радуйся, Всевышний!

Во всем гармония в природе,
А в сердце — словно шум прибоя...
Не надо мне земной свободы:
Хочу плененным быть тобою.

Красавица

Весенней ночью в платье белом
Пришла ко мне ты, Ангел мой.
Я целовал тебя несмело,
Хоть целоваться не впервой.
Стоял, посматривая косо,
И от волнения молчал.
Мой стыд убили наповал
Твои распущенные косы.

Я счастлив был, и страсть горела
Огнем губительным любви,

Когда в глаза мои смотрела,
Шептала: «Только позови...»
И в этой сказке весновея
Я был и твой, и был ничей.
О, сколько дней прошло, ночей
С тех пор, как стала ты моею!

Хочу сравнить тебя с иконой,
Хоть это, право же, грешно.
Казалось, что вошла Мадонна
В небес открытое окно...
Былые дни вселят надежду,
Но жизнь назад не повернуть.
Твой взгляд мне не даст уснуть —
Тебя люблю я, как и прежде.

Свет любви

Н. П.

«Уйду!» — сказала ты с досады.
Чуть вздрогнул голос тишины.
Не оставляй меня, не надо,
Не забирай хотя бы сны.

Проститься так, чтоб боль земная
Не больно сердце обожгла...
«Прощай! Согреет пусть другая,
А я сгорела вся дотла...»

Смотрю в твои глаза-озера,
И как мне хочется сказать:
«Давай скорей забудем ссоры!
Нам жить еще да поживать...»

Даст Бог, забудутся ненастья
И наши встретятся пути.
Какое ж это чудо-счастье —
На край земли с тобой идти!

* * *

Влюбленным — весна и в январь белоснежный.
Грустят мои губы без губ твоих нежных.

Ну, где же вы, милые девичьи руки?
Любовь я узнал, но любовь не без муки.

Мы все очень просто в далекие двадцать
Могли с неизведанным счастьем встретаться.

Но только обманчивы юности лета:
Весной — вроде счастлив, а осенью — где там!

Пусть и невзгоды случаются с нами,
Но мы забываем о них временами.

С любимой святое мгновенье на свете
Мы ловим, как зайчика с зеркала дети.

С улыбкой такой лучезарно-невинной —
Влюбленно в глаза посмотрела богиня...

И вдруг, словно девочка, слово забыла,
А слово такое щемящее — милый...

Влюбленным весна и в январь белоснежный.
Грустят мои губы без губ твоих нежных...

Звезды моей юности

*Маладыя гады,
Маладыя жадання!
Ні жуды, ні нуды,
Толькі шчасце кахання...*

М. Богданович

А помнишь ли ты, моя фея-невеста,
Как в наше окно постучала весна?
В душе засияла огней самоцветом
И наши сердца озарила она.

Окутала ветки метелью белесой,
Как школьницы, вишни стоят — не спугни!
Рассыпала в небе волшебные звезды —
То юности светлой ночные огни...

Влюбиться бы снова, пускай безответно,
И ночь напролет видеть звездные сны,
Чтоб ярким цветком — васильком неотцветным —
Цвела моя юность в объятьях весны.

Перевод с белорусского Микола ШАБОВИЧА.

Калининградская тетрадь: журнал «Балтика» в гостях у «Нёмана»

Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с юбилеем! Ваш журнал давно и заслуженно пользуется признанием читателей не только Беларуси, но и на пространстве бывшего нашего Союза. Его долгая и славная история — надёжный мост из великой литературы XX века в литературу сегодняшнюю. Особенно близок ваш журнал нам, калининградцам. Мы живем в области, граничащей с вашей республикой, нас объединяют не только общие стремления к развитию культуры и духовности, нас объединяет река, именем которой назван журнал. Беря начало в ваших краях, она несет к нам свои воды, пополняя Балтику в тех местах, где был заключен Пильзитский мир, и впадает в наш легендарный Куршский залив. Мир и братское сотрудничество нам завещаны всей нашей историей. Будем же крепить дружеские творческие связи. Сегодня очень важно сохранить журнал как силу, объединяющую людей культуры. Мы от всей души желаем «Нёману» творческого течения, талантливых авторов и широкой читательской аудитории. Мы открыты для сотрудничества и рады тем взаимным шагам, которые сделаны нашими писателями и журналами «Нёман» и «Балтика» в 2015 году. У нас единая задача — найти отклик в душах современников, дать читателям образцы высокой поэзии и прозы, правдиво отразить проблемы современности и нашей истории. Успехов и тиражей на этом пути, крепкого здоровья редакции и авторам журнала!



**Председатель Калининградской
писательской организации**

Борис БАРАНЦЕВ

**Сопредседатель Союза
российских писателей**

Олег ГЛУШКИН

Главный редактор журнала «Балтика»

Лидия ФРОЛОВА

Олег ГЛУШКИН

Тиха Вальпургиева ночь

Семен Гардин быстро дал себя уговорить. Осталось только благодарить судьбу за такой неожиданный подарок. Дело в том, что его товарищ по дальним морским рейсам, а ныне крупный банкир, владел, как сейчас выражаются, большой недвижимостью. И недвижимость эта была в самых разных местах — от Байкала до Канар. А предложил этот владелец гостевой домик не в дальних краях, а тут, почти под боком, в Надровии. Домик этот он, по его словам, держал для самых важных гостей и для иностранцев. Был конец апреля, еще не сезон, а потому все комнаты там свободны.

— Старик, — восторженно убеждал банкир, — ты даже не представляешь, как там сейчас прельстительно, пустынно, дом стоит на горе, видно из окон море, а на этой горе костры скоро зажгут. Вальпургиева ночь грядет! Эх, если бы не мой проклятый бизнес, поехали бы вместе!

Да о таком даже и мечтать не приходилось. Гардин живо все представил — и этот домик, и ведьминский шабаш, и сразу сюжеты в голове всякие закрутились, и почему-то строчка возникла: «Тиха Вальпургиева ночь!»

И эту навязчивую строчку он потом повторял, пока ждал паром. Иного сообщения с внешним миром те места не имели. Были они отделены от бывших колхозных, а ныне заброшенных полей широким каналом, прорытым еще до войны и ведущим к морю. Ныне канал был никому уже не нужен. Всего один раз в неделю ходил там паром. Управлял паромом глухой дед, насупленный и заросший сивой клочковатой бородой.

Гардин легко прыгнул на низкую палубу и, поняв, что дед ничего не слышит, запел во весь голос тут же сочиненную песню: «Вези меня, Харон, вези меня, Харон, я скоро буду обладателем хором...»

Более прекрасного настроения у Гардина в жизни не было. Журчала вода за кормой парома, поскрипывали рулевые тяги, вырастали навстречу зазеленевшие роши, и вот уже гора виднелась, а на ней не домик — дворец.

Ключ был в условленном месте — приклеен скотчем к почтовому ящику. Во дворце этом было семь комнат и большая кухня; почти вертикальная лестница, напоминавшая трап, вела вниз, в подвальное помещение, там была сауна; стены из ароматно пахнущих сосновых досок, перед сауной пульт с множеством рубильников, — нет, не забыл банкир море — ладили ведь под его вкус. А наверху рядом с кухней, как и на корабле, — кают-компания, длинный стол и большой телевизор. И включать его не буду, и газет здесь не будет, и компьютер не стану к интернету подсоединять, ничем не буду голову парить, — радостно подумал Гардин. Он открыл предназначенную ему

комнату, упал, раскинув руки на белые накрахмаленные простыни, и зажмурил глаза.

Все, начиналась новая жизнь. Никогда не поздно начать все по новой. Уже тридцать лет. А что позади, чего добился? Несколько рейсов с рыбаками. И газетная поденщина. Каждый день хоть сто строчек, но принеси. И четко знай — кого можно трогать, а кого нельзя. Свобода — свободой, а без спонсорских подачек не проживешь. И пиши как все, всякую там образность, эпитеты — забудь. И все, чему учили на фил-факе, забудь. Газета портит стиль. Всем известно. Надо уметь вовремя порвать. Вот он и нашел в себе силы! И конечно, здесь, в полном уединении, он создаст первый свой шедевр. И никто ему не помешает. Ах, как давно он об этом мечтал. Вот сейчас сядет за стол, включит ноутбук — и понеслось. Слов накопилось — просто сами рвутся в текст.

А сколько здесь света в комнате, два широких окна — из одного виден край моря, почти платиновая полоса, а слева песчаные дюны, из другого окна — соседняя гора, и видно, как среди низкорослых сосен петляет желтая тропинка, словно речка течет. И еще видна справа деревянная пристань, под апрельским солнцем все играет, светится, повсюду пробуждается жизнь. И он, Гардин, все это будет наблюдать, всю первозданность природы, и заселит ландшафт героями — счастливыми людьми, открытыми и свободными. Такими же свободными, как и он сам. Всю жизнь пишешь самого себя, так говорил его учитель, поэт, прошедший все круги лагерного ада, но не утративший любви к жизни. «Ненависть уничтожает творца, зависть и ненависть... Надо любить людей, учиться любить и прощать», — напутствовал он своим глуховатым голосом, когда пришла пора Гардину расстаться с ним и уехать из северной столицы сюда, на самый западный край страны.

Человек может обрести счастье только тогда, думал Гардин, глядя на солнце, скатывающееся к темной полосе моря, только тогда, когда он свободен. Великое чувство беспредельной свободы охватывало его. Как он раньше не решился! Сколько терпел! Дом, жена, маленький сын, служба. Хочешь творить, хочешь свободы, а где возьмешь деньги для этой твоей свободы, — урезонивала теща. Но, наконец, и она сдалась. Он послал на конкурс свой рассказ, тот первый, сочиненный в рейсе, на траулере. И вошел в шорт-лист. Это что-нибудь да значит. А если будут развязаны руки, если будет много рассказов. Где-нибудь да прорвутся. Крики о нечтении, о нежелании народа погружаться в твои мысли и разделять с тобой радость и отчаяние — это все от непризнания. Это желание скрыть свою бездарность создавшимися обстоятельствами. Если написать честно, написать без оглядок — все поймут, что без твоей прозы жизнь обеднена, жизнь без книги — что может быть пресней.

Гардин сел за компьютер, когда за окном начало сереть небо, писал без остановки часа два, даже свет не включал, пальцы носились по клавишам, едва успевая за рождающимися фразами. И от того, что текст получался, от того, что слова сами приходили и приводили другие слова — и все это складывалось в затейливый сюжет, — от всего этого было так светло на душе, было так просторно, что, казалось, сейчас он способен не только создать текст, но и, если понадобится, запросто переплыть канал или взбежать на соседнюю гору, найти самое высокое место и со скалы нырнуть в море, плыть в холодной апрельской воде и не замерзнуть. И когда он прочел сочиненный текст и понял, что его почти не надо править, что найден нужный ритм, на него снизошло

такое светлое чувство, он почувствовал такую легкость в себе, словно обрел незримые крылья. И он растворил окно, впустив в комнату холодный воздух и с наслаждением вдыхая его, и запел нечто несвязное, но победное, исторг свой клич — и соседняя гора эхом отозвалась, и над каналом пролетело эхо. А потом наступила тишина, божественная, почти ощутимая плотная тишина — пришла ночь — самое лучшее время для творчества. Так ему раньше казалось, ведь он все время писал свои рассказы по ночам, другого времени не было дано. И только сейчас он вдруг понял, что самое лучшее письмо будет на рассвете. И опять ему стало радостно — он завтра проснется, и ему некуда будет спешить, он пробежится вокруг дома по зазеленевшей росной траве, встанет под горячий душ — и, освеженный, полный сил, будет продолжать столь удачно начатый рассказ. И не надо ни о чем заботиться. Батареи нагрелись, они электрические. В холодильнике полно припасов. Банкир предупредил — все есть, кроме спиртного, специально не держу, узнают местные, двери взломают, и еще сказал — если захочешь свежего чего-нибудь, так там есть лодчонка у меня, отгребешь на другой берег канала, там деревенский магазин, работает в субботу и в среду — такой у них режим, народу окрест почти не осталось.

Магазин мне ни к чему, решил Гардин, перечитывая наклейки на различных пакетах и баночках, здесь не только месяц можно прожить, здесь любую блокаду можно выдержать.

На следующий день творческий настрой его еще более усилился. Никогда ему еще так радостно и так емко не писалось. И хотя он пребывал в самом радужном настроении, мысли приходили самые сложные, хотелось отыскать решение самых непростых вопросов. Он знал, что это иногда удается, когда не очень задумываешься о планах героя, а пишешь потоком, и сам герой, если ты его видишь, диктует тебе свои откровения. И вот что удивительно, получалось, что и в радости есть свои печали, что герой его думает о самом главном — о смерти, перед которой все мы равны и которая зачастую определяет смысл всей остальной жизни. Как встретишь ты ее, где найдешь мужество, чтобы познать ее смысл? Что открывается человеку в его смертный час?

Гардин долго обдумывал все это — и все же решил сохранить жизнь герою.

И вот пришел последний день апреля, и вечером Гардин увидел вспышки на вершине соседней горы. Сперва он подумал, что это огни маяков, но скоро понял, что там разжигают костры. Вальпургиева ночь приближается, понял он. Дул сильный ветер, он отворил окно и сразу почувствовал всю колкость и морозность этого ветра. Идти никуда не хотелось, и он сам себя стал корить: ты же хочешь стать писателем — значит нельзя пропускать такого события. Он нашел в кладовой теплую куртку своего размера и решительно вышел из дома. Идти пришлось почти полчаса. Это из окна казалось, что соседняя вершина совсем рядом. И пока он шел, огонь костров взял свою силу, и они уже полыхали вовсю. Отпугивали нечисть. Совсем это не наш, не русский обычай, а вот прижился — почему? Гардин пытался сообразить. Возможно, что-то подобное было в язычестве, возможно, еще во времена викингов отплясывали у костров. Огонь всегда был проявлением высших сил, был очистительной стихией, огонь сохранял жизнь, а мог и отнять. Очевидно, для ведьм огонь был притягательной силой, как и для мотыльков. И для людей. Разве он, Гардин, не идет сейчас на огонь?

Такая ночь — просто находка для писателя. Утверждают, что в эту ночь открываются границы между мирами, между миром зла и миром добра. И ведьмы, и вся нечистая сила пытаются проникнуть в человеческий мир. Они летят со всех сторон на метлах, на козлах, они дико завывают в высоту. Гардин на мгновение остановился и посмотрел вверх на темнеющее небо, он долго всматривался в причудливые облака, при определенной доле фантазии можно было увидеть там некие очертания диких всадников. Ветер быстро нес тучи, и возможно, именно в этих темных слоистых тучах и летели на шабаш все окрестные ведьмы. Вот и я, как ребенок, хочу поверить в чудеса, в мифические выдумки, подумал Гардин и засмеялся, ускоряя шаг.

Думала ли святая Вальпурга, что ее имя свяжут с нечистой силой. Гардин вспомнил, как на лекции по истории религий улыбчивая профессорша восхищенно рассказывала про жизнь Вальпурги — этой, как она утверждала, первой писательницы Англии. Дочь короля Ричарда, она на латыни описала крестовый поход в Палестину, куда король отправился с сыновьями. Покидая свою страну для дальнего и опасного паломничества, король определил ее в Уинборгский монастырь. Там Вальпурга провела двадцать шесть лет и сумела изучить несколько языков. Очевидно, была незаурядной личностью. Ведь послали девицу в Германию основывать там монастырь. И, проникшая в мир зла, благочестивая монахиня познала демонов.

Всю историю этой святой рассказывал Гардину, несколько по-другому, старый немецкий лоцман, обожавший русскую водку. Выпив пару стопок, он обычно начинал восхвалять Вальпургу и обещал расправиться с любым, кто причисляет эту святую к сонму нечистой силы. Вальпурга, утверждал он, была покровительницей моряков. Это лоцман не выдумал. Потом Гардину довелось читать о ее плавании от берегов Британии к Германии. И то, как поднялся страшный шторм, и как Вальпурга встала на палубе на колени и непрестанно молилась — и шторм стих. Старый лоцман показывал и изображение этой святой. Вот тут-то и подступали сомнения — вроде бы все правильно, корона у ног говорила о королевском происхождении, посох в руках — так положено, ведь она основательница монастыря. Но вот весь фон оставляет место для сомнений, старые липы и горы, липы — обиталище богини плодородия Фригги, а вот горы — место, где собирается нечисть. И еще — почему в одной руке посох, в другой зеркальце — вещь не для святой. С зеркальцем изображают весну — и день у Вальпурги свой в святцах — первое мая.

Все в мире двойственно, мощи ее оказались целебными, а имя пригидилось нечистой силе. Бог и дьявол не поделили женщину, возможно, она сейчас летит вместе с ведьмами, ведь так веселее, нежели пребывать в мрачном монастырском склепе и терпеть сотни тысяч поцелуев слюнявых старческих губ.

Гардин ускорил шаг, он уже был у склона холма, вблизи гора перестала быть горой, просто пологий холм, в небо летели белые хлопья. Искры гаснут, возникают вновь и вновь гаснут. Вот уже лицо чувствует тепло костра. А где же ведьмы? Почему никто не пляшет, не ведет хоробы? Наверное, испугались. Теперь весна надежно защищена. А вот и ангелы. Навстречу ему уже бежали два сопливых мальчика и что-то выкрикивали на английском. На лицах их сияли радушные улыбки. Две старухи поднялись с земли, выросли на его пути и тоже улы-

бались, щеря беззубые рты. Как умеют у нас радоваться любому новому человеку, подумал Гардин. И тоже улыбнулся и сказал, почти выкрикнул: «Приветствую вас, дорогие мои! С праздником!» И сразу улыбка исчезла с детских личиков, и старухи нервно передернулись и сомкнули свои рты. Явно не его ждали. Он присел у костра, здесь у самого огня было тепло, даже жаром обдавало. Полыхающий огонь сделал совсем черным небо. Не увидишь, если кто и пролетит в вышине. Он поднялся и подошел к старушке, которая показалась ему добрее своей товарки. Лицо ее было испещрено глубокими морщинами, в глазах еще угадывался почти молодой блеск. Как потом выяснилось, она была всего на десять лет его старше, но, видно, пришлось ей хлебнуть немало лиха. «Ты, верно, живешь у Крыжи? — спросила она, назвав давнее прозвище банкира. — Петро говорил, что приедет гость, ему, Петру, полная выгода, давно отпрашивался у Крыжа, — отпуск подавай! Теперь дождался — стеречь не надо дом, пей хоть целыми днями!» Так вот почему друг-банкир так уговаривал ехать, сторожа на время подменить, понял Гардин. И не выдержал, спросил, почему так опечалились, когда увидели его. «Не увидели, а услышали, поначалу думали, швед аль немец какой, одет ты не по-нашенски, а как заговорил, сразу поняли, кто», — ответила женщина. А потом обе они разом начали жаловаться на жизнь. Гардин слушал, вздыхал, чувствовал и себя виноватым во всем. Можно ли быть счастливым, когда вот такое творится вокруг. Вот ведь до чего люди дошли. Рассказали они, что эту Вальпургиеву ночь ждали, надеялись, что туристы приедут, заранее сухого валежника заготовили, костры запалили на совесть, чтобы издали было видно. Могут и заплутать гости, не дай бог, в Знаменку забредут, там тоже костры жгут. За эту ночь, если повезет, можно на весь год зарабатывать, одаривают туристы щедро — да не в рублях, а в долларах, детям охотно деньги дают, детей любят. Еще рассказали они, что не осталось в деревне мужиков, вот только этот Петро — совсем спившийся, да Пахом глухой, паромщик. Давно все, кто мог, уехали, дома позаколотили. А те мужики, что оставались, повымирали, самогоном потравили себя, а кто и в тюрьмы угодил. А потом та, что постарше, сказала своей товарке: «Что мы все плачемся, Мартемьяновна, у нас здесь хоть туристы бывают, а вот с рязанщины сестра пишет, хоть совсем убегай, школу закрыли, магазин закрыли». — «А у нас что, лучше? Вона в школу за пять километров ходят, а в магазин тоже доберись попробуй, паром не поймешь когда ходит...»

Так стало грустно от всех этих рассказов, Гардин пожалел, что пришел. Теперь уже не вернуть того радостного творческого настроения, что был с утра, — с грустью подумал он. Сидели рядом на траве и два сопливых пацаненка. Были у них в руках колоды, то ли карт, то ли каких картинок. Оказалось, что сделал им школьный учитель изображение святой Вальпургии, и продают они это изображение иностранцам. Гардин пошарил по карманам, выгреб все, что имелось, купил целую колоду. Пацаненки оживились, да и женщины повеселели.

Костры стали затухать, никто уже не подкидывал в огонь новых веток, поняли — никого в этот раз не дожидаться.

Засобирались по домам. Гардин остался один, смотрел на тухнувшие угли, думал о сюжете своего рассказа — и теперь уже не казался ему этот рассказ откровением. Как ни выдумывай — а истина открывается только в жизни, понимал он, а все эти наши слова — только заменители настоящей жизни.

Теперь, когда костер потух, опять стало видно небо, белые ночи здесь не были такие, как в Питере, но все же в мае можно было ходить без фонарика. Темные тучи не предвещали хорошей погоды, да и не нужна она была Гардину — излишний соблазн. Тучи были самых причудливых очертаний, и если хорошенько приглядеться, можно было увидеть и ведьм, мчавшихся на черных козлах, и самого Сатану, размахивающего черепом. И тут случились у него слуховые галлюцинации. Услышал он совсем рядом девичий визг, крики на непонятном языке. Он вскочил, увидел, что тот костер, что был вдали от него, вдруг вспыхнул ярко на мгновение и погас. И в темноте опять послышался крик, восторженный, детский, теперь уже на русском: «Сожгли черного козла!» А потом завизжали, заохали, будто зашлись криками сладострастными в непрерывном оргазме. Так можно и с ума сойти — понял Гардин, рывком поднялся с земли и почти бегом ринулся с холма вниз через заросли, не тратя времени на поиски тропинки. В доме, чтобы успокоиться, он встал под душ, струя обновляла, словно смывала всю нечисть, и весь дым костра в ней растворялся. Потом он включил компьютер, но нужные слова не приходили. Он перечел написанное, и оно показалось ему фальшивым. С чего это так радуется герой, почему кругами бежит по лугу и машет руками, словно собирается взлететь? Нет, надо не так начинать рассказ. Он без сожаления нажал дилет. И написал: «Тиха Вальпургиева ночь».

Потом достал колоду открыток, купленную у пацанов. На всех была изображена святая Вальпурга. Почти точно такая же, какую видел он у старого немецкого лощмана. И все же что-то в ней было иное. Лицо было чисто русским, естественно, рисовал ведь местный учитель, а потом на цветном ксероксе сделали копии. Крыжа, наверное, попросили. В долгу вошел. Тот своего нигде не упустит. Лежали в ряд десятки Вальпургий на столе, и казалось, все подмигивают ему, Гардину. И еще он заметил, в руках у святых не посох, а череп. Зеркальце и череп.

Он снова попытался писать, и опять у него ничего не получилось. И он снова убрал все написанное. Стояли перед глазами морщинистые женщины. Как они терпят все это? И нищета, и повальное пьянство. Надо будет сказать Крыжу — как же ты можешь спокойно на все это смотреть? Ведь стыдно — иметь здесь не просто дом — почти дворец, жить в роскоши, когда рядом такое творится. И только ли Крыжи в этом виноваты? Сам-то что, думал ли об этом разорении? Страдал ли в жизни? И теперь задумал добыть легкую славу. Он винил себя, и чтобы заглушить это чувство вины, стал вспоминать рыбацкие рейсы и как сутками приходилось вкалывать, какой изматывающей была работа, но зато платили и немало. Так что же, эти в деревнях не могут работать, не могут выращивать картошку, морковку, капусту?.. Вон, после войны, какой голод был, огородами спасались, мать рассказывала, с тех пор у нее привычка осталась хоть несколько грядок своих — да иметь. Зачем тебе это, мама? — спрашивал Гардин. — Денег я тебе даю, пойдешь купи что хочешь... Если бы все трудились так, как она. Вот получит он большую премию, купит ей садовый участок у моря, будет сам приезжать туда, писать, слушая шум волн... Все-таки какое это счастье — творчество, целые миры ты создаешь сам, все в них можешь исправить... И как нужна писателю тишина, как это у поэта: «Тишина, ты лучшее из того, что слышал». Он подошел к открытому окну. Ни звука, ни шороха, ни малейшего дуновения ветерка...

Он заснул в счастливом ожидании следующего дня, в котором, как он был уверен, к нему придет немислимое вдохновение и он найдет те единственные слова, необходимые для закрепления в тексте всех оттенков этого состояния.

Проснулся он от пронзительного прерывистого воя. Подумалось сначала, что он в каюте на корабле — и это пожарная тревога. Бывает так в море, скучно старпому на вахте, ночь, и сдуру объявляет тот тревогу. Пусть и другие не спят, пусть соскочат с коек, пусть чертыхаются в темноте. Или еще и по-другому. Соберутся в одном кубрике травить байки, все курят, дымят как паровозы, датчик не выдерживает — и опять суматоха. Все куда-то бегут. А надо просто иметь выдержку, сохранять спокойствие. Гардин протер глаза. Прижал ладони к ушам и отнял. Сирена не исчезла. Он включил свет. Какой, к черту, корабль. Большая, уютная комната. И этот не стихающий вой. Как спал, в трусах и майке, он выскочил в коридор. Так и есть, пожарная сигнализация сработала — на потолке мелькал красный огонек. Не было запаха дыма, он потрогал стенки — холодные. Пошел на кухню, прихватил со стола фонарик и спустился по лестнице-трапу вниз к пульта. И увидел совсем странную картину. Возле пульта суетились три полуодетые молодые женщины, трогали тумблеры и что-то кричали на непонятном мяукающем языке. Женщины были полуодеты. Мелькали перед глазами их смуглые руки и голые плечи. И когда он подошел ближе, то увидел, что лица их испещрены полосами. Черными, нанесенными краской. Такими же полосами вымазывают себе лица десантники перед атакой. И волосы растрепаны. Он понял — ведьмы... Впервые в жизни он перекрестился и стал крестить суесящиеся у пульта фигуры. Одна из женщин, заметив его испуг, захохотала. Две другие стали показывать на пульт, жестами прося выключить сирену. Не могут читать русские надписи. Он протянул руку к красной кнопке, нажал — и сразу вой оборвался. И ведьмы стихли. И потух свет. Полная темнота и тишина — от которой все онемели. Гардин включил фонарик — узкий луч света метнулся к пульта, где только что стояли женщины. Никого не было. Он пригнулся к пульта и теперь отыскивал тумблер, включающий освещение. Яркий свет еще более подчеркнул пустынность подвала.

У себя в комнате он долго сидел за столом, пытаясь осмыслить произошедшее. Никакими разумными предположениями нельзя было объяснить случившееся. Если бы он, Гардин, был мистиком или верующим, тогда все просто — костры не отпугнули нечистую силу, три ведьмы отстали от своих, от тех, что после вакханалий и соитий умчались на своих козлах, и вот решили наверстать свое и выбрали для своих оргий дом Крыжа. Чтобы отвратить от себя нечистую силу, надо истово молиться. Нет, этот вариант не для него. Следует искать реальное объяснение событий. Возможно, это деревенские девки залезли в дом, решили подшутить — включили сигнализацию, а теперь их и след простыл. Нет, это тоже не разгадка, уж слишком элегантно белье было на этих фуриях, и говорили они не по-русски.

Ну и обстоятельства! Вот тебе и свобода творчества, нет, никогда не обрести этой свободы — понимал Гардин. И еще — надо дожидаться утра и тогда обойти весь дом, стать на время Шерлоком Холмсом или, на худой конец, лейтенантом Коломбо — и все выяснить. И тогда может из всего этого получиться хороший рассказ. А если это и взаправду ведьмы — тоже классно. И нечего себя дурить вымыслами, все устаканится само собой.

Он положил голову на руку и задремал. Очнулся он от мелодии, которую наигрывал его мобильник. Звонил Крыж. Хохотал задиристо в трубку. «Испугался! Наверное, до сих пор дрожишь. Мобильник надо с собой носить. На то он и мобильник. Я тебе вчера целый час названивал. А ты, верно, у костров пасся. Везунчик ты! Так подкатило. Только ты уехал, из Хельсинки три очаровашки примчались. Вези на Вальпургиеву ночь! А у меня бизнес. Как им объяснить? Зарядил такси и отправил. Старик, я уверен, они тебе не помешают, они всего на несколько дней. Им экзотики хочется. Сидят там в своем Хельсинки — смиренные, как овцы, и невинные, а вырвутся — такие ведьмочки, пальчики оближешь. Сведи их в сауну, покажи им, на что способен моряк. Только Валлу не тронь. Я ее давно для себя пасу. Утверждает, что девственница. В общем, святая Вальпурга. А две другие безотказны!

Поток слов так и лился, перебить Крыжа было невозможно. Пытался упрекать: «Ну и удружил ты мне, я же одиночества искал, я творить хочу!» Хохотал в ответ: «Ну какое же творчество без любви, без любви у тебя все равно ничего не получится! А тут такой заряд вдохновения! Станешь нобелевским лауреатом, меня благодарить будешь! Вместе в Стокгольм поедем!»

Что с него взять, с Крыжа, живет припеваючи, думает, и все так должны жить. И когда разговор закончился, все-таки почувствовал Гардин облегчение, и даже та первоначальная радость, с которой ехал сюда, стала возвращаться.

Он тщательно побрился, надел свою любимую оранжевую тенниску и пришел на кухню. Здесь сладко пахло кофе, и у плиты суетились три прекрасные девицы. Он на нескольких языках поздоровался с ними. Они представились. Черноглазую и худенькую звали Мета, высокую блондинку Киа, а вот самую красивую, больше даже похожую не на скандинавскую девушку, а на русскую красавицу, звали Валла. Губа у Крыжа не дура. Гардин пожелал им доброго утра на нескольких языках, пытаясь определить, кто из них знает немецкий или испанский. Было бы проще всего, если бы он знал английский, все сейчас говорят на английском. Ему повезло. Киа говорила на немецком, а Валла почти в совершенстве знала русский. Заговорили все сразу. Было в каждой из них особое очарование, была и утренняя свежесть, и совсем не напоминали они тех ночных ведьм, которые, взлохмаченные и полураздетые, метались у пульта. Хотя, впрочем, и тогда они были хороши, просто испуг не дал ему возможности оценить их ночные одеяния, сейчас он уже по-другому видел всю ночную картину — и главным в ней был не испуг, а смуглые оголенные плечи.

Как гостеприимный хозяин, он стал выкладывать из холодильника все припасы. Киа достала из своего рюкзака бутылку вина. Все оживились. Очень хвалили дом — чудесный дворец, узнав, что внизу в подвале есть сауна, зацокали, согласились потом пойти туда обязательно вечером.

И началось утреннее застолье. Гардин блистал остроумием. Вспоминал Хельсинки. Они, узнав, что он учился в Ленинграде, разом заговорили про Питер. Сошлись на том, что Хельсинки малая копия русской северной столицы. Именно так Гардину показалось в том рейсе, когда доставили они туда груз рыбы, и не только рыбы. На борту траулера была высокопоставленная делегация из главка. Мало того, что эти чиновники заняли лучшие каюты, так еще и слова грубого сказать при них остерегались. Капитан на всех шикал. Зато в Хельсинки удалось

побывать на экскурсии. Высокий финн в круглых очках с такой любовью обо всем рассказывал, что и сейчас помнится. Говорил и о судьбе Финляндии, о царском наместнике Бибикове, который заставлял писать названия улиц на русском языке. Экскурсовод даже показал сохранившиеся таблички — где рядом с финскими буквами стояли наши родные. Бибиков хотел русифицировать Финляндию. Это не поняли местные патриоты и убили Бибикова. Вечером на траулере, где до этого при больших чиновниках стеснялись пить, Гардин принес бутылку финской водки в кают-компанию и сказал: «Надо помянуть Бибикова». И чиновники охотно этот тост поддержали. Гардин не стал сейчас рассказывать этот случай финским путешественницам, у него хватало и других морских историй. И про финских моряков в том числе, которые слишком долго думают, прежде чем выполнять команду.

Девушки посмеялись, а потом повели серьезные разговоры о связях в судьбах двух стран. И Гардин, вспоминая местных крестьян и сравнивая мысленно жизнь их с жизнью финских землепашцев, думал о том, что вот финны добились отделения, выстояли в зимней войне, живут теперь припеваючи, а был ведь и другой вариант — ждала их судьба Карелии. В Карелии Гардин успел побывать на строительстве путепровода, насмотрелся на всю дикость тамошней жизни. И теперь старался он разговор увести от политики. Стал рассказывать про святую Вальпургу, раздал девушкам открытки с ее изображением. Все сошлись на том, что святая похожа очень на Валлу. И действительно, были у них одинаковые полуулыбки. Те полуулыбки, что делают женщину таинственной и особо привлекательной. Леонардо это в Моне Лизе открыл.

Валла стала отнекиваться — какая я святая, я, как и все, ведьма. И они стали рассказывать, как долго готовились к этой поездке, как специально сшили черного козла из войлока и набили его стружками, чтобы лучше горел, и как этот козел подвел их на таможене, никак не могли таможенники понять, зачем они везут такое чучело, тыкали в козла острыми лезвиями, думали — набит он наркотиками. Пришлось ждать главного таможенника.

— Так вы сожгли вчера козла! — догадался Гардин. Понял, что все ему не почудилось, а на самом деле были пляски у костра.

— Мы пришли — костры горят, а никого нет, видели, как кто-то через кусты несся — думали, дьявол, сейчас поймем, замучаем!

— Это был я! — под общий хохот признался Гардин.

Ему стало совсем хорошо, приятно, будто и не с финками сидишь, а с давно знакомыми девушками, и понимают они тебя с полуслова, и ясно, что готовы и полюбить тебя. И уже многое их объединяло, и вчерашние ночные испуги, и любовь к Питеру, а главное — атмосфера взаимного ухаживания. Гардин чувствовал, что к нему льнет Мета, но конечно, ее нельзя было и сравнить с Валлой, но было в варианте с Метой влекущим то, что был он беспрюирышным. Да и Киа строила глазки. Все они искали приключений. И тут заговорили о том, как губителен был сухой закон, как хорошо, что сейчас в Финляндии смягчились правила. И все же все стараются привезти из России водку, они заговорили о рашен водке, о ее качестве и дешевизне. О чем-то между собой переговаривались, очевидно, удивлялись, что нет на столе привычной для России бутылки. Киа даже напрямую спросила: когда будем пробовать рашен водку?

— Это не проблема, сегодня среда, магазин на том берегу работает, я мигом туда смотаюсь, привезу водки навалом, и здесь выпьем, и с собой возьмете!

Все одобрительно заговорили разом, а Киа даже захлопала в ладоши. И Валла сказала: мужчины в России настоящие рыцари.

Гардин взял рюкзак, вынул из ящика стола все имеющиеся у него деньги, помахал рукой на прощание и быстро пошагал к берегу канала. Погода была просто великолепная. Все-таки отстояли весну, прогнали нечисть огнем. Теперь солнце набирает свою силу. И алыча начала цвести, и боярышник. И сирень уже ждет своей очереди. Воздух был насыщен всеми этими ароматами цветения. Жизнь возрождалась. Обретала свой главный смысл. Лодку он отыскал сразу, была она принайтована к вросшему в землю бревну, цепь не была замкнута. Сплошное везение. Правда, было всего одно весло, да расстояние не бог весть какое, канал этот можно и вплавь преодолеть. Гардин легко вскочил в лодку, она качнулась, чуть не зачерпнув бортом, но выдержала — выпрямилась, вода на дне была, но застоялая, видно было, что не прибывала. Другой берег был почти рядом, виднелись ивы, склоненные к самой воде, а за ними красноватый корпус парома. Паромщик глухой, звать бесполезно. Да и одно удовольствие на лодке сплавать. Солнце было уже почти в зените, светило ярко по-весеннему. И канал весь блестел от солнца, переливался праздничной слюдой, сплошной серебристой дорожкой выкладывался навстречу лодке. Гардин греб попеременно, то с одного борта, то с другого. Вода была его стихией. Лучшее время было там, в морских странствиях. А впрочем, думал он, разве лучшее, так, небольшое преддверие рая. Все лучшее впереди. Один только сегодняшний день чего стоит. Тишина и благодать кругом. Лишь изредка у берега всплескивает рыба да внезапно зальется песней жаворонок, зальется и смолкнет. Рассвет прозевал, вот и наверстывает свое, и так все спокойно, что плеск весла кажется слишком уж шумным, и Гардин старается аккуратно вводить весло в воду, он, конечно, спешит, но не так уж нужна поспешность. Три прекрасных девицы никуда не уйдут, они ждут его, переговариваются, может быть, даже бросают жребий. Он готов полюбить каждую из них. Он хотел бы целовать Валлу, обнимать Мету, гладить длинные ноги Киа. Его ждет поистине царский вечер. Немного выпить — и попробовать сманить их в сауну. Сойтись там с тремя сразу, такого в жизни у него никогда не было. Но ведь все испробовать надо. Он чувствовал, как тело его наливается приятным теплом, он улыбался ярко светящемуся солнцу, он подмигивал рыбам, уходящим с плеском на глубину, ему хотелось петь вместе с жаворонком. Он даже не заметил, как лодка ткнулась в берег, все — доплыл, теперь быстрее к магазину, набрать бутылок и назад. Только бы лодку кто не отогнал. Он нашел растущее у самой воды дерево и постарался основательно обмотать его цепью.

На взгорье он увидел несколько домов, жмущихся друг к другу, и сразу угадал магазин — строение сарайного типа, давно некрашеное, с покосившимся крыльцом. В магазине было полно народу, вот ведь говорили женщины у костра, что все разъехались, а тут — очередь. Давно уже не видел он никаких очередей. Магазинов и супермаркетов в городе полно. А тут словно прошлое вернулось, когда в детстве мать брала его с собой, ставила в очередь и уходила, чтобы занять очередь в другом отделе. Здесь все товары вместе, никаких отделов. Берут в основном водку. Двигается очередь быстро. Впереди он заметил Мартемьяновну и кивнул ей. В магазине стоял прогорклый запах, пахло селедкой, пряностями. Грудастая продавщица шустро выкидывала на прилавок спрашиваемый товар. Мужиков было немного, все они стояли молча, видно,

были непохмеленные и мучились этим, ждали, когда же можно будет загасить свое томление. Вертелся среди них и молодой парень, пацан лет семнадцати с нагловатым лицом и синяком под глазом. Всех он норовил задеть, съедало его какое-то нетерпение. Но никто замечаний ему не делал. Покуражиться давали. Отворачивались от него. Было в его лице что-то наглое, отталкивающее, и в то же время глаза были красивые, васильковые. Пацан норовил пролезть без очереди, но мужики держались плотно, а женщины упрямо поворачивались к пацану спиной, и тот искал слабое место в этой очереди — и нашел. Толкнул плечом Мартемьяновну и закричал: «Ты, сука, что вчера говорила — денег нет ни копейки, а сегодня сюда приперлась. Возьми мне бутылек!» Мартемьяновна нахмурилась, но ничего не ответила. Тогда пацан совсем обнаглел — стал ее выталкивать из очереди, норовя встать на ее место. Гардин с трудом сдерживал себя. И когда в очередной раз пацан обозвал Мартемьяновну сукой, Гардин выдвинулся из очереди и сказал спокойно, но негромко: «Уймись, поганец, какого хрена пристал к женщине!» Гардин мог бы и матом завернуть, в море на промысле привык резко командовать. Пацан и от этих слов буквально оторопел, стал таращить глаза, подступил вплотную к Гардину, крикнул прямо в лицо: «А ты откуда такой взялся, падла залетная!» Терпеть далее выходки этого наглеца не было сил. Но видно было, что все местные поддерживают этого пацана, если сейчас врезать ему оплеуху, да и не затевать же драку здесь в магазине. И когда пацан почти вплотную ткнулся в плечо и сказал: «А ну давай выйдем, разборку сделаем!» — Гардин даже обрадовался. Такой вариант его устраивал, он твердо был уверен, что быстро расправится с пацаном, поучит его немного и вернется в магазин.

Они вышли из магазина почти разом. Никто за ними вслед не пошел, и это еще больше укрепило в Гардине уверенность в скорой своей победе. Они встали друг против друга за углом магазина, где среди травы были набросаны пустые бутылки и валялись пустые картонные ящики. Гардин в свое время занимался и боксом и каратэ, знал, основное правило уличной драки — ударить первым, да так ударить, чтобы противник не встал. Он так и собрался сделать, но замешкался, надо было бить не в полную силу, жалко пацана — поломаешь ему челюсть, потом сам будешь переживать. Вот этого-то мгновения, этого замедления хватило пацану для судорожного рывка вперед. Блеснуло лезвие в его руке. И сразу же Гардин почувствовал, как холодное острие скользнуло по ребрам и страшной болью пронзило сердце. Обдало невероятным холодом, а потом изнутри все тело стало заполнять жгущий непереносимый огонь. И Гардин понял, что это смерть, еще он успел подумать — глупая смерть, и сразу мир для него лишился всяких звуков, и наступила плотная густая тишина. И ни единого проблеска света.

Мужики, выбежавшие из магазина, молча стояли над его телом, за их спинами всхлипывала Мартемьяновна. Жалели дрожащего и катающегося по земле пацаненка. Сговаривались показывать в милиции, что незнакомый этот приезжий первым начал.

Финские девицы успели уехать до начала следствия. А вызванный из района следователь пытался найти в гардинском ноутбуке какие-либо тексты — и открылся ему всего лишь один файл. Прочел он там всего одну фразу: «Тиха Вальпургиева ночь». И фраза эта ни о чем ему не говорила.

Виталий ШЕВЦОВ

Запах керосина

1

Рыбалку люблю с детства. Еще дед с отцом пристрастили к этому «делу». По наследству передали все «фамильные» рыбные места в округе. Жаль только, все это богатство мне передать некому. Дочки не рыбачки, внуков не народили, а внучек-модниц никакой блесной на рыбалку не заманишь. Вот потому и рыбалю в одиночку.

В этот раз собрался на щуку. Решил использовать два дня отгулов, честно заработанных на собственной «фазенде».

Утренний дизель-поезд был до отказа набит дачниками. Пришлось всю дорогу простоять в тамбуре. Но через два часа, успев заскочить по дороге к знакомому рыбаку в деревне и договориться о ночлеге, я уже стоял на берегу небольшого лесного озера. Туман, как дым костра, стелился над водной гладью. Стояла удивительная осенняя тишина, которую так приятно слушать после нашего городского шума.

Каково же было мое удивление, когда почти рядом, метрах в десяти, я увидел высокого седого мужчину. Настроение сразу испортилось. Но забыть о незнакомце помогла щука, весом килограмма на полтора, которую я взял на спиннинг с первого раза.

Ближе к вечеру стал накрапывать мелкий дождик. Погода явно портилась. Незнакомец, целый день молчавший, неожиданно подошел ко мне:

— Не скажете, когда последний дизель на город идет?

Не без злорадства я ответил, что последний дизель ушел час назад.

— А на вокзал здесь переночевать пускают?

— Если дежурному щучку подарите...

Мужчина растерялся.

— Хотите — можете переночевать со мной, у моего знакомого.

Он с радостью согласился.

Когда мы подходили к дому, дождик уже превратился в настоящий ливень. Хозяин жил один, старуха умерла три года назад. Стол был накрыт по-мужски — вареная картошка «в мундире», огурцы, помидоры. Достав из рюкзака бутылку «Калининградской» и пару банок тушенки, я посмотрел на своего напарника. Тот, поняв мой взгляд, поспешно извлек из сумки круг колбасы, сыр и смущенно поставил на стол пластмассовую бутылку минеральной воды.

— Извините, непьющий...

— Рыбак и непьющий? — удивился хозяин.

Неожиданно в доме погас свет.

— Будь ты неладен, Чубайс твою мать! Сейчас лампу принесу. — Хозяин поспешил на кухню. Быстро вернувшись со старенькой лампой и бутылкой керосина, обратился ко мне: — Посвети, будь добр.

То ли я светил плохо, то ли его руки дрожали, но бутылка выскользнула и грохнулась на пол. По комнате поплыл сладковато-приторный запах керосина. И как назло, мигнув несколько раз, лампочка под потолком ярко вспыхнула.

— Да куда ты под дождь, чумовой? — произнес в сторону хозяин.

Обернувшись, я увидел только спину Седого — так я прозвал его с самого начала. Громко хлопнула дверь. Все произошло быстро и неожиданно.

— Да, тут без бутылки не разберешься... — вздохнул хозяин дома.

Дождь не перестал и утром. Настроение рыбачить пропало. Попрощавшись с хозяином, я побрел на железнодорожную станцию.

На перроне одиноко стоял вчерашний знакомый. Характер у меня такой — люблю во всем точку поставить. Потому подошел к нему и в лоб спросил:

— Что с тобой вчера случилось? Хозяина обидел, сбежал куда-то в ночь...

Его лицо исказила болезненная гримаса:

— Керосин... — произнес он, и нас разъединила хлынувшая из дизель-поезда толпа пассажиров.

«Неужели токсикоман?» — мелькнула догадка.

После всего произошедшего было только одно желание: удобно устроиться у окна и подремать. Но кто-то тронул меня за плечо. Я открыл глаза, передо мной сидел Седой.

— Извини за вчерашнее, сорвался.

Мне оставалось только пожать плечами.

— Давай, что ли, познакомимся. Леонид.

— Иван. — Мы обменялись рукопожатием.

— Пойдем перекурим.

На всякий случай окинув взглядом соседей напротив — это были старушка и двое мужчин-путейцев, я вышел в тамбур.

Седой уже дымил, уставившись в вагонное стекло. Вдруг он повернулся ко мне и с той же странной гримасой на лице произнес:

— Не могу я запах керосина переносить, понимаешь?

— Честно скажу, не понимаю.

— Ты где в войну был? — вопрос прозвучал странно и неожиданно.

— В Ташкенте, в эвакуации. Мне четыре года было.

— А я в Белоруссии... — и, глубоко затянувшись, он закашлялся. — Вот ведь как получается в жизни... — Подумал и, махнув рукой, сказал: — Ну, ладно. Слушай, если хочешь. А то ты, наверно, уже черт-те что вообразил.

2

— Мне было семь лет. Жили мы в Ленинграде на Васильевском острове, в большой коммунальной квартире. Перед самой войной отца перевели служить на границу, в город Брест. И там мы жили в маленьком домике с садом почти на окраине города. Больше всех, конечно, радовались новому поезду я и сестра. — Он опять полез в карман куртки за папиросами. — Сестра на десять лет старше меня... — глубоко затянувшись, как будто выдохнул: — ...была.

С минутой мы курили молча.

— Ты извини меня за подробности.

— Да нет, что ты. Из жизни, как из песни, слов не выкинешь.

Было видно — внутри этого человека уже много лет незажившей раной живет война, постоянно напоминая о себе и заставляя снова и снова возвращаться в прошлое.

— Дом был старинный, — наконец продолжил он. — Будто и не дом, а куст какой-то. Все стены диким виноградом по самую крышу были увиты. Окна изнутри ставнями закрывались. В каждой комнате печка стояла до потолка из белого кафеля. Необычно все это было для нас. А от бывших хозяев нам досталась большая настольная керосиновая лампа из цветного стекла. Такие сейчас только в музее и увидишь. Она стояла посреди круглого стола в гостиной. По вечерам мы с сестрой закрывали ставни, мама зажигала лампу, все садились за стол и пили чай. Отец возвращался со службы поздно. Он был начальником погранзаставы. Мама укладывала нас спать, брала гитару, выходила на крыльцо и ждала отца. Она очень хорошо пела. Голос у нее был особенный, звонкий, как колокольчик. Шуршание шин подъезжающей машины, скрип отцовских сапог по дорожке — до сих пор, кажется, иногда слышу их во сне. Отец называл маму «моя принцесса», а она его «мой повелитель». Один раз я не выдержал и подсмотрел за ними. Они гуляли в саду. Отец поднял маму на руки и кружил. А потом они целовались. Я рассказал об этом сестре, а она мне уши надрала.

Первый раз за все это время я увидел улыбку на его лице.

— Знал ли я по-настоящему своих родителей? Наверно, нет. В моем возрасте они были для меня просто папа и мама. Но теперь, вспоминая о них, думаю об одном: если бы можно было вернуться назад в детство, то вернулся бы только ради того, чтобы увидеть их еще раз такими молодыми и счастливыми, как тогда.

Вагон резко дернуло, за окном промелькнули шлагбаум и одинокая фигура стрелочника с желтым флажком в руках.

— В тот июньский вечер мы остались с мамой дома одни. У сестры был выпускной вечер, и она отправилась встречать рассвет с друзьями. Помню ее: в белом платье, две длинные черные косы до пояса, как у мамы. Вот только никак не могу лицо вспомнить. Отец остался на заставе, уже второй день не приходил домой.

Рано утром меня разбудил сильный гул и треск. Даже в комнате пахло гарью. Я выглянул на улицу — над городом стояло облако пыли и дыма. На нашей улице жили в основном семьи комсостава — так называли семьи военных. На машине приехал какой-то военный, бегал по домам и кричал, чтобы все пробирались к вокзалу, там ждет поезд. Но мама сказала, что будем ждать сестру. Потому что, если мы уйдем, она нас не найдет. К обеду наступила удивительная тишина, которую неожиданно разорвал треск моторов. Я подбежал к калитке. И увидел немцев. Они ехали на мотоциклах с колясками прямо по нашей улице.

Целый день мы просидели, закрывшись в доме. Помню, замучил маму вопросами: «Где папа? Когда придет сестра? Откуда взялись немцы?» Она мне что-то отвечала. И, убаюканный ее спокойным голосом, я уснул у нее на руках.

Разбудил меня громкий стук в дверь. Во дворе раздавались чужие голоса. Кто-то заглядывал в окна. На всю жизнь запомнились мне последние слова мамы: «Ленечка! Сыночек мой миленький, что бы ни случилось, сиди тихо». Она открыла дверь маленькой кладовки в коридоре, где у нас стоял бидон с керосином, втолкнула меня туда, спрятала

под отцовской шинелью и закрыла дверь. Через небольшую щель мне были видны только чужие сапоги в коридоре. Их было много, и уходить из дома они не собирались. Сидеть за бидоном было неудобно. Руки и ноги скоро затекли. Вдруг очень захотелось кушать. От запаха керосина стала кружиться голова. Как хотелось, чтобы пришел отец, чтобы все это быстрее закончилось...

А потом произошло самое страшное. Раздался мамин крик. Кричала она долго, не переставая. А немцы громко хохотали. Мне стало по-настоящему страшно. И вот, когда я был уже готов выбежать из своего укрытия ей на помощь, раздался выстрел.

...Очнулся я только ночью — наверно, в тот момент просто потерял сознание. В доме было тихо. Надавив на дверь кладовки, я выбрался в коридор, а оттуда пробрался в гостиную. Прямо на полу, на наших одеялах спали немецкие солдаты. Стол почему-то был накрыт покрывалом, а керосиновая лампа стояла на полу. Стекланный абажур был разбит, и она сильно коптила. Не помню, как я оказался во дворе. Прямо около крыльца стояли длинная легковая машина и мотоциклы. Было удивительно светло. В небе, как никогда ярко, светили звезды. Не найдя мамы, я решил вернуться в дом — и тут увидел ее. Она сидела у забора. Я бросился к ней и обнял...

Ему было трудно говорить. Даже сейчас, через столько лет. Но он справился с собой. Только слезы в глазах, предательски заблестев, не удержались и ручейками побежали по щекам.

— В моей жизни было много смертей, — произнес он уже спокойным голосом, — но до сих пор не могу забыть эту первую. Смерть самого дорогого мне человека. Они убили мою маму просто так, ни за что. Вернувшись в дом, я вытащил бидон с керосином из кладовки и, открыв, перевернул его. Мои ноги в сандалиях стали сразу мокрыми насквозь, как будто я бегал по лужам. Потом я пошел на кухню. Мама хранила спички в ящике стола. Но там, за столом, положила голову на руки, спал худой рыжий немец. Удивительно, но мне уже не было страшно. Немец был пьян. От него исходил такой же запах, какой я помнил по нашей коммуналке, когда родители моих друзей получали зарплату. Что думал я, семилетний мальчишка, когда в моих руках вспыхнула спичка? Думал о маме, об отце, о сестренке, о том, что уже никогда мы не сможем собраться вместе за круглым столом в гостиной, зажечь лампу и пить чай. Потому что пришли люди-звери... Закрыв входную дверь на ключ, я подошел к маме и накрыл ее отцовской шинелью, которую взял с собой из дома. Больше в доме ничего нашего не осталось. Все, к чему прикоснулись *они*, стало чужим. И тут раздались крики. Они кричали, но кричали теперь совсем по-другому. Не так, как утром. Поцеловав маму, я побежал прочь от этого страшного места.

Поезд, сбавляя ход, подходил к вокзалу. Не выдержав, я спросил:

— Ну, а как же дальше? Что было с тобой?

— Попал в детский концентрационный лагерь. Был «донором» для немецких солдат. Случайно выжил, нас освободили зимой партизаны. Потом был детский дом...

— А отец, сестра — ты их искал?

Он грустно улыбнулся:

— Ищу, не теряю надежды...

Валерий ГОРБАНЬ

Авитаминоз

Вот и закончилась наша первая ночь в Грозном.

Закончилась без суеты, без страха. И если поцокали мои орлы зубами, то не из-за пулявшей всю ночь по блоку «биатлонки», а от неожиданного после вчерашней дневной жары ночного заморозка.

Так что, командир, через левое плечо поплрой, но, похоже, можешь себя поздравить.

Пусть командировка только начинается. Пусть это всего лишь одна из предназначенных твоему отряду сорока пяти ночей. Пусть война в любой момент может подкинуть любой страшный сюрприз.

А все-таки — ты готов. И орлы твои готовы.

А солнышко снова шпарит.

Воспоминания о ночном заморозке вместе с потом из-под шлема солеными ручейками утекли. Даже странно подумать, что дома еще сугробы лежат и метели всюю буянят. Сейчас бы крошечки холодненькой... Кстати, вчера, когда шли на базу из штаба, проезжали мимо рынка. Похоже, в Грозном народ действует по правилу: война войной, а торговля по расписанию. На рынке народу полно, и издалека видно, что прилавки зеленью забиты. А хочется зеленочки-то, травки-силосу, витаминчиков! Правда, мужики в комендатуре говорили, что цены на рынке еще высоковаты, надо чуть подождать. Да только дорога ложка к обеду. Когда всего полно будет, то и охотка отойдет. А вот сейчас лучком зеленым в солонку ткнуть, да с черным хлебушком его! Или редисочкой свежей, ядерной похрустеть... Все, сил нет, слюна аж фонтаном брызжет. И вообще, аль мы не крутые, аль не заслужили?!

— Котяра!

— Здесь, командир!

— Давай готовь машину и группу прикрытия. Смотаемся на рынок, посмотрим, как тут народ живет. Да надо к обеду зелени набрать. А то мы, как бригада вурдалаков, выглядим. Морды бледные, губы синие. В медицинские учебники можно фотографировать, в раздел про авитаминоз. Сколько тебе времени нужно?

— Пять минут.

— Время пошло...

— Пять не пять, но через десять минут уже и «Урал» у коменданта выпросили, и сопровождение в полном боевом из-под брента радостными физиономиями сияет. Ну, понятное дело — весь цвет отряда здесь. Первый выход в город, на оперативный простор. Это тебе не на блоке торчать, марсианские пейзажи на грозненском асфальте рассматривать.

Рынок как рынок. Все та же туретчина, китайчатина. Польский ширпотреб попадает. Все те же сникерсы-марсы-пепси-колы. Торгашки, в основном чеченки, галдят как положено. Зазывают, подначивают. По-русски почти все нормально говорят. Только гласные потягивают, нараспев как-то. Шипящие очень любят. И букву «в» смешно выговаривают: губы в трубочку, как англичане свое «дабл ю», из-за которого до

сих пор Шерлок Холмс в разных изданиях то с Уотсоном, то с Ватсоном злодеев разыскивает.

Мужиков мало. Только мясо продают двое или трое. Да водку — один. Несколько человек у стенок киосков на корточках сидят. Надо повнимательней быть. А то в толпе и стрелять не надо. Сунут заточку под броник — ты еще по инерции идти будешь, а твой «приятель» уже испариться три раза успеет.

— Не разбежаться. Группой идем. Повнимательней.

Вот она, зелень кучерявая. Вот она, родимая. Тут надо Кота вперед запускать. Ох, и мастер торговаться. Рожа уже в улыбке расплылась, глазенки заблестели. В своей стихии человек.

Что-то с первой хозяйкой не сторговались. Ну, понятно, кто же на Кавказе товар с первого захода берет? Тут торговаться не уметь — себя не уважать. Только делать это надо красиво. Не жлобства для, а искусства ради. Красивый торг — это состязание поэтов!

Ну вот! Тетка-покупательница весь кайф обломила! По виду — своя, русачка. Только странная какая-то: бледная, лицо как испитое. Дерганая, похоже, с легкой шизой. Котьяра со второй продавщицей уже целую сагу о молодой редиске сложили, уже партию на два голоса без фортепьяно друженько так стали выводить... А эта подошла, тербит пучки: то ей не так, это не эдак. Есть такая категория рыночных посетителей. Им в удовольствие пройти, поприценяться, ничего не купить, зато каждому продавцу его товар охаять. Желчь слить. Обычно торгаши таких мгновенно вычисляют и либо игнорируют, либо сразу отсылают подальше. Но наша чеченка вежливая оказалась. Хоть и видно, что ничего эта тетка покупать не будет, хоть и сбила она нам торг красивый, но не злится продавщица, отвечает ей на все вопросы, разговаривает вежливо. Наверное, боится русской при нас дерзить. То-то! Это вам не девяносто четвертый, когда о русских здесь любая мразь ноги вытирала как хотела. Теперь у них защитники есть!

— Ну, вы будете брать что-нибудь? — Котьяра ухмыляется галантно.

— Нет, дорого. Что это за цена? С ума совсем сошли.

Женщина бережно кладет пучок редиски на место (что ж не швырнула для полноты возмущения?) и, отвернувшись, уходит, наконец. Ну ладно, и нам пора. Котьяра затаривается в два пакета, сбив цену чуть не вполовину. Хозяйка торжественно, в знак признания его несомненного таланта, еще три пучка укропа бесплатно вручает. Compliments, обещания теперь покупать зелень только у этой красавицы (благо ее джигита рядом нет), аплодисменты, занавес...

А на базе уже борщ с тушеночкой доваривают. Сейчас мы туда укропчику, чесноку меленько рубленого, да под лучок... Есть счастье на свете, люди добрые!

Вон как наряд в столовой при виде роскоши такой развеселился. Так: пока они борщ доводят до абсолютного совершенства, а столы — до уровня фламандских натюрмортов, надо быстренько в комендатуру мотнуться. Зам коменданта по милиции обещал подготовить график патрулирования, да, если честно, и желание поделиться первыми впечатлениями аж распирает...

Что-то нет Федорыча. Ни в штабной комнате, ни в спальне. Может, на улице? В комендатуре два входа-выхода. Один — со двора, для своих. Второй — снаружи: к шлагбауму и пункту выдачи гуманитарки.

Точно — вот он. Возле шлагбаума с народом стоит. Откуда их столько? Старики, женщины, некоторые с детьми. Есть и чеченцы, но в основном свои — славяне. И тоже лица странные: мимика дерганая и блеск в глазах, как у той женщины на рынке. Федорыч им что-то объясняет. Мягко так, как доктор тяжелобольным:

— Чуть-чуть подождите. Сейчас подойдет помощник по тылу. Обязательно поможем. Хоть немножко, но поможем.

Ко мне направился. Надо расспросить, что тут за народное собрание.

— Здравствуй, дорогой. Как первая ночь? Без проблем? Ну и молодцы. А у нас — вон видишь... Вот беда, беда! Посмотришь на людей, самому три дня кусок в горло не лезет. А как всем помочь? Красный Крест только рекламу создает да политику качает, а реальная помощь — мизерная. Гуманитарку привозят — ее всю сильненькие да блатные растаскивают. Люди сутками в очередях стоят, дожидаться не могут, в обмороки падают. Чеченцам легче. У них родня в селах. Кому совсем невмоготу — уезжают к своим. В городе все равно ни работы, ни условия для нормальной жизни. А эти... пока бои шли, по подвалам сотнями от голода и жажды умирали. Вышли из подвалов, а кто их накормит? Где квартиры уцелели — мародеры прошлись. Рады последние вещи за банку тушенки отдать, а где те вещи? Одна надежда — на нас. А что у нас, склады, что ли? Мы тут уже все что могли поотдавали: перловку, пшено, макароны разные, а все равно — капля в море... По помойкам бродят, да сейчас и на помойках ничего не найдешь. На рынках побираются. Вокруг еды ходят, смотрят, оторваться и уйти не могут. А купить не на что... Слушай, ты за сутки хоть немного отдохнул? Что-то выглядишь неважно, не приболел?

— Да нет, все нормально. Климат непривычный, жарковато. Ничего, освоимся. Я... я к своим пойду. А насчет патрулирования попозже зайду, ладно?

— Хорошо, давай попозже. Но все-таки, дружище, ты в медпункт зайди. Что-то ты мне не нравишься...

Я сам себе не нравлюсь, Валерий Федорович. Ненавижу! Ненавижу это тупое самовлюбленное животное, стоявшее в двух шагах от смертельно голодной женщины и не догадавшееся протянуть ей хотя бы жалкий пучок редиски.

Сытый голодного не разумеет.

Какие страшные слова.

— Командир, обед готов!

— Что-то неохота, жара, что ли?

— Команди-и-р!

— Давайте пока без меня. Я попозже. Саня... ты вчера ворчал, что нам крупы всякой напихали на целый полк. Все равно мы ее есть не будем. Собери быстренько, да еще что-нибудь... Там, у комендатуры, люди голодные стоят...

Мы готовились к этой войне.

Нам рассказывали, как вести себя с местными при проверке документов.

Но среди местных — десятки тысяч русских, украинцев, армян, евреев.

Мы до автоматизма отработывали действия при штурмах зданий и при «зачистке» населенных пунктов. И мы твердо усвоили, что в подвал всегда нужно заходить втроем: сначала граната, а затем — ты и «калашников».

Но как штурмовать дома и подвалы, в которых укрываются не только боевики, но и чудом уцелевшие под бомбежками и артобстрелами люди?

Мы изучали методы *своего* выживания в экстремальных ситуациях.

Но представить себе не могли, что будем жевать свои сытные пайки под голодными взглядами истощенных людей.

Нас — сытых, здоровых и сильных — учили защищать этих людей с оружием в руках.

И вот мы пришли.

Ну так что, командир? Ты готов к *такой* войне?

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ

Стена

Говорят, ее разобрали на кирпичи, потому что она так одряхла и растряслась от недавних бомбардировок, что грозила в любую минуту развалиться и причинить кому-нибудь увечье.

Но прежде стена была зажата между домами в небольшом скучном дворе, спрятанном от шумных городских улиц обшарпанными пятиэтажками, в которых многие квартиры давно опустели. А двор окутывала мрачная тень. Солнце заглядывало в него только по вечерам через арку, освещая себе обзор золотистым лучом, словно подыскивая укромное место для ночлега.

Стена возвышалась на три метра, и наверху, где уцелела еще серая штукатурка, во второй половине дня на нее ложилась широкая серебристая полоса солнечного света, льющегося из-за домов напротив. Внизу же на стену никогда не падало ни единого лучика. Здесь она была сырая, покрытая пепельной плесенью, малахитовой щетиной мха, чахлыми былинками и желтыми кляксами лишайника. От ветхости штукатурка на стене давно полопалась и местами облетела, как стружья. Под стеной растянулся узенький газон с чахлой травой и кустом олеандра. В полумраке, где даже в жару откуда-то просачивалась влага, кирпичи покрывал тонкий слой изумрудных водорослей, которые мазали палец, будто раствор зеленки.

Бледный худенький светло-русый Артемка одиннадцати лет, вооружившись большой лупой, как естествоиспытатель, все дни того лета проводил у стены. Он изучал ее обитателей.

— Тебе сюда надо, — объяснял Артемка нерадивому сенокосцу с круглым тельцем, сидящим на длинных лапках. — А ты зачем в чужую щель прешься?! — вдруг возмутился он. — Ползи в свою нору и не мешай другим. — Подставил указательный палец на пути большой коричневой многоножки и вынудил ее повернуть в другую сторону. — А ты разве не боишься тут? — обратился к маленькому синему жуку. — Съедят!

На стене жили существа самых разных родов, форм и размеров. Вот только расцветкой все были мрачно-темные. Видимо, стена, на которой не росло ни одного цветочка, на них так сурово воздействовала. Все ползали, прыгали, скакали по стене. А правил этим населением старый сердитый паук, черный, как кусок строительной смолы.

Его нора в трещине между кирпичами таилась как раз на уровне Артемкиного носа и была уютно оплетена паутиной. Паук дружил с мальчиком, потому что получал от него угощение. Каждый день Артемка приносил ему в жертву по мухе, пойманной дома на кухонном окне. Но сегодня ни одной мухи не попало, поэтому Артемка беспокоился, что кто-нибудь из его маленьких друзей окажется добычей голодного хищника. Этот суровый государь поддерживал в своих владениях строгий порядок. Что ни день он взимал дань с подданных. Сытый господин добрел. И тогда добро его простиралось на все вертикальное королевство.

Еще в зеленой сырости стены копошились маленькие полупрозрачные блохи. Сидя на корточках, Артемка внимательно разглядывал их в свою лупу. Эти блохи паслись здесь, точно коровы на лугу, и на просвет можно было разглядеть их зеленые внутренности. Артемка не мог дать блохам настоящего имени, потому что они отсутствовали во всех его книгах по зоологии. Поэтому он втайне надеялся, что это никому не известный вид, и тщательно блох изучал, считая себя первооткрывателем.

А вечером, откуда ни возьмись, появился на стене непрошенный гость — домашний рыжий таракан. Выскочив из щели в стене соседнего дома, он замер, помахивая усами, будто размышляя, куда бы теперь направиться. Артемка, изловчившись, поймал таракана пальцами, сложив их щепоткой, и сунул его в королевскую нору. «Его Величество наверняка обрадовался, — решил Артемка, — и больше не станет на меня дуться, что не принес ему свежих мух». Таракан из норы не показался. Значит, паук укусил его. Теперь можно ни о чем не беспокоиться: король поел, раздобрел и не станет высовываться, чтобы пугать своим жутким видом.

Солнце на несколько минут заглянуло во двор из-под арки. Скоро будет темно. Но идти спать еще рано. Тем более, по вечерам для жителей стены начинался концерт. Когда стемнеет и на тротуары лягут бледные пятна уличных фонарей, все выбираются из своих нор, дыр и трещин, чтобы послушать королевских музыкантов — сверчков. По своему обыкновению Его Величество с царственной важностью садился у входа своей норы и в мечтательной задумчивости слушал музыку. Всю ночь сверчки радовали публику своими выдающимися романсами.

Однажды, придя утром к стене, Артемка стал свидетелем чуда: из темной трещины выбралась большая белая бабочка. Она взмахнула крыльями и закружила по темному двору солнечным зайчиком. Артемка бросился ее догонять. Но бабочка поднялась высоко к светлому небу и пропала из виду над крышами домов.

«Откуда взялась эта «снежинка»? — с недоумением спрашивал себя Артемка. — Разве могут они тут жить? Надо проверить».

Вернувшись к стене, Артемка осмотрел щель и заглянул в нее широко раскрытым глазом, но в темноте ничего не увидел. Тогда он сорвал желтый стебелек и хорошенько пошуровал им внутри. Тотчас оттуда выпала сухая, как лист, шкурка. Подняв ее и рассмотрев, Артем-

ка догадался, что это и есть пустая оболочка, из которой вылупилась та волшебная бабочка. Но как туда попал этот кокон? Артемка подобрал палочку и стал ковырять ею в щели, надеясь получить верный ответ. Но вместо этого из темноты ошалело выскочила глупая мокрица. В поисках спасения она торопливо засемила среди мха, ощупывая усиками путь перед собой, будто слепая, и, добравшись до выщерблены в шве, плотно в ней засела. Мысленно извинившись перед мокрицей за беспокойство, Артемка продолжил исследование, расширяя щель и выгребая цементную крошку, пока хрупкое орудие не сломалось. Пришлось сбегать домой за отверткой. Секрет бабочки нужно обязательно разгадать.

С помощью отвертки дело спорилось быстрее. Когда от кирпича отвалился небольшой кусок, оттуда вдруг засквозил тоненький лучик света. Но мальчик по-прежнему ничего не разглядел. Зато этот луч разжег в нем еще большее любопытство. Артемка принялся освобождать мешающий кирпич от раствора. Вскоре кирпич расшатался на своем месте, как больной зуб, тогда ударом кулака Артемка вышиб его прочь. Кирпич расшибся под стеной с другой стороны. В образовавшуюся прореху хлынул солнечный свет. Он едва не ослепил мальчишку. Потерев глаза, Артемка, сгорая от нетерпения, глянул в прямоугольную дыру, и удивление перехватило его дыхание.

Он увидел крашек какого-то изумительно-светлого сада. Под южным лазурным небом росли деревья, увешанные спелыми плодами, рос там куст розы с красными цветами, а над пестрой клумбой порхали белоснежные бабочки. Даже такая крошечная часть живой картины заворожила Артемку своим радостным сиянием. Он никогда прежде не видел этого диковинного сада. И теперь ему захотелось в него попасть. Но для этого придется как следует потрудиться и проделать небольшой лаз. Скорее за молотком.

Размашисто им орудуя, Артемка освободил и удалил второй кирпич, затем еще один. Куст олеандра за спиной надежно скрывал работу от посторонних глаз. Артемке пришлось изрядно попотеть, прежде чем просунуть в дыру голову.

Смурые обитатели стены спешно покидали свои жилища и разбежались по сторонам. Даже Его Величество выбрался из норы, посмотреть, что происходит, а увидав, ужаснулся и скрылся обратно. Между тем Артемка так выбился из сил, что решил оставить дело на завтра.

Но завтра власти объявили воздушную тревогу: на сей раз ожидался авиаудар миротворцев.

Мать, такая изможденная и худая, точно кормила сына собой, наскоро собралась и поспешила с Артемкой к родственникам, где и укрывались они три недели в чужом городе, вздрагивая от взрывов, которые им снились тревожными ночами.

Жаркий август шагал уверенно, словно лев, и был уже на полпути к осени. Дожди перепали редко. По асфальту кружилась желтоватая пыль с мелким сором.

Вернувшись домой, мать с Артемкой нашли свой квартал невредимым, как будто бомбы из жалости облетали его стороной. И дома вся утварь сохранилась на прежних местах. Не переодеваясь, Артемка в тесной, разорванной под мышкой футболке с выцветшим солнцем на груди, в джинсовых шортах и сандалиях побежал во двор к стене. Таинственный сказочный мир за стеной так живо рисовался в его воображении. Но, к своему негодованию, он застал прореху заделанной новыми

кирпичами. Наверное, кто-нибудь из бдительных соседей, вернувшись из бомбоубежища, постарался, решив, что в стену попал снаряд. Досада сдавила сердце мальчишки. Артемке захотелось рыдать от обиды, словно кто-то отобрал у него ценное сокровище. Справившись с чувствами, он протер ладонями мокрые глаза и поспешил домой за молотком.

Черный паук по-прежнему жил в своей норе. Он, конечно, горевал, что население его королевства поубавилось и не от кого теперь требовать жертвоприношений. Артемка принес Его Величеству муху, она была маленькая, суховатая, но другой не попало. Паук даже высунулся из норы, чтобы схватить гостинец прямо из мальчишеских пальцев.

— Проголодались, Ваше Величество, — проговорил Артемка с сочувствием. — Но Вам придется потерпеть. Я все равно прорублю себе лаз.

С этими словами Артемка принялся крушить свежую кладку.

Раствор застыл, словно камень. Всхлипывая от отчаяния, Артемка долбил острым концом молотка что было силы. Теперь он ощущал себя солдатом, уничтожающим бандитов, таким же смелым, каким был его отец. Кирпич сопротивлялся натиску стойко. Он сидел в стене крепче прежнего. Артемка быстро утомился. Но едва переведя дух, вновь принялся за работу. И вот когда ударом кулака он выпихнул первый кирпич, за его спиной послышался пронзительный свист. Артемка и обернуться не успел, как его схватили за ухо и, больно выкручивая, заставили поднять голову и поглядеть в глаза взрослому.

Это был сосед, работавший милиционером, он только что заехал домой на обед. Артемку он обозвал «хулиганом» и долго отчитывал его за преступление, продолжая больно выкручивать ухо.

— Там чужой сад, — заключил сосед, как будто это имело значение. — Не смей подходить к этой стене!

Артемке пришлось капитулировать с покорной угрюмостью.

Дождавшись, когда сосед поедет ловить преступников, он проводил его машину хмурым взглядом и, как только та скрылась за аркой, поспешил к стене. Тут Артемка воинственно взъерошил пятерней волосы, как это сделал старший брат перед уходом на службу в армию, и проговорив сквозь зубы: «Отправляйтесь к черту!», принялся крушить кирпич. Полумрак двора стал Артемке еще более отвратителен. А тайна светлого сада — притягательней.

Теперь он торопился. Сосед мог вернуться. И на этот раз он не станет выкручивать ухо, а просто прибьет.

«Но мама должна увидеть сад, — мечтал Артемка. — Ведь она никогда в нем не была. И волшебные бабочки ей тоже понравятся. Пусть все узнают, какой там красивый сад. Пусть накажут меня, пусть вырвут ухо и посадят в тюрьму, а я все равно раскрою их тайну. Тайну белых бабочек. А может, когда все увидят сад, то не станут меня наказывать. Может, всем понравится на него смотреть».

Откуда-то с верхнего этажа доносилась музыка, листья олеандра перешептывались, как невольные свидетели тайны, и было немилосердно жарко.

Выбиваясь из сил, пытая и крепко сжимая зубы, Артемка бил по кирпичам и, когда было возможно, выламывал куски пальцами. Раня руки об острые осколки камня, не чувствуя боли, не обращая внимания на кровь под ногтями и зуд царапин, весь в рыжей кирпичной пыли, он торопился завершить дело сегодня же. Футболка противно липла

к потному телу. Она раздраженно трещала по швам. Мокрые волосы разметались по лбу, челка назойливо лезла в глаза, по лицу расплзались грязные разводы. От пыли начались приступы кашля. Покусанные комарами руки и ноги устало гудели. А в прореху среди кирпичей вновь лился желанный радостный свет. Артемка с трепетом поглядывал на счастливый мир светлого королевства: цветы, деревья, бабочек. И ожидание скорой победы прибавляло ему сил.

Мало-помалу дыра в стене увеличивалась. Теперь она стала достаточно широкой, чтобы просунуть в нее голову и плечи, — совсем немного трудов осталось. В свои старания Артемка вкладывал всю ненависть к этой темной суровой преграде, этой стене, до сих пор так подло скрывавшей от него невиданный прежде мир.

Артемка бился уже с последним кирпичом, когда по стене пошла трещина. Она пересекла кладку почти по диагонали. Наверху что-то злобно проскрежетало. Сорвался большой кусок штукатурки. От удара о землю он вдребезги разбился. «Сейчас, еще немного, сейчас», — шептал Артемка, выбиваясь из последних сил.

Когда, наконец, все было кончено и пал последний кирпич, Артемка, отбросив молоток, устало опустился на траву и облокотился на стену. Дрожащими руками он протер краем футболки мокрое лицо. Перемазанный кровью, грязью и пылью, он, тем не менее, был счастлив. Успел! Некоторое время он сидел, потирая зудящие ссадины, и с улыбкой вспоминал, как трудно было с первым кирпичом, как сосед выкручивал ухо, как осколки разлетевшейся штукатурки ударили по ногам, словно начинка взорвавшейся бомбы. Но как приятно чувствовать себя победителем!

Отдышавшись, Артемка с замирающим от радости сердцем полез в сияющую дыру.



ПОЭЗИЯ

Борис БАРТФЕЛЬД

Пределы

Триста слов на литовском

Конец декабря.
Отдавая привычному дань,
Ждет
Природа мороза
И первого прусского снега.
Но только январь,
Спрятав в варежку зябкую длань,
Утолит эту вечную русскую жажду
К пространству,
Уходящему в белую даль,
И к желанью
Затеряться в земландских¹ полях
Иль умчаться
По почтовому старому тракту
На север,
К жемайтйским болотам
И литовским дремучим лесам,
Там, где Неман
Встает на пути беглеца.
Сам
Служа и границей,
И санной ледовой дорогой,
Разделяя не столько пространства,
А два языка,
Безнадежно далеких в своей первородной основе.

¹ Земландский полуостров от названия прусского племени «самбы» или «земланды» — общепринятое в международной географии название Калининградского полуострова, расположенного от Балтийского побережья на севере до реки Преголя на юге и г. Гвардейска (г. Тапиау) на востоке.

Будто в зеркало глядя,
 Не видишь лица,
 Но грешишь не на зреньё, а вроде
 На дифракцию света,
 Дрожанье
 Испаренного воздуха
 В восходящем теплом потоке.

Причина проблемы ясна —
 Нехватка моста
 Своего
 Через Неман, Шешупе иль Руссне.
 Мост не длинен —
 Всего лишь на триста заученных слов.
 «Лаба дена»,
 Привет, «кур важей»¹, пирог очень вкусен,
 До встречи!
 Но как много мы сможем построить мостов,
 Заложив в их фундамент слова,
 Что мы выучим вместе.

Откровение

И мы нырнули в этот омут,
 Где нету боли,
 Где нега разлита по телу,
 Где вены стонут в кипенье крови.
 Где нет ни времени,
 Ни чьей-то злобной воли,
 Краюха счастья в рукаве
 Да щепоть соли.

И я глотал из темных окон
 Туман промозглый,
 Поил тебя до одуренья брагой ночи,
 И вился по подушке черный локон,
 И телеграф давился телеграммой срочной.
 Но мерный рокот серых волн залива
 Нас охранял от глаз и волчьей пасти,
 И в эту ночь нас обошли напасти.

Когда через казенные портьеры
 Ночь уползла в свою сырую нору,
 Что мне осталось от минувшей эры,

¹ По-литовски «лаба дена» — добрый день; «кур важей» — куда едешь?

Что унести сумела ты в ладонях?
Но если снова нашу ссору злую
В минуту одиночества ты вспомнишь,
Мой верный друг — залива свежий ветер —
Ее разгонит, как завесу дымовую.

* * *

В орденской кирхе Арнау сделали перекрытие.
Совхозное зерно стали хранить на двух этажах.
Лица святых на древних фресках засыпали
зерном по самые глаза. И теперь, когда
школьники лопатили прелую пшеницу, зерно
попадало в рот святым. За рабочую смену
писали трудодни, и потом за каждый трудодень
давали по пять килограммов пшеницы.
Той самой, что попадала в уста святым на фресках.
Ну и что было делать с этим зерном святых?
Да хотя бы кормить несушек и на Пасху святить яйца.

Осень

Начало сентября,
Внахлест идут дожди.
Один не кончился, другой уж начинается,
Но все равно в озерах не хватает
Катастрофически воды.

Ночной туман
К утру не успеваает
Сползти с дорог в низины и кусты,
И в поле аисты шагают,
По клюв в туман погружены.

Автомобили едва ползут,
Нащупывая путь
Не яркими лучами дальних фар,
А светом противотуманок
На расстояние чуть
Длиннее детских рук.
Природа тихо завершает
Предписанный ей свыше круг
И напоследок щедро дарит
Любовь и грусть, любовь и грусть.

Дыхание Швеции

Если пальцы замерзли так,
 Что под кожей ты чувствуешь кость,
 И снег, зачерпнутый в горсть,
 Не становится талой водой,
 Это значит, северный гость
 Постучался к тебе домой.
 Это ветер от Готланда
 Гонит тяжелые волны
 И с грохотом
 Бьет их о камни
 Земландского полуострова.
 Это дыхание зимней
 Швеции
 Через двести
 Балтийских миль
 Чистым морозным воздухом
 Касается губ и ушей
 И ложится серебряным инеем
 На ресницы
 И бархат бровей.

Пределы

Берег — предел для моря,
 Предел для суши — вода,
 Межа — для плодородного поля,
 Предел для звука — глухая стена.
 Беспредельность пространства не осознать,
 Воображение достигнет предела раньше,
 Чем Евклид с Декартом поднимут рать
 На Эйнштейна и Лобачевского,
 искрививших пространство.

Колючая проволока — предел для свободы,
 Властная догма — предел для ума,
 Предел для власти — пустая сума,
 Предел совершенства — слиянье с природой.
 Пределы любви — за пределами роли,
 Предел терпения достигнет дна,
 Возможность спасенья — за границами воли,
 За пределами жизни, за пеплом холодным,
 за пределами сна.

Татьяна ТЕТЕНЬКИНА

К дому отчему тропинка легла

Здравствуй, Родина!

Из нелепости границ и постов
Поезд вырвался на вольный простор,
Под колеса понеслась колея...
Здравствуй, Родина! Святая моя!..

А на Родине моей — озера,
Голубым льняным полям нет конца.
Разрезая ветра встречного свист,
Не сдержался — дал гудок машинист...

Я пешком иду оставшийся путь,
Меня все еще качает чуть-чуть,
И не диво — до родного села
Слишком долгою дорога была.

Над Полесьем встало солнце в зенит,
Тишиной прозрачный воздух звенит,
Медоносом пахнет белый налив,
И крыжовник ветки гнет до земли.

А на Родине моей — тот же лад:
Так же аисты на крышах стоят,
Быстро-быстро меня крестит пчела,
К дому отчему тропинка легла.

Дирижер

В школьном хоре я пела вторым,
Хоть была между прочими крошкой.
Так решил дирижер наш — старик
С фронтовой сыновней гармошкой.

Был он пришлым, со всеми на «вы»,
Нам казался суровым и древним,
Никогда не играл плясовых,
Что почти невозможно в деревне.

А вот метод отбора был прост:
Каждый пел ему в самое ухо,
И, наверно, мой маленький рост
Не донес мое пенье до слуха.

Кто не первый — тот, значит, второй,
 Позади основных его место.
 А меня заносило порой,
 Может быть, в небеса — неизвестно.

Он меня никогда не корил,
 Просто петь начинали сначала.
 И, спасая престиж детворы,
 Я сама навсегда замолчала.

С тех времен так по жизни идет —
 Мне за чьей-то спиной копошиться.
 Иногда и могла бы — в обход...
 Ну а вдруг дирижер не ошибся?..

* * *

Вот и лето прочь. А казалось бы,
 Столько жара в нем, столько сил!
 Но без ропота и без жалобы
 Август осени уступил.

Пусть напляшется, накуражится,
 Чуть похожая на весну.
 Скоро бабьим платком повяжется,
 Пряча раннюю седину...

Валентина СОЛОВЬЕВА

Откроется смысл неземной

* * *

От спеси и тщеты,
 Софитов и партеров,
 От вечной правоты
 Безгрешных филистеров, —
 От тех, кто ищет брод,
 Под ноги стелет вату,
 Кто знает наперед
 Про все мои утраты, —
 Избавь меня, избавь,
 Избавь меня, о Боже,
 Пока не стала явь
 На страшный сон похожа.
 Пока ползком и вплавь,
 Не дотяну до края,

Избавь меня, избавь
От кукольного рая.

Как прошлогодний снег —
Посулы и награды.
Избавь меня от всех,
Кто знает, что мне надо,
Кто мне твердит — не спорь,
Кто морщится — не ново...
Избавь меня, Господь,
От опыта чужого!
Уверившись вполне,
Что это бесполезно,
Я вновь сгорю в огне
И вновь в огонь полезу.
И заметет пурга
Неведомые дали,
И скажут мне: «Ага!
Тебя предупреждали...»

Старое кладбище

*Но как же любо мне
Осеннюю порой, в вечерней тишине
В деревне посещать кладбище родовое...*

А. Пушкин

И сад Ваш заброшен.
И храм Ваш разрушен.
И дом разорен.
На мраморных плитах — осколки безвестных имен,
Срамные рисунки да ржавые клочья газет
(Под каждым кустом для случайных прохожих клозет).
Мой жалкий букетик в горячих ладонях раскис, —
Дурацкая прихоть, нелепый и пошлый каприз.
На этой земле, у обветренных этих крестов,
Не место цветам. И не надо, не надо цветов!
Надгробные речи уже отзвучали давно.
Вернуть невозможно, забыть ничего не дано.
Слепая судьба оборвала истлевшую нить,
И незачем вроде, и все-таки хочется жить
И верить, что там, за кладбищенской этой стеной,
В земных испытаньях откроется смысл неземной,
И может, простится невольная наша вина
За то, что никак не кончается эта стена,
За то, что ни дома, ни сада найти не могу,
За то, что цветы замерзают на черном снегу.
С гранитных подножий, ни в чем никого не вина,
Озябшие ангелы молча глядят на меня.



Гурам СВАНИДЗЕ

Рассказы

«Городок» — ожерелье из малых бусин

Каким образом этнический грузин, выросший в крохотном провинциальном Зестафони, стал русскоязычным писателем, причем умудрился проявить свой талант настолько самобытно и ярко, что не потерялся на бескрайних просторах нынешней русскоязычной литературы? Я задаюсь этим вопросом, имея в виду не Григория Чхартишвили (Бориса Акунина), чьим местом рождения значится этот городок. Рассуждаю о Гураме Сванидзе, мастере короткого рассказа. Его цикл новелл, представленный читателю «Нёмана», написан по впечатлениям детства и ранней юности. Этот источник питает многих авторов, и тогда из-под их пера выходят особенно теплые ностальгические вещи. Можно сказать, что память каждого создает свой «амаркорд». Но у Сванидзе тема родного местечка звучит в несколько иной тональности...

— Профессора Тбилисского университета, где я учился на отделении журналистики, шутили, дескать, у вас в городке разве что почтмейстер русским владеет. На самом же деле там находилась вполне приличная русская школа, в которой преподавали жены офицеров местного военного гарнизона. Среди них в пятидесятых работала и мать Бориса Акунина. Сам писатель родился в Зестафони в 1956 году. Другой интересный факт — совсем неподалеку отсюда появились на свет Владимир Маяковский и известный в советское время драматург и киносценарист Георгий Мдивани.

Что касается «Городка», то в нем показано, как в условиях унифицирующей местечковости и жесткого социального контроля живут нелегкой жизнью оригиналы. Поиск неординарных людей, коллекционирование типажей для меня стали настоящей писательской страстью.

Видимо, закреплению русскоязычности Гурама Сванидзе поспособствовала и аспирантура в Москве в Институте социологических исследований АН СССР, по окончании которой, в конце 80-х, он получил степень кандидата философских наук.

— Более 30 лет я проработал в сфере защиты прав национальных меньшинств, профессионально занимался этим на государственной службе. Выбор стези не был случайным. Ведь я сам принадлежу к языковому меньшинству. Такое мое положение помогало мне в работе. Задача Грузинского истеблишмента в том, чтобы гражданская интеграция не превратилась в ассимиляцию. Должны быть созданы гарантии для существования различных языков и культур. С другой стороны, представители меньшинств должны понимать, что для полноценного участия в жизни общества необходимо знание государственного языка, грузинского.

Любопытно, на каком языке говорят его дети?

— Мои дети, в отличие от меня, грузиноязычные, но живут в Германии. Со мной общаются на русском, с женой — на грузинском. Как родитель я привил им мотивацию на достижение поставленных целей, на самосовершенствование. Область для реализации они выбирали сами.

Идеал жены для писателя — сподвижница, вроде Софьи Андреевны или Анны Сниткиной. Предположив, что у Гурама надежный семейный тыл, я не ошиблась.

— Умение строить жизнь — важнейшее из умений. Этому почему-то не обучают и не обучаются. Оно предполагает способность находить общий язык. Если у тебя в трудную минуту появляется желание бежать домой, в семью, можно считать, что семейная жизнь удалась. Как-то, будучи далеко от дома, я попал в серьезный переплет. Спасало только теплящееся где-то в глубине души ожидание возвращения домой. Какая профессия у жены, какие у нее эстетические предпочтения, испытывает ли она интерес к литературе — это вторично.

В жизни каждого случаются потрясения, которые порой переворачивают представления человека.

— Я по своей повадке «премудрый пескарь». Моя биография бедна на события и героические поступки. Смерть близких для меня — сильнейшее из потрясений.

Кого он считает своими учителями?

— Мои учителя — скромные люди. Они безвозмездно трудятся на нашей русскоязычной в Грузии, пытаются поддержать ее. Настоящие культуртрегеры! Поэт, художник Михаил Ляшенко и литератор Анна Шахназарова. Я регулярно консультируюсь с ними.

Есть ли у него свои критерии оценки профессионализма?

— Профессионализм — это выучка, школа. Напряженный труд профессионала вернее приближает его к прозрениям.

Тип личности во многом склоняет человека к тому или иному характеру деятельности. Писателю положено быть интровертом. Вот и Гурам определяет себя как глубокого интроверта. И шутит по этому поводу.

— По моему субъективному мнению, интроверт не тот, кто скрытен, а тот, кто не выговаривается до конца, потому что с определенного момента его перестают слушать. И именно тогда, когда ему хочется выдать сокровенное. А если серьезно, ничто другое меня не подпитывает так полно, как общение. Приятная беседа оживляет и просветляет сознание, наполняет энергией. Писатель готов слушать без конца, но было бы что.

Верит ли он в судьбу или считает, что все в руках человека?

— Мне кажется, судьба — это осуществление наших подспудных ожиданий. Если человек не уверен в себе и нет в нем победительности, то он сделает все необходимое, чтобы отступить, даже тогда, когда его триумф близок. Соответствовать своим внутренним ожиданиям существование для нас, чем даже стремление к счастью.

Гурам Сванидзе известен как писатель, работающий в малых формах. Неужели у него не возникало желания написать роман?

— Надеюсь, что я уже пишу роман. Такой роман, который представляет собой череду законченных самостоятельных моментов. Как ожерелье из малых бусин, которые интересны и сами по себе. Осталось скомпоновать, приладить друг к другу рассказы и новеллы в одно целое произведение. Естественно, это делается в рамках определенного содержания и идеи.

Подготовила Татьяна ШПАРТОВА.

Тополя

Здесь было село. После того как в этих местах построили маленький винный завод, населенный пункт «повысили» в статусе — деревня стала городом.

Не исключено, что по такому случаю на одной из улиц были высажены тополя. С того момента в городке ее считали центральной.

Как известно, тополя из породы быстрорастущих деревьев. Через некоторое время они уже были выше любого здания города. Один из них закрыл вид на горы, которые раньше виднелись из окон моего дома. Но однажды порыв сильного ветра согнул дерево, и на время я опять увидел спокойный горизонт, горы. Порыв ветра продлился, тополь силился воспрянуть, его листья в панике трепетали.

По весне тополя пускали пух. Невесомая пушинка подолгу висела в воздухе. В самой сердцевине ее прозрачной плоти виднелся белый сгусток семени. По дороге в школу я поймал пушинку и выпростал из нее семя. Из него прыснула черная и вязкая, как тавот, жидкость. Испачкал себе белую сорочку. За что получил дома взбучку.

Осенью, к октябрю, в желтеющую крону тополей набивались воробьи, которые деловито чирикали. В лучах яркого солнца таяли кроны тополей и нашедшие в них приют пташки. В это время по улице на арбах крестьяне из окрестных деревень везли на завод виноград. Караван тянулся медленно и молча. Только поскрипывали деревянные арбы. Убаюканные дорогой и воробьиным гвалтом, жмурясь от солнца, крестьяне в полудремотном состоянии погоняли вялых волов. Те монотонно жевали жвачку и иногда лениво били себя хвостами по крупам, отгоняя назойливых мух. Местные мальчишки подкрадывались к каравану и воровали из огромных плетеных корзин кисти винограда.

Под вечер смолкали воробьи, из городка уходила последняя арба, ворота заводика закрывались. Улица оставалась пустынной и безмолвной. В сгущающихся сумерках ее осеняло золото тополей... Кучки навоза напоминали о караване.

В городке отсутствовала служба озеленения, которая делала бы обрезку, освобождала бы тополя от сушняка. Со временем те обезобразились. Зимой они, нагие, ходили на монстров. Снег навел бы марафет. Но снег у нас выпадал раз в год, и то на день-другой. Зимой обычно у нас дождит. Монстры мокли и терпеливо ждали летнего наряда.

...Но вот появилась служба озеленения. Она спилила тополя. Большое местное начальство распорядилось. Дескать, весенний пух аллергии вызывает.

Женское обаяние математики

Я и Нодар сидим в московском кафе. Мы — аспиранты, живем в одном общежитии. Говорим о «мугаме». Есть состояние, которое обозначается этим словом, общим для многих народов Востока. А именно, когда человек входит во вкус и неважно, что он делает. Нодар — математик. Он говорит, что и в его науке можно ловить свой «мугам».

Еще студентом Нодар бился над какой-то мудреной теоремой, которую вот уже века не могут решить поколения математиков. Вроде никакой очевидной пользы от таких трудов, но почему-то считается, что задачу надо решить. Только потому, что она существует.

Однажды Нодар стал свидетелем конфуза, связанного с этой задачей. Он сидел в кабинете у своего научного руководителя, профессора А. Б. Секретарь занесла кипу бумаг на подпись.

— Опять бирюльки, — сказала она и улыбнулась шефу.

Профессор не стал читать тексты, зато быстро выводил на титульных листах краткие отрицательные рецензии. Попутно он пересказывал Нодару повесть Пушкина о гробовщике. Известно, что ее персонаж изготавливал некачественные гробы. Однажды ему приснилось, как на том свете его колотят бывшие клиенты.

— Что, ты думаешь, я подписываю? — заметил А. Б. с хитринкой. — Авторы этих трудов думают, что решили теорему... — и назвал ту самую задачу, над которой в юности бился Нодар. — Ох, надают мне тумачков энтузиасты науки, как клиенты того гробовщика! И все из-за того, что какой-то чудак оставил в наследство миру головоломку, решение которой он будто не успел записать. Вдруг умер! — шутливо ворчал профессор.

Нодар промолчал. Когда-то он тоже послал на адрес института свой вариант решения теоремы и получил отрицательную рецензию.

Мне, литературоведу, математика казалась сферой чистого интеллекта, исполненной гармонии. Так цветасто выразился я в кафе за столиком. Себя же считал неспособным к точным наукам. Окружение поддерживало во мне это убеждение. Любыми способами. Как-то я перепутал название специальности моей знакомой по общаге: ее — спеца по маркшейдерскому делу, назвал «спецом по штрейкбрехерскому делу». Почти как обозвал.

— Да, ты — конченный гуманитарий, — отрезала она.

«Только потому, что напутал с названием технической дисциплины!» — хотелось уточнить. Я не стал оспаривать основательность ее вывода. Ограничились тем, что посмеялись над моей «занятой» оговоркой.

— А ты знаешь, в школьные годы на меня находило, во мне прорезались способности к математике, — обратился я к Нодару.

— Почему бы и нет, главное, чтобы человек был умным, — заметил он. Однако его рассуждения о демократичности и доступности его предмета не убеждали. В тот момент в кафе ему хотелось говорить только «приятности». Он рассыпался в комплиментах в адрес науки, которую я представлял. Потом как будто сорвался и начал декламировать стих на грузинском. Математик проявил недюжинный темперамент и перешел на крик. Наш столик привлек внимание, посетители кафе и официанты ошарашенно смотрели на нас. Нодар кончил декламировать. Лицо пунцовое, даже взмок, тяжело дышал. Я не уверен, что «зрители» понимали содержание стиха, но некоторые из них аплодировали. На лице Нодара отпечаталось довольство, он поймал «мугам».

Я рассказал Нодару историю.

Мой учитель математики в средних классах Гиви Амбакович жил в соседней деревне и каждое утро приезжал в наш городок на маленьком маршрутном автобусе. Моя мать находила его похожим на Эйнштейна. Почему бы и нет — сам Эйнштейн вполне смахивал на простого учителя из грузинской глубинки. Я не помню, чтобы кто-либо так четко и точно вычерчивал на грубой доске крошащимся мелом разного рода фигуры, писал цифры, как Гиви Амбакович. Он впадал в раж, когда объяснял урок: то подкрадывался к доске, чтобы потом от нее отпрянуть, то грозно смотрел и указкой, как маршалским жезлом, тыкал в то место, где находился ответ задачи... В этот момент он не замечал, что происходило в классе. А там происходило дуракаваляние, никто не слушал педагога. Иногда он окликал нас, призывал к сотворчеству — произносил начало слова и потом ждал, что его до конца выговорит класс.

«Отри... отри...», — бросал учитель выжидательно. — «...цательный», — подхватывал хор.

«Пер, пер...», — зазывал математик. — «... дикулярный», — следовало мощно в унисон.

«Пара, пара...» — «...ллельный» и так далее.

Такой метод развлекал, но знаний детям не прибавлял. А «па» преподавателя у доски только смешили, и по-русски он говорил плохо. Мы зазубривали правила. Я знал все теоремы, но на практике решал их с грехом пополам. У меня выработался суеверный страх перед математикой. Мягкий и снисходительный характер педагога не исправлял положение.

Как-то мои родители определили меня к родственнику, который работал технологом на маленьком винном заводике. Априори предполагалось, что человек с высшим техническим образованием смог бы помочь мне в математике. Мужик он был культурный, но при возникновении затруднений начинал багроветь от досады, переходить на крик. Мое сознание запиралось окончательно. От безысходности я заплакал. Репетитора сильно напугали мои слезы. Его мать и сестра успокаивали меня и при этом укоряюще смотрели на педагога-любителя. Он был ни при чем. Я так же плакал, когда проигрывал в шахматы своему соседу. Было обидно за себя.

Но вот произошел прорыв. Помню, в ясный солнечный день, весной, я вчитался в одно из правил и вдруг понял, что все на самом деле очень просто. Я как бы обрел новое зрение. В тот день, когда я решал на доске примеры, от радости Гиви Амбакович ходил кругами, и некоторые его движения выдавали в нем трудно скрываемое желание изобразить лезгинку.

В старших классах нас передали Анзору Владимировичу. Он тоже был деревенским. Как-то школьников и педагогов повезли в соседний колхоз. Мы увидели, как проворно и умело Анзор Владимирович окопал два ряда виноградника, в то время как большинство из взрослых (не говоря о детях) не осилили и половины того. Математик орудовал лопатой с неизменным для него выражением лица — угрюмым, сосредоточенным и непроницаемым.

Дети называли его «Гитлером», «Фюрером». Этот тип распускал руки. Экзекуции проводил регулярно и с удовольствием — костяшками пальцев по макушке, пальцем в ключицу. Иногда, поленившись встать из-за стола, он знаками показывал кому-нибудь из соседей нарушителя порядка, мол, всыпь вместо меня. На его нудных уроках это было единственным развлечением. Педагог даже расплывался в улыбке. Его рот обнаруживал хищный оскал.

Существовала вторая ипостась садизма «Гитлера». Он был «нацистом» от математики. Для него все ученики были идиотами, для которых этот предмет недоступен. Меня отрекомендовали ему как парня со способностями. «Гитлер» долго присматривался-принюхивался ко мне, вызывал каждый день к доске. Потом удовлетворенно махнул рукой и записал меня в завзятые гуманитарии. Однажды на уроке он делал сравнения между литературой и своим предметом, говоря, что, не зная творчества Пушкина, можно свободно изучать творчество Лермонтова. Математика подобное не терпит, в ней все взаимосвязано. Говорил он правильно, но с насмешливой миной. Гуманитариев «Фюрер» считал краснобаями вроде меня, которые вводят в заблуждение его легковверных коллег. Имелся в виду Гиви Амбакович. Кстати, Зураб М. — единственный любимчик «Фюрера» в классе, был косноязычным. Были ли у него особые таланты в математике — трудно судить. Я знал, что он брал дополнительные уроки у педагога на дому.

Я не мог долго сопротивляться и перестал воспринимать математику.

Никто ни разу не указал «Гитлеру» на его профнепригодность. На его уроках царил гробовая тишина — главное достижение педагогического процесса в школе, где я учился и где он был директором.

Но однажды «Фюрер» забеспокоился. Я учился в выпускном классе. Он вроде заподозрил во мне способности. Помню, пришел зардевшийся, смотрит испытующе.

А дело было вот в чем.

С некоторых пор в школе появилась молоденькая учительница, коллега Анзора Владимировича. Она только-только окончила вуз. Маргарита Мойсеевна (так ее звали) производила впечатление женщины-подростка, впрочем, по преимуществу подростка — девочка в очках с золотистой оправой на милом лице. Голос у нее был писклявый, слабый.

Мы, старшеклассники, любили ее, правда, неуклюже. Так, испытанием для этого хрупкого создания стал первый снег. Здесь у нас девиц буквально избивают снежками, легких, щадящих эротических игр не бывает. Спешка и страсть взаимно предполагали. Ведь снег мог растаять уже к полудню. Маргариту забил снежками вечный второгодник Колька Денисенко, который фактически приходился ей сверстником. У нее сломались очки, снег попал за шиворот.

Я не бросал в нее снежки. У меня был другой стиль. Однажды мы разговорились. Она сделала вид, что интересуется серьезной музыкой, чем я воспользовался — в тот же вечер заявился к ней с диском органной музыки Баха. Увидев пластинку, Рита побледнела. Я пощадил ее и дал послушать только одну небольшую фугу. Девушка еле настроила древнюю радиолу, которую позаимствовала у хозяйки. Рита была в домашнем халатике и по виду уж совсем незащищенная — невысокого роста, со слабой прозрачной кистью, белой высокой шеей, слабым голосом. Видно было, что органная музыка ее не развлекала.

В тот вечер мне повезло больше, чем моему однокласснику Ясону. С диском ансамбля «Битлз» под мышкой его застукал Колька Денисенко. Этот переросток дежурил у переулка, где жила математичка, и зорко бдился за происходящим. Ему не составило труда убедить битломана не ходить в гости к молоденьким педагогам с «веселыми» песенками и поворачивать того домой. Меня он тоже встретил с грозным видом, тем более что я уже возвращался после визита.

— Что за «бах-бух» у тебя? — спросил он озадаченно. Я сказал, что это — диск органной музыки. Он несколько посерьезнел, вернул мне пластинку. Колька ничего не сказал, видимо, решил, что с такими пристрастиями к музыке мне не быть для него конкурентом.

Заглянуть в гости к Маргарите с другой пластинкой Баха было бы глупо. Поэтому я решил прямо, без хитростей сослаться на то, что не понял заданного урока по алгебре. Повод был формальным. К этому времени я совершенно перестал понимать математику и смирился с уделом гуманитария. Готовился стать филологом. Свое появление у нее в доме я отметил спичем — навязываюсь, не даю покоя, потому что туп, нужна помощь. Рита покраснела, увидев меня, и улыбнулась. Неожиданно для себя я обнаружил, что она была рада моему визиту и что такая моя «скромность» была излишней. Я внутренне вспыхнул, даже голова закружилась... Мы не заметили, как просидели два с лишним часа, что уже сгустились сумерки. Может быть, она первый раз почувствовала себя учительницей. Лицо серьезное, сосредоточенное, в голосе зазвенели уверенные нотки молодой женщины. Наверное, первый раз она работала с учеником, который оказался таким сметливым. Я ощутил лад ажурных алгебраических формул, я как бы вторил голосу прелестного создания, все увереннее и увереннее... И вдруг все оборвалось. В комнату тревожно постучали. Заглянула хозяйка и сказала, что на улице какой-то хулиган. В ворота стучится. Я съезжился — Денисенко буянит. Но полегчало, когда в комнату зашел отец. Он тоже выказывал тревожность, но по другому поводу. Я, оказывается, пропустил урок у репетитора по литературе. Папа поблагодарил Маргариту за внимание к его чаду. Мы удалились. На улице я сделал вид, что не заметил Кольку Денисенко. Он ревниво смотрел на меня.

Я полагаю, что на следующий день Маргарита рассказала обо мне «Гитлеру». В течение нескольких дней он вызывал меня к доске. И опять я не «обманул его ожидания».

К тому же, меня беспрестанно терроризировал Денисенко. С визитами к молодой учительнице было покончено. То ощущение-обаяние, которое нашло на меня у Маргариты, позабылось сразу.

Нодар слушал меня с интересом. В какой-то момент его лицо просветлело.

— Вот тебе и «мугам», вы оба его ощутили! — сказал он торжественно. Потом добавил: — Вообще, у меня педагоги по специальности все сплошь мужчины были. Кстати, чем там с этой девочкой закончилось?

Года через два она вышла замуж за Денисенко. Добился своего хулиган! Он спьяну колотил ее. Родился ребенок с пороком сердца. Она убежала в Тбилиси. Я узнал ее адрес, но в гости не навещивался. Когда проезжал в трамвае мимо ее дома, напрягался. Вчера я увидел ее в окне первого этажа с ребенком. Она играла с ним и на что-то ему показывала на улице. Погода была мрачная, осенняя...

Иностранцы

Как-то в 60-е годы на центральной улице нашего городка появились два индийца. По сей день помню их светлые шальвары, рюкзаки и гипертрофированные икроножные мышцы. Они шли бодро. Лица я не рассмотрел. Так получилось, что пристроился к толпе горожан, которая следовала за ними. Мою попытку выбежать вперед и посмотреть на пришельцев анфас предотвратил милиционер. Что они индийцы, я узнал от него. Через мегафон он призывал горожан не мешать «гражданам из дружественной страны Индия совершать всемирное путешествие». «Ведите себя культурно!» — кричал в мегафон милиционер. Гости дошли до моста, границы городка. Страж порядка остановился и приказал последовать его примеру всем остальным. Толпа остановилась. Некоторое время индийцы в полном одиночестве пересекали мост. На другом конце их ждали другой страж порядка с мегафоном и большая группа зевак. Лиц путешественников я так и не увидел.

Впрочем, у нас в городке жили «свои» пришельцы.

Потомок императора

Каждое утро старик-китаец на грузовом мотороллере развозил хлеб по магазинам. Он постоянно улыбался. При этом его узкие глаза терялись в складках морщин. Помню его родинку на желто-коричневой щеке.

Будучи в 5-м классе школы, в учебнике по истории Древнего мира я узнал о китайском императоре Цинь Ши Хуанди. Меня осенило, не царских ли кровей наш китаец. Ведь звали его Иван Хуанди, что было нацарапано каракулями на пластмассовой каске, с которой он не расставался. В следующее утро Иван, как обычно, сдавал горячие булки в магазине. Для начала я спросил у него время. Китаец посмотрел на часы, расплылся в улыбке и произнес что-то невнятное. Кажется, на родном ему языке. Я ничего не понял. Иван пожелал узнать мое имя. Вернее, дал понять, что имел в виду, задавая вопрос. Услышав ответ, он просиял и воскликнул:

— Ты кузи? (Грузин, надо полагать.) — Моя негрузинская внешность в сочетании с совершенно грузинским именем ввела его в оторопь. — Мама руси? — уточнил старик.

— Нет, кузи, — ввернул я.

Решив, что беседа завязалась, я задал ему свой главный вопрос: а не потомок ли он китайских императоров. Кажется, мой собеседник ничего не понял, на всякий случай улыбнулся, робко отвел глаза и почему-то стянул с головы свой пластмассовый шлем.

Было уже за полночь. Мы, мальчишки, стояли на улице. В свете уличных фонарей я рассмотрел Ивана в компании молодого китайца. Тот был одет вызывающе немодно. Цилиндр чего стоил. В те времена этот головной убор шокировал. Они продефилировали мимо, как будто даже не заметили нас. Иван был в своей неизменной каске. Он говорил на китайском, и лицо его было серьезным.

Мама сказала, что молодой человек, вероятно — сын Ивана, который, вроде кончал русскую школу в городке. Но вспомнить, когда учился, кто его одноклассники, она не смогла. У Ивана жена русская. Как они друг с другом общаются? Он только на своем родном языке говорит, а ей откуда китайский знать. Всю жизнь здесь провела, в имеретинской глубинке.

На мой вопрос, как здесь, в городке, мог оказаться китаец, мама только пожала плечами.

— Ты сам понимаешь, китайцев так много, почему бы кому-нибудь из них случайно не забрести сюда, — ответила она мне.

Как-то я застал Ивана в компании других китайцев. Человек пять-шесть. Выглядели они экзотично. Все пожилые и почему-то в тулупах, ушанках и сапогах, хотя уже был теплый месяц май. Откуда их столько вдруг набралось? В Тбилиси, например, куда я приезжал к бабушке, людей этого племени мне видеть не приходилось. Единственного на миллионный город негра я встречал относительно часто и в разных местах, а китайцев никогда и нигде. Логика подсказывала, что они в Тбилиси не живут. Правда, двоюродная сестра мамы рассказывала, что был у нее знакомый китаец, инженер, интеллигентный и умный человек.

— Но он оказался непорядочным мужчиной. Обещал жениться одной девушке, но ушел к другой, — заметила она.

Для нее, одинокой женщины, тема неразделенной любви была чем-то вроде наваждения. Она распространила ее и на, возможно, единственного на весь город китайца.

Кстати, к моменту этого разговора умер упомянутый мною негр. Я помнил его уже стареньким. Он еле передвигал ноги и принимал валидол. О нем тетушка ничего плохого сказать не могла.

С некоторых пор хлеб в городке по магазинам стал развозить парнишка-грузин. Иван сменил занятие. Стал появляться на людях без каски. Связано это было с тем, что на городок как девятый вал обрушилась мода на восточные единоборства... Иван Хуанди стал тренером по кунг-фу. В спортзале школы он проводил тренировки.

У меня был одноклассник, который увлекся кунг-фу. Мне тоже хотелось попробовать себя в этом виде борьбы. Я заглянул к нему. Обычно приветливый, Гено (так его звали) повел себя неожиданно. Сидя на корточках, он уставился в сильно потрепанную гравюру и моего появления как будто не заметил. На гравюре была изображена схватка циньского героя с тигром. Воспользовавшись заминкой, я осмотрелся. В комнате висело несколько китайских фонариков, а на стене красовались иероглифы. Сам хозяин комнаты был облачен в китайскую тогу.

Выйдя из состояния оцепенения, Гено извинился, объяснил, что созерцал картину, чтобы проникнуться боевым духом героя. «Мне ее подарил шифу Иван», — сказал он. При упоминании имени наставника его глаза излучали преданность.

Я попросил Гено показать приемы. Физиономия моего одноклассника вдруг стала каменной. «Я не могу разглашать тайны шифу», — заявил он торжественно.

Гено поведал мне, что Иван Хуанди мастер единоборств не то в 37-м, не то в 39-м поколении. Потом он сообщил, что сын Ивана, который уехал на родину, служил в личной охране Мао Цзэдуна. Этот факт собеседник преподнес не без аффектации. Мол, сам прикинь, что значит ходить в телохранителях такого человека.

Гено продолжал:

— Бывает так — посмотрит на тебя учитель, аж страшно становится! Взглядом может лечить, калечить тоже. Гипнотизер! По лицу не определить, что он о тебе думает, непроницаемый и... неулыбчивый.

Еще я узнал, что наставник не ест мяса, ест сою.

Я знал, что Гено был вроде переводчика у китайца — переводил посредственный грузинский Ивана на свой более сносный грузинский. Главное то, что только он имел право обращаться прямо к «наставнику». Был на особом положении. Остальные ученики общались с тренером через Гено. Такой чести мой приятель удостоился только потому, что жил по соседству с Иваном. Через него же китаец взимал плату за тренировки. Она была в два-три раза выше, чем в любой из секций каратэ в городке.

Я попросил одноклассника устроить встречу с его наставником. Всего-то делов — зайти по соседству. Гено отреагировал не без ревности и отказал в моей просьбе. Мол, сейчас шифу предаются медитации. Когда я выходил от Гено, из-за забора слышно было, как некто мужского пола третировал кого-то женского пола. Содержание речи я не разобрал. Тирады на китайском сменял русский мат. Иван тиранил свою русскую жену.

Прошло время, и Ивана развенчали. На шифу давно косились конкуренты. После просмотра одного из фильмов о каратэ местные энтузиасты восточных единоборств узнали об одной традиции. Согласно ей главы соперничающих школ в очном поединке выясняют отношения. Так поступил один из местных каратистов. Без предварительного уведомления он заявился прямо на тренировку, демонстративно стукнул дверь и громко высказал, что думал о шифу. Присутствовавшие ученики ждали ответа. Тут Иван «дал маху», начал лепетать что-то, побелел от страха, отчего даже родинка вдруг увеличилась в размерах. Как понял Гено, наставник ссылался на свою старость и немощь. Каратист ничего не сказал, повернулся и вышел из зала. Позже место Ивана занял Гено.

Однажды я заболел ангиной. Мама посоветовала обратиться к китайцу Ивану Хуанди.

— У него есть лекарства. Он получает их от сына, который живет в Китае и работает там провизором в аптеке, — сказала она, — вроде, все эти лекарства одинаковые — маслянистые дробинки и пахнут одним и тем же, но стоят дорого.

Я не стал уточнять, кем же все-таки был сын Ивана. Не до этого было — горло беспокоило. Я взял деньги и пошел к китайцу. Он меня встретил приветливо, улыбался вовсю. Объяснил мне на пальцах, что гланды удалять не надо. Пояснил:

— Твоя мяса, не надо резать.

Мне дали цветистую коробочку. Помню, что заплатил за нее 50 рублей. Средство помогло. Ангину как рукой сняло.

«Немец-перец-колбаса»

Вильгельм — немец. Моя мама говорила, что у него характерный для представителей этой расы рот — безгубый, твердосомкнутый, короткий. Не из-за этого ли Вилли (так его звали в народе) никогда не улыбался?

Он разводил кроликов у себя во дворе и продавал их на базаре нашего городка.

Его дочь Марта училась со мной. Она соответствовала бытующему в грузинской провинции стереотипу немецкой девочки — белокурая, молчаливая, высокая, худая, грубоватая. Правда, губы у нее были полные. Нам еще казалось, что ее любимым блюдом должна быть вареная картошка. Я выразил сомнение по поводу этой детали. В виде аргумента мне пересказывали некоторые советские фильмы на военные темы. В них немецкие солдаты если что и ели, то картошку. В этом отношении Марта не отвечала нашим ожиданиям. Каждый раз на завтрак в аккуратном завернутом свертке она приносила крольчатину с хлебом. Многие из нас на завтрак могли позволить себе если не яйцо всмятку, то вареную картошку уж точно.

По-настоящему озадачила нас Марта, когда пришло время изучать немецкий язык. Учительница обратилась к Марте, мол, ей, наверное, легко будет, ведь этот язык для нее родной.

— Да, — согласилась девочка, — но дома мы говорим на швабском, потому что мы — швабы.

Далее последовала историческая справка. Марта изъяснялась косноязычно, но вот что я запомнил. Будто бы из-за неправильной трактовки некоторых мест Священного Писания швабы потянулись к вершине горы Арарат, дабы спастись от предрекаемого их религиозными лидерами Всемирного потопа. Произошло это в XIX веке. Русский царь не препятствовал массовому переселению германцев. Швабы до Арарата не дошли. По дороге их ряды поредели. Некоторые спасающиеся от потопа оседали на территориях, через которые шли. Убедившись, что катаклизма не будет, идти в гору передумала вся община. Она остановилась и осела колонией на юге Грузии. Некоторые семьи поселились в Имеретии.

Преподавательница только пожалала плечами, для нее такая история была в новинку. Дети же посмеялись. Слова «шваб», «швабский» им показались почему-то смешными. В нюансах разобраться они не стали и по привычке продолжали считать одноклассницу немкой.

В городке я встречал одну тихую маленькую женщину. Она никак не привлекала к себе внимания. Случайно я узнал, что она — мать Марты. Она пришла на родительское собрание в школу. Такие неожиданности вполне объяснимы. Вилли с семьей жил за высоченным забором, отгородившись от всех. Никто не ведал, что происходило за этой стеной, кто там вообще жил. По ту сторону забора всегда стояла глухая тишина.

Темной ночью трое сорванцов перемахнули через забор, воровать фрукты. Летний воздух был неподвижным, фруктовые деревья стояли как изваяния. В доме уже спали. Только из сарая доносилось мычание. Хозяин возился со своими кроликами и пел. Не исключено, что на швабском. Неожиданно темноту прорезали две очереди. Это кроликовод гонял ветры.

Даже кролики у Вилли были особенные. Однажды на базаре я почувствовал, что кто-то пристально смотрит мне в спину. Я оглянулся... На лотке восседал огромный коричневый жирный заяц, размером с малую свинью. Он смотрел прямо и как будто видел все насквозь и с усмешкой. Как хозяин. Я подивился тому, как спокойно вел себя заяц.

Вильгельм не выходил на улицу. Он не играл с соседскими мужчинами в нарды, домино, не разделял их пирушек и разговоров. Иногда только

выглядывал из-за своего забора и неподвижным взглядом, твердо сомкнув губы, обозревал окрестности.

Про него ходила дурная слава склочника. Например, ему не давало покоя айвовое дерево моего родственника. Оно тянулось к солнцу и в результате вторглось в пределы двора кролиководы. Тот сначала нещадно обрубал ветки айвы. Но они только еще больше разрастались. К моим родственникам зачастили представители исполкома и милиции. Причина — жалобы соседа.

— Ваше дерево лишило его покоя. Он решил лишить покоя и нас. Пишет постоянно, — брюзжал во время одного из вынужденных визитов милиционер.

Гостей угощали айвовым компотом, джемом, вареньем. Родственник гнал из этого фрукта водку, а из молодых листьев дерева готовил отвар — отменное отхаркивающее средство. Из сердцевины айвы получался густой сироп. Сварливый сосед был неумолим. Он отказывался от предложения пользоваться теми плодами, которые падали на его сторону, к нему во двор. Обо всем этом мои родственники узнавали от чиновников, которые пересказывали содержание кляуз Вилли. Этот субъект еле раскланивался с соседями, но скандалов не устраивал. Своего он добился. Дерево пришлось спилить.

У имеретинцев есть песня, в которой упомянут некий Сепертеладзе. Народная мудрость призывает не быть похожим на него — ни тебе гостей позвать и угостить, или самому заглянуть к соседу на огонек, ни тебе улыбнуться, ни повеселиться... Словом, вроде как будто о кролиководе песню сложили. Таких типов у нас называли «байкушами». Но Вильгельма к этой категории людей не приписывали. Говорили, что возьмешь с иностранца, не байкуш он, а «немец-перец-колбаса».

И вот в городок случайно заехал Шеварднадзе, тогда партийный шеф. Он принимал просителей в здании райкома. Очередь собралась длиннющая. Вилли тоже явился с папками. Шеварднадзе, просматривая список граждан, обратил внимание на невероятную для этих мест фамилию. Его разбирало любопытство. Немец предложил ему построить в предместьях городка ферму по разведению кроликов. Из своей папки он достал чертежи, расчеты, фото из семейного альбома, на которых красовались его родня и кролики... Эффект неожиданности сработал.

Довольно скоро по ТВ показывали сюжет: труженики-кролиководы Имеретии выполняют и перевыполняют взятые на себя обязательства. Некоторое время камера фокусировалась на кислой mine отца моей одноклассницы. Его представили как директора фермы. На экране много разглагольствовало местное начальство.

Вилли исполнил свое обещание, данное главному партийному боссу страны. Кроликов в городке ели утром, днем и вечером, в вареном, пареном, жареном виде под всеми мыслимыми соусами. Продуктовые магазины полнились тушками «зайцев». В гастрономический обиход вошел паштет из крольчатины. Местные пряности сделали его популярным. Я тоже к нему пристрастился.

О директоре фермы ходили легенды. У него прорезался голос. Фразы типа «Арбайт!», «Ахтунг!», «Шнелла, шнелла!!» слышны были по всей округе. «Прямо как в фильмах о фашистах», — ляпнул мой знакомый.

Особенно яростно директор гонял несунов.

— Кроликов в городке больше, чем «кур нерезаных», зачем их красть, — обращался он к моему отцу, с которым еще как-то раскланивался.

Вильгельм дневал и ночевал на ферме.

Население со смешанными чувствами реагировало на происходящее. Моя мама, например, говорила о чистоте и порядке, который завел Вилли на ферме. Опрятность вообще была возведена ею в высшую ценность.

В городке говорили о порядочности немца. Она даже стала темой бреда сумасшедшего правдоискателя Шалико Б. Несчастный тихо и мирно работал бухгалтером, пока в одно прекрасное утро не сорвался. Все внутренне соглашались с тем, что говорил бухгалтер, но он сильно перепугал население. Крупный мужчина, как бешеный бык, бегал по городу. В какой-то момент он остановился у фонтана на центральной улице, снял с себя сорочку, обнажившись по пояс. Шалико обливал водой свое раскрасневшееся тело и издавал грозное рычание. С другими зеваками я прятался за кустами и наблюдал за ним. Я услышал его фразу: «В этом городке нет честных людей. Исключение — немец Вилли. Остальные — воры». Тут на него набросились милиционеры. Они связали буяна.

Другие граждане по-доброму и снисходительно улыбались подвижничеству Вилли. Были такие, что улыбались, но не по-доброму, а насмешливо или просто насмехались. Для них Вилли по-прежнему был «немец-перец-колбаса». Я же взгрустнул. Мог ли он выдюжить долго?

Увы, не выдюжил. Не дождался даже возвращения Марты, которую послал учиться на зоотехника в Тбилиси.

Как-то в городке, в быту его граждан, появились аэрозоли для освежения воздуха. Раньше здесь с дурным воздухом боролись своеобразно. Жгли бумагу. А тут такой прогресс... Красивые баллончики, испускавшие приятный аромат, привезли из Германии, специально для фермы. Целую партию дезодорантов украл завхоз. Ими стали облагораживать отхожие места... Рассказывали, что после этого хищения Вилли окончательно поселился на ферме. Ночи он проводил в сторожке в бдениях.

Я, как и Марта, уехал учиться в Тбилиси. В один из приездов мне бросилось в глаза, что тушек кроликов в магазинах не стало, а дома меня перестали потчевать крольчатинной.

— Где мой любимый паштет? — воскликнул я в сердцах.

— Ты что, не знаешь?! Умер Вилли! — последовал ответ мамы. — Жалко человека, таким чистюлей был, — добавила она в своем духе.

Он умер в сторожке. После его смерти «зайцы» на ферме начали вымирать как во время эпидемии. Мне пересказали содержание протокола о списании целой партии зверушек. Пьяный шофер уронил с кузова грузовика бидон. Резкий звук вызвал разрыв сердца у целого загона кроликов. Пострадали преимущественно импортные особи.

Мои знакомые не разделяли мои сантименты относительно кроличьего паштета.

— Дался он тебе. Что может быть лучше, когда на пикнике зарежешь барашка и готовишь шашлык. Ешь его и запиваешь вином, — заметили мне.

Да, шашлык из кроликов — смешно!

Сад фаллосов

Семена вьетнамских кабачков Важа принес со службы, с селекционной станции. Попросту стащил несколько пакетиков. Он, агроном по специальности, знал, что вьетнамские кабачки — вроде гигантских огурцов.

Семена посеяли под виноградной беседкой. Вместо того чтобы стелиться по земле, прилипчивый ствол кабачка вдруг потянулся вверх, обвив лозу и металлические стойки беседки, и скоро скрылся в густой поросли винограда. К сентябрю тугие кисти «ркацителы» меняли свой малахитовый цвет на нежно-розовый. В разных местах беседки потянулись вниз похожие на огурцы плоды.

— Они похожи на «куту», — сказал гость Важи, кивая на огурцы. Компанию потчевали в тени беседки. У того гостя только-только родился

внук. Аналогия оказалась умилительной. «Куту» — мужское достоинство эфеба. Ласкательно-уменьшительно.

Время шло. Кабачки росли невероятно быстро. Гуляя по саду, можно было задевать их головой. Уже собрали виноград, сделали вино, студень из винного сока. А с огурцами не спешили. «Соберу их в следующие выходные», — подумал Важа.

Но произошло нечто.

У Важи был сын — белесый неразговорчивый парнишка с водянистыми глазами по имени Мераб. Но в народе его почему-то звали Обоба — «паучок». Он, бывало, стоял у забора сада и наблюдал за происходящим на улице. Его глаза при этом оставались безучастными.

В тот день Паучок, как обычно, стоял «на посту» у забора. За его спиной виднелась отцветающая виноградная беседка, с которой свешивались кабачки. Их размеры устрасали. Один из проходивших мимо молодых людей заметил своим друзьям, что диковинные плоды в «этом саду» похожи на... Не только он, но и, возможно, все население провинциального городка не знали слово фаллос. Поэтому сравнение прозвучало грубовато. Потом последовал комментарий: «Сад!» Присутствовавшие при этом дамы притворно возмущались и отводили глаза от сада. А один проходивший мимо мужчина издал звук, как если бы жесь о жесь терли, но еле слышно. Так в Имеретии показывали, что есть повод посмеяться, но лень это делать во весь голос. Или кому-нибудь давали понять, что некто или нечто становится предметом шуток...

Жена Важи, крупная энергичная особа, басовитым голосом распорядилась срочно оборвать кабачки. Медлительный Обоба взбирался на стремянку и аккуратно обрывал овощи. Важа стоял и придерживал лесенку. Так обошли весь двор. В это время женщина мыла банки. На зиму семья заготавливала маринады. Сын невольно покраснел, увидев, как мать кром-сает ножом кабачок.

Франкофон

Этот парень и моя сестра были одноклассниками недолго — первые шесть лет. Потом сестра переехала из нашего города в Тбилиси, к бабушке. Школу он окончил на пять лет раньше меня и уехал в Россию. Прошло ровно семнадцать лет, как я тоже окончил школу, и двадцать два, как видел его последний раз. Помнить этого парня не было особой причины, разве что однажды в школьном дворе он подозвал меня и спросил о Дине (имя моей сестры)...

И вот холодным утром, отстаивая уже четвертый час в тбилисской очереди за хлебом начала девяностых годов, я иступленно вспоминал его фамилию. В очереди меня сменила теща. Я шел домой, потом — на работу и продолжал до боли напрягать память. Когда из-за сбоя электричества в тоннеле метро остановился поезд, в темноте и ропоте пассажиров меня осенило: «Его зовут Вася Дудник!»

Через пять дней мне позвонили. Говорила американка. Коллега-социолог приглашала принять участие в проекте по проблемам бедности. «Дайан Дудник», — представилась она.

Я стал менеджером проекта. Было чем гордиться и чему радоваться — Дайан выбрала меня из многих претендентов, а гонорар (страшно сказать во сколько раз) превосходил мою зарплату, которая в тот момент составляла два доллара США в пересчете на купоны.

В машине, когда мы ехали в Кахетию, где должны были проводить часть исследования, я, уже менеджер, рассказывал американке о случае с

Васей Дудником, ее однофамильцем из грузинской глубинки. Родственная связь исключалась. Дайан была американкой в четвертом поколении. Ее прадед, местечковый еврей с Украины, прибыл в Америку в начале XX века. Почти мистическая история ей понравилась, или может быть, мой английский был на уровне. «Клево!» — отрезала американка очень по-русски и покраснела. Ее манера краснеть меня подкупила. И не только меня, но и всех 45 участников проекта, которым посчастливилось к нему причаститься.

Вообще Дайан предпочитала говорить о предмете исследования — о бедности. В приятный майский день наш форд беззвучно нес нас мимо виноградников. Она расспрашивала водителя Серго о том, что он ел сегодня на завтрак. Он, врач-терапевт, подрабатывал шофером в проекте. Это обстоятельство особенно раззадорило американку, на нее нашел исследовательский зуд. «Не обижайся, изучать бедность в Грузии она начала с меня», — сказал я ему по-грузински. Серго не возражал и отвечал на вопросы подробно, кстати, на английском. Она записывала. Оказалось, что респондент вчера пообедал плотно: он был у друзей, где его угостили толмой — вареным мясным фаршем, завернутым в молодой лист винограда. Серго кивнул в сторону виноградников. На виноградниках работали крестьяне целыми семьями. Было время прореживания кустов. Оборванные листья складывали в мешки. Дайан была озадачена. Факт с толмой не укладывался в ее схему бедности.

Мы въехали в городок где-то к часу дня. Он выглядел пустынным. Только коровы и свиньи, обязательный атрибут провинциальных городков, лениво блуждали по безлюдным улицам. «Винк-винк», — простодушно смеясь, проговорила Дайан и показала пальцем на замешкавшуюся свинью, которая трусцой перебежала дорогу прямо перед фордом. Так на английском звучит «хрю-хрю».

Солнце начало припекать. Машину мы остановили в тени огромных старых лип, у сквера. Видимо, на века построенная каменная ограда с лепными украшениями в виде гроздьев винограда облупилась, местами обвалилась. Через площадь, напротив сквера, находилось здание местной администрации. Оно выглядело неказистым по сравнению с огромными домами частного сектора по обе его стороны. Их крытые цинком крыши слепили округу отражением от сияния солнца. В конторе никого не застали.

Мы вернулись к скверу. Там сидели мужчины, человек пять, играли в нарды. Когда мы приблизились, они оживились. Послышались комментарии: что за интуристы-очкарики (это я и Дайан), небось, нащелкают кадры, а фото кому достанутся? Я поздоровался с ними. Они еще более оживились. Из их слов следовало, что население городка теперь на виноградниках. «Сейчас в городе только немощные старики, инвалиды и лодыри», — заметил один пузатый мужчина, самый упитанный из всех присутствующих и наименее бритый. К кому он себя причислял? Его потные толстенные волосатые пальцы каждый раз, когда наступала очередь бросать игральные кости, с трудом подбирали их. Заговорить о проблемах бедности прямо в сквере Дайан не решилась. Она только предложила сфотографироваться с играющими в нарды. Даже через глазок фотообъектива можно было видеть, что она недовольна. Кахетинцы наперебой стали приглашать зайти к ним погостить. Тот, самый толстый, показывал через площадь на дворец с сияющей крышей, называл его своим и приглашал наиболее рьяно. Американка отказалась.

Дайан пожелала сесть рядом с водителем. Я открыл переднюю дверь автомобиля, и американка протиснулась в салон. Забарахлил мотор. Серго плюнул с досады: «Говорили мне, не заливай бензин на той бензоколонке! Сейчас клапаны придется чистить!» Он вышел из машины, поднял капот и

начал копошиться в моторе. Дайан покраснела и насупилась, но ничего не сказала. Я вышел из салона и подошел к шоферу.

— Excusez-moi, vous ne seriez pas francais? — проговорил кто-то за моей спиной.

Я оглянулся на спрашивающего. Говорил высокий темноволосый молодой человек лет тридцати. Он слегка запыхался. Наверное, спешил, и должно быть, к нам. Его телосложение выдавало в нем физика — впалая грудь, сутулость, сильная худоба. Костюм, который, видимо, тщательно, но неумело выгладили недавно, висел мешком. Воротник чистой сорочки не мог облеечь его тощую шею. Поношенный галстук казался съехавшим набор. Красивое лицо могло показаться одухотворенным, если бы не выражение больших темных глаз (вернее, отсутствие его). Они меня заставили вздрогнуть, ибо не блестели, обращенные вовнутрь, завораживали своей мертвенностью.

Не дожидаясь ответа, он довольно бегло продолжил по-французски:

— Я слышал по Парижскому радио, что в Грузию должна приехать экспедиция, которая следует по маршруту Александра Дюма на Кавказе.

Из глубины сквера слышались голоса наших знакомых, предостерегающих молодого человека не беспокоить гостей «глупостями». Он не обращал на них внимания. Французский я знал не ахти как, но понял, о чем шла речь, и ответил по-грузински.

Мой ответ, очевидно, разочаровал незнакомца.

К разговору подключилась Дайан. Ей показалось, что уж сейчас она поговорит о предмете исследования. Не выходя из салона, открыв дверцу авто настезь, она на русском обратилась к неожиданному собеседнику. Из беседы мы узнали, что его зовут Ладо, он не женат, работает библиотекарем, у него большая мать. Ладо был вежлив с американкой, но проявлял нетерпение и постоянно посматривал вдаль, в конец улицы, откуда, как ему казалось, вот-вот появится экспедиция. Потом, не ответив на очередной вопрос о его доходах, он вовсе в сердцах воскликнул:

— Уже несколько дней я торчу здесь на площади в ожидании! Даже не пошел работать в поле!

— Вы уверены, что экспедиция должна приехать? — спросил я.

— По Парижскому радио передали... Дюма был здесь.

Я попытался уточнить, передавали ли эту информацию по Грузинскому радио или телевидению.

— Не знаю, — последовал ответ.

Серго продолжал ковыряться в моторе, но было заметно, что к происходящему прислушивался. Дайан поняла, что интервью не получается, совсем разобиделась и замолчала.

— Вам кто-нибудь поручил встретить французов? — спросил я.

Он окинул меня взглядом, который дал ясно понять мне всю неуместность такого вопроса. Было видно, что по мере того, как продлевалась беседа, глаза Ладо оборачивались к миру и становились живее.

— Где вы изучили французский?

— В Тбилиси, в сельхозинституте, — сказал он и лукаво улыбнулся. —

Я учился на винодела и увлекся литературой о французских винах. Мне повезло, у нас был прекрасный учитель по языку — Елена Арнольдовна. Она еще девочкой приехала в Грузию из Швейцарии. Умерла, бедненькая. Совсем старенькая была.

Ладо вдруг умиленно заулыбался.

— Иногда она вспоминала день отъезда из Швейцарии. Была гроза, гром. Она боялась грома. Старший кузен говорил ей, что по небу катится большая бочка и упадет ей на голову.

Последнюю фразу он повторил на французском.

— Почему ты работаешь не по специальности?

Ладо ухмыльнулся.

— Я работал на местном винзаводе технологом, пока тот не закрылся. Так и с другими заводами. Полное запустение. Вон та братия (показал глазами в сторону играющих в нарды) тоже безработная.

Тут Ладо еще более побледнел и как будто сник.

— Извините, я присяду. В глазах потемнело. С утра ничего не ел. Болезнь проклятая одолевает.

Он присел на каменную плиту — обломок от ограды сквера. Это привлекло внимание американки, она встрепенулась.

— Как ваша фамилия? — спросил он меня.

Я назвал.

— Совсем как у героя Марселя Пруста в романе «Du cote de chez Swann», — сказал он задумчиво и снова посмотрел вдаль, в конец улицы.

Неожиданно громыхнул капот. «Готово, можно ехать!» — произнес торжественно Серго. Мне показалось, что Ладо встревожился. Дайан спросила меня на английском, удобно ли подарить молодому человеку с десяток долларов. Проект предусматривал подарочный фонд для респондентов. Ладо мягко снисходительно отказался от подарка.

— Было бы неплохо, если бы вы прислали мне из Тбилиси батарейки для транзистора. Мои совсем уже сели, — обратился он ко мне.

Наш форд развернулся. Через поднятую им пыль была видна худая фигура молодого человека. Он стоял, опираясь левой рукой на ограду.

— Уж лучше бы он слушал грузинское радио и работал на винограднике, — заметил Серго.

Дайан сидела раскрасневшаяся, явно ничего не понимала.

— В кои веки сюда заедет француз, — подумал я.

Сексуальный скандал

Я давно уехал из городка и живу далеко от этих мест. Сегодня в Интернете прочитал новость — в городке произошел инцидент международного значения. У бразильского футболиста-легионера, который играл за местную команду, вернее, у его жены, произошли неприятности. Она увязла в сексуальном скандале! Даже дом сфотографировали, предавалась «изошренному сексу». Дом я узнал. В свое время он принадлежал директору гастронома. Улицу тоже вспомнил. На ней жила моя учительница. Я подумал, как изменилось время — бразильцы играют в грузинской провинции, а их жены путаются с тамошними «мачо».

Между тем, моя память хранила другой скандал. В Интернет он не попал, но общественное мнение городка взбудоражил.

Всю свою жизнь этот субъект мучился проблемой. Он предпочитал бы иметь прозвище, но не такое затейливое имя, каким его наградили родители.

— Назвали же отец и мать моего старшего брата Георгием! — сокрушался Силипистро.

Его племянники, дети Георгия, отличались желчными характерами. Ему, робкому, как кролик, приходилось терпеть их выходки. К примеру, пассажи типа: «Силипистро-сифилисто!» Как правило, происходило это во время просмотров телепередач. Тогда телевизоры были редкостью, и родственники собирались у старшего брата.

Впрочем, племянники исходили ехидством не только по поводу дяди. У них была страсть — когда смотрели фильмы по ТВ, то болели за отрицательных персонажей. Страдания положительных героев вызывали у них

хихиканье. Даже оставшись наедине, каждый из них по отдельности не мог совладать с обуявшим их бесом. Чем еще объяснить «выкидон» младшего из них — Тенгиза? Дома, в одиночестве, маясь от безделья, он не придумал ничего лучшего, как поверх майки и трусов облачиться в тулуп, натянуть на голову цилиндр, на голые ноги натянуть резиновые сапоги. Для пущей живописности этот тип вооружился двустволкой. В таком виде он встретил дядюшку, который зашел присмотреть за племянничком. При этом Тенгиз едко улыбался, издавал идиотские звуки. Ерничал. Дома Силипистро рассказал жене о дурацком наряде братнего сынка, особенно то, как торчал ствол ружья.

— Мне кажется, что твой племянник — онанист, — сделала неожиданное заключение жена.

Силипистро специализировался по сельскому хозяйству. Как-то его жена поделилась с нами по-соседски — дала нам пучки чая, прямо с плантации. «Муж с работы принес», — сказала она.

Ламара, его жена, была весьма некрасивой особой. Долго гадали, что заставило Силипистро, мужчину с вполне презентабельной внешностью, на ней жениться. Соседи перебрали много вариантов. Ни один не убеждал.

У них был сын Симон. Несносные кузены наградили его прозвищем — Лококо, по-грузински «улитка». Мне же казалось, что он был похож на маленького старичка — не по годам задумчивый, сутулый, молчаливый. Его почти не замечали на улице. Иногда только, когда парнишка вдруг улыбался. Это означало: «Сейчас что-то скажет!» Все замолкали в ожидании, настораживались. Лококо говорил мало, но веско, как про то, что его двоюродный брат Тенгиз — онанист. Симон подслушал тот самый разговор родителей и устроил месть обидчику. Сплетня о Тенгизе продержалась долго и отличалась «ехидством».

С некоторых пор Силипистро затаился. В его робкий кроличий взгляд примешалась хитринка. Что у Силипистро завелись деньги, можно было догадываться по тому, как часто к нему стали навещать воры. После того, как Силипистро пытались обокрасть в третий раз, все решили, что такое не происходит по ошибке. Рассказывали, что во время последней попытки грабители застали Силипистро дома. Он спрятался от них в туалете. Сидел тихо. Непрошенные гости знали, что хозяин в туалете. Их устраивало то, что он молчал и не мешал. Они переворошили всю квартиру. Без результата. Под конец стали стучаться в дверь туалета, распрашивать Силипистро, где тот прячет деньги. Они испугались и разбежались, когда из-за дверей туалета донесся вопль. Как будто кого-то насильовали.

Дело в том, что Силипистро пошел в гору, его стали повышать в должности. Семейство купило телевизор, и не какой-нибудь «Рекорд», а «Огонек». Эту марку почему-то хвалили в то время.

Более того, чаевод обзавелся «Москвичом-412». Он восседал за рулем, и выражение его лица оставалось при этом неизменным — совсем нерешительным. В городке живописали «лихаческие замашки» Силипистро. Например, он впадал в панику, когда показатель спидометра достигал отметки «60 км». Однажды он предложил своему братцу подвезти и получил отказ, потому что Георгий спешил на работу. Эти байки шли от племянников. На этот раз они завидовали своему некогда бедному родственнику.

Тихой сапой он дослужился до начальника. Весьма крупного.

Произошел случай, когда Силипистро «споткнулся», и вроде как на ровном месте.

В городке среди домохозяек бытовало мнение, что «порядочный мужчина» не интересуется женским полом. Именно поэтому Силипистро считали за приличного человека, верного своей супруге. Ему было уже под пятьдесят, и ничто, казалось бы, не могло подорвать его репутацию.

Однажды его рука, как говорят грузины, дала себе волю и ущипнула секретаршу. Чувство вины было столь сильно, что Силипистро рассердился, будто не его рука позволила себе оплошность. Секретарше стало даже неудобно за себя, за свою столь привлекательную ягодку. Другой раз он сбивающимся от волнения голосом попросил разрешения приложиться к свежей розочке, которую приладила себе на лацкан сотрудница. В этот теплый весенний день она позволила себе легкий костюм, немного открытый. Сначала коллега удивилась просьбе, потом весело выпростала цветок из лацкана и передала начальнику. Но когда осознала, что все это могло означать на самом деле, вспыхнула...

Люди вокруг были понимающие. Дескать, климакс у человека. Один местный остряк даже заметил:

— Поставьте себя на место Силипистро. Просыпаетесь ночью, а рядом Ламара. И так всю жизнь.

У этого шутника водились карты в виде переснятых эротических фоток. Во время перерыва мужчины, закрывшись в кабинете, играли ими в очко. Боялись, как бы женщины их не застукали. Силипистро не звали. Из приличия. Начальник, как-никак.

Количество «шалостей» росло и достигло критической массы. В одно прекрасное утро Силипистро шепнул некоей даме на ушко двусмысленность. В этот момент он напоминал хорька, выследившего одинокую курочку. Особа зарделась и наградила начальника пощечиной. После звучной пощечины скандал было уже не замять.

Состоялся товарищеский суд, после которого по просьбе коллектива директора освободили.

Ламара никак не могла поверить в случившееся. Симон, который к этому времени повзрослел, стал юристом, поставил под сомнение повод для собрания. Мол, факта сексуальных домогательств не было. Старший брат Георгий и его семейство были в своем амплуа. Тенгиз говаривал своему отцу: «Балует твой братец!»

После такого случая женщины в городке изображали оскорбленную добродетель. Разговоров было много, и их хватило на несколько лет...

Бедный Силипистро запил.

Наследство от идиота

В одном просвещенном московском обществе я принял участие в салонной игре. По очереди назывались фразы, означающие «смерть». Запнувшийся выбывал. Мне, технарю, было трудно угнаться за филологами. Выражения типа «ушел в мир иной», «преставился», «отдать концы», «протянуть ножки», «отбросить копыта», «сыграть в ящик», «дать дуба», «почить в бозе» казались им тривиальными, и они снобистски морщились. Игру продлеvalo обстоятельство, что компания была многонациональная и допускались переводы на русский. Но и эта поблажка не помогла мне, и я долго оставался в аутсайдерах. Одна дама-лингвист записывала новые для нее обороты.

Вдруг меня осенило, и я произнес: «Ке-ке». От неожиданности все смолкли. Потом спросили перевод, кое-кто засомневался, вообще слово ли это.

Та самая лингвист, что записывала, заметила: «Знаю я эту вашу кавказскую гортанную или фарингальную согласную». Затем без запинки и правильно произнесла на грузинском: «Бакаки цкалши кикинебс», что означает: «Квакушка квакает в аквариуме». Видимо, она — хороший специалист, подумал я. Но в свой блокнот «специалист» мою фразу не внесла. Между тем, с этим «неологизмом» связаны истории.

Слово изобрел Важа — местный дурачок. У него была инфантильная речь, что доставляло ему немало неприятностей. Однажды мужчины играли на улице в нарды, когда вдруг принесли весть, что скончался столетний дядя Ваню. Возникла некоторая заминка. И тут Важа произнес: «Ваню ке-ке!» «Слово» прижилось. У нас, в одном из кварталов тбилисской Нахаловки, оно считалось интернациональным. Правда, русским произносить его было труднее из-за этого «к».

Что ни говори, такие, как Важа, нужны! Можно было «прикинуться» Важей, куролесить, лепетать, как дитя. Но безвозмездно ли?

Этим вопросом одним из первых задался наш сосед Бежан, когда ему стало совсем плохо. Он долго корил себя за то, что злоупотреблял алкоголем. Но потом друг на него нашло — он наказан.

Случилось это в тот день, когда умер Роберт, молодой парень. Тот страдал от безжалостной болезни и скончался в больнице. Позвонили соседке. Женщина вышла из своих ворот на улицу и со слезами в голосе сообщила новость. В это время Бежан с другими мужчинами играл в домино. Он выигрывал и пребывал в хорошем настроении. «Роберт ке-ке!» — вырвалось неожиданно у Бежана. Но этого никто не заметил, потому что остальные мужчины всполошились и подошли к соседке. Бежан с костями домино оставался сидеть.

Через некоторое время у Бежана стала побаливать печень, пропал аппетит, появилась слабость. Он вынужден был оставить работу в таксопарке. Вдруг начал расти живот... Врачи установили — цирроз.

Он лежал в постели, когда в голову стукнуло: «Бежан ке-ке!» Стало обидно. Он позвал жену и попросил подвести его к окну посмотреть, что там на улице. Как всегда, под летний вечер мужчины играли в домино, бегали дети. Ему мерещилось непрекращающееся: «Ке-ке-ке!» Будто гуси гогочут.

Был случай, когда слово стало причиной убийства.

Петре ненавидел своего старика-тестя. Он называл его «пердящей субстанцией». Филиппе (так звали отца жены), в свою очередь, считал зятя неудачником — «умным дураком» или «дурным умником». Тот был единственным, кто имел высшее образование из всех живущих в убане, но зарабатывал меньше шоферов, работников прилавка, которые преобладали в соседском окружении. Бесило Петре то, как Филиппе чавкал во время еды, но особенно то, как произносилось им одиозное «ке-ке». «Каркает, как ворон!» Ему становилось жутко, когда представлял себе картину: он умер, а Филиппе говорит на улице: «Мой зять ке-ке!»

Петре действительно смертельно заболел.

В то мартовское утро он сидел на скамейке в садике. Он ослаб. Сидел укутавшись в пальто. Филиппе ковырялся в земле, подкапывал виноградник. В какой-то момент Петре послышалось старческое брюзжание, дескать, у людей зятя как зятя, а ему — старику, самому приходится в саду ковыряться. Больной разнервничался, в нем поднялся гнев. Он схватился за садовый нож, встал, качаясь, и с воплем «ке-ке!!!» направился к тестю...

Следствие списало убийство на временное помутнение разума больного. Петре что-то лепетал, как Важа. Сам он скоро умер. Его похоронили в деревне, далеко от этих мест.

Однажды я услышал это sacramентальное слово в женском исполнении. Моя соседка — врач. У нее жила сестра, приживалка и старая дева. Однажды по просьбе хозяйки я возился у них на кухне, чинил кран. В это время докторша принимала пациентку, обследовала ее грудь на предмет опухоли. Слышу, как она сказала женщине, мол, снимок сделай, на ощупь что-то есть. Стукнула дверь, ушла пациентка. Тут приживалка торжествен-

но и радостно выдала: «С ней ке-ке, так ведь?» Обе злорадно захихикали. Пикантности ситуации прибавляло то, что пациентка приходилась сестричкам подружкой.

Я помню Важу постаревшим и забитым. Вольности, которые ему позволялись, не делали его счастливым. Этот идиот всегда страдал. Он, может быть, не помнил, что одарил Нахаловку таким словом. И вот в Москве я про него вспомнил.

Совсем недавно тоже...

Мне с сотрудниками довелось поехать в Мегрелию на похороны родственника нашего начальника. Мегрельцы вообще отличаются большой изобретательностью по части разных церемоний. И на этот раз нас ожидал «сюрприз». Когда мы вышли из автобуса и, понурые, направились к воротам, то у самого входа столкнулись с портретом пожилого мужчины в натуральный рост. С полотна на нас сурово смотрел человек в сером костюме. Его правая рука отделялась, торчала, преодолевая двухмерность изображения, — ручной протез. Рядом стоящие родственники плачущим голосом (женщины голосили) разъясняли прибывающим, что покойник любил встречать гостей у самых ворот и всегда подавал им руку. Среди людей в трауре я увидел мужчину, правый рукав костюма которого был пуст и заправлен в карман. С жутким чувством я пожал протез. Одной из сотрудниц стало дурно. Пришлось объяснять присутствовавшим, что она очень близко была знакома с усопшим...

Но вот церемония закончилась. Мы вернулись с кладбища. Зашли в разбитую во дворе палатку, заставленную столами. Помянули вином умершего. Когда мы выходили из палатки, «под мухой», качаясь, увидели, как мимо нас на тележке провозили портрет. Уже без «руки». Что-то знакомое вдруг послышалось. Плохо смазанные колеса тележки издавали «ке-ке-ке».

Кстати, под конец той самой салонной игры в Москве кто-то предложил перебрать словесные обороты, синонимы слова «жизнь». Увы, таких не нашлось.

Шурик

Русских в городке было мало, и их дети тучностью не отличались. Один только Шурик. Грузинские прозвища типа «хозо», «дундула», «бекке» к нему не прилипали, русские тоже. Шурик сам по себе был приметной личностью.

К примеру, он оказался единственным из зала, кто откликнулся на приглашение заезжего факира принять участие в аттракционе. Фокус шел своим чередом — «смельчака из зала», как его назвал артист, уложили в ящик. Когда факир и его команда демонстрировали залу, какие у них острые пилы, Шурик вдруг начал тихо обреченно всхлипывать. По его толстым щекам текли крупные слезы. Когда фокусник обратил на него свой взор, вначале даже не понял, что происходит. Потом, догадавшись, сказал «смельчаку из зала»: «Иди, иди домой, мальчик!»

Однажды, заблудившись, через весь город проехала и остановилась у здания вокзала американская машина. Дело было вечером. Почти весь город бросился смотреть на чудо-юдо. Американские машины в городке можно было видеть только в будке чистильщика обуви — ассирийца. Мы подолгу заглядывались на яркие вырезки из иностранного журнала. Помню, как хозяин будки и этих картинок сказал нам: «Выучитесь, потом сможете купить такие автомобили». Но пока этого не случилось, мы стояли, обступив плотной толпой американскую машину — бьюик 1956 года выпуска. Те, кто сидел в салоне, мешкали в неуверенности.

Но вот из окна высунулся небритый мужчина в шляпе и с армянским акцентом спросил, как проехать до «Эрэвана». С таким же успехом можно было спросить, как из нашего городка добраться до Парижа. Тут вступил в свою роль Шурик: «Дяденька, вы американец?» Мужчина как будто испугался и начал доказывать, что он — «советский армян». «А почему странные вопросы задаете?» — не унимался парнишка. Голова мужчины тревожно задвигалась, а потом скрылась в салоне. Суматошно заработал мотор, толпа расступилась, и бьюик рванул с места. Мы смотрели ему вслед и прикидывали, какая у него скорость. А те, в салоне авто, наверное, находились под впечатлением — в вечерней темноте в маленьком грузинском городке их обступила толпа, которая странно молчала, а вопросы задавал только толстый русский мальчик.

Когда Шурика обижали, он впадал в неистовство, краснел, начинал мельтешить, всем своим видом обещал страшную кару обидчику, потом, переваливаясь с боку на бок, бежал в сторону дома. Возникало ощущение неотвратимой мести. И вот появлялась... бабушка Шурика. Она была из того рода особ, которые склонны к ненормативной лексике и курят. С палкой в руках они гоняют обидчиков их внуков. Некоторое время она водила внука в школу. Как-то им дорогу переградила свора собак. Помню, как бабуля бросала в псов камни... Она умерла. На панихиде ее дочь, Надя, сидела молча. Внучка была маленькой и ничего не понимала. Необычным было поведение Шурика. Он плакал навзрыд, причитал, несколько раз припадал к гробу. «Даже окропил своими слезами покойницу!» — сделали наблюдение присутствовавшие. Страдания подростка были так неожиданно сильны, что всполошившиеся соседи вызвали карету «скорой помощи». Бедняге сделали укол, после чего он, красный как бурак, сидел в углу и глубоко, «от сердца» всхлипывал. Женщины городка при упоминании того случая принимали серьезный вид и многозначительно кивали головой.

Внешне Шурик был похож на мамашу — «купчиху» с картин передвижников. Так назвал ее один знакомый нашего семейства. В городке он считался образованным человеком. Знал много слов. Помяная купчих и передвижников, он сплетничал о матери Шурика. Мнение, которое при этом высказывалось, было широко распространенным в городке.

Надя чинно гуляла с маленькой дочкой, такой же полной и холеной. Мать одевала Шурика не без претензий. Однажды он заявился в школу в салатového цвета костюмчике, элементом которого были бриджи. Наряд Шурика произвел впечатление. В тот день его шуганул школьный сторож. Шурик долго стоял у дерева и стучал по стволу камешком — давил муравьев. Его лицо было умиротворенным. Из благостного состояния шалуна вывел окрик сторожа. Нельзя сказать, что сварливый старик сделал это из педагогических соображений. Скорее его шокировал вид белобрысого «хозо», облаченного в салатовые бриджи.

Как-то я и другая ребятня стали свидетелями сцены — почти в центре города Надя лежала пьяная в сугробе, а какой-то вахлак чертыхался, запутавшись в ее нижнем белье. «Смотрите, пионеры, комсомольцы!» — кричала она не без надрыва и истерично похохатывала. Шурик и его сестра стояли поодаль. Брат плакал и приговаривал: «Не надо, мама!» Девочка же ничего не понимала. Мы быстро-быстро ушли от того места. Все это было больше похоже на сумасшествие, чем на разврат.

Во всяком случае, никто не знал, кто был отцом или отцами Шурика и его сестры. Об этом ему напоминали... и в праздники, и в будни. В таких случаях несчастный багровел.

...Стоял чудесный первомайский день. Мы собрались во дворе школы. Были вынесены все находившиеся в распоряжении школы праздничные

транспаранты, лозунги, портреты руководителей партии и государства. Директор лично распорядился не выносить портрет Хрущева, которого уже освободили от должности. Шурик вызвался нести самый крупный транспарант.

Школа находилась за городом, так что до центральной трибуны надо было еще дойти. И вот, задавая ритм, забил барабан. Колонна растянулась, наш класс замыкал ряды, поэтому дробь барабана слышалась издалека. Периодически она прекращалась, шествие останавливалось, что начинало надоедать. Были такие, что начали позевывать. Только учителя не скучали, они носились вдоль колонн, наводили порядок.

Но вот во время одной из очередных остановок вдруг оживился Шурик. «Пока есть время, заскочим к Вовке!» — крикнул он нам. Мы еще не находились в черте города. По обе стороны дороги располагались частные дома с садами. В одном из переулков жил мальчик Вова. Бедняга умирал от саркомы. Последнее время он лежал в саду своего двора на лежанке. Его часто навещали. Наиболее прыткие из мальчиков во главе с Шуриком бросились в переулок — у кого знамя, у кого транспарант в руках. Один из них даже не поленился потащить портрет Косыгина.

Я остался стоять. Мне было страшно, больной был очень плох. В это время подскочил наш физкультурник. Запыхавшийся, он возопил: «Где остальные?» Глаза его вот-вот должны были выскочить из орбит. Напуганный, я ничего не смог ответить. Как назло, забил свою нудную дробь барабан... надо было двигаться. С физкультурником чуть не случился припадок, он в истерике начал топтать ногами и послышалось: «Политический демарш! Попытка сорвать демонстрацию трудящихся!!» В этот момент вернулись Шурик и его команда. Лица у всех были испуганные. На Шуру налетел физрук. Маленького роста, он подпрыгивал всякий раз, когда пытался ударить «саботажника» по лицу. «Я тебя за провокацию пошлю куда надо!» — шипел педагог...

Когда мы проходили мимо центральной трибуны, на русском языке в наш адрес кинул лозунг первый секретарь райкома: «Да здрасти савецки молодож!», а мы ответили: «Ура-а-а!» Весьма нестройно. Внимание привлекал Шура. Он шел впереди нас со своим транспарантом, с багровым цветом лица, заплаканный. «Кто этот жирдяй? Да-да, Надин сын! Знаете такую проститутку, б..?» — слышалось из толпы, стоявшей вокруг трибуны. Смешки и шепот дошли до секретаря. Его лицо посуровело. Возможно, ему было обидно за мальчика, а может, посчитал, что нести транспарант должны были доверить не этому школьнику. Что думал Шура? Не исключено, что на него подействовали угрозы физкультурника и он боялся. Или до него дошли разговоры в толпе. Или он переживал за Вову, умершего под утро, ночью. Монотонно бил барабан.

Я уехал из городка. Поступил в университет, на журфак. В один из приездов видел Шурика в городском саду. Он сидел на скамейке и жмурился от солнца. Меня он увидел и бросил: «Журналист!» Было в этом некоторое благоговение перед казавшейся ему романтической профессией и ребячество, желание слегка поддразнить.

...Это было лет тридцать назад. Вчера в вагоне Тбилисского метро я обратил внимание на одного полного русского мужчину. Он общался со знакомыми и походил на человека, любящего поговорить, падкого на фразу. Времена были тяжелые и мрачные. Как ни странно, именно тогда у некоторых людей открылся вкус к словесам, талант к фразерству, особенно на невеселые темы. Рядом с Шуриком сидела молодая белокурая женщина, полная, с узким разрезом глаз. Неужели сестра? Она тревожно-заботливо поглядывала на братца, зная о его страсти поговорить. Им надо было выходить на следующей станции.

Приятель

Мой брат был темнокожим, кучерявым, а я пошел в дедушкину породу со стороны матери (так говорила бабушка) — белокурый и голубоглазый. Однажды на базаре я играл в футбол с мальчишками. За нами наблюдали двое русских мужчин с испитыми физиономиями. Таких в городке называли бродягами или босяками. Слово «бомж» в то время не было в ходу. Они — горестные остатки войны, прибыли сюда на «юга». Самые здоровые из них дотянули до конца 50-х. На местный металлургический завод их не брали. Куда им, доходягам и алкоголикам! Они подрабатывали на базаре носильщиками.

В какой-то момент мяч вышел из игры и оказался у одного из них. Я подбежал и попросил мяч. «Вась, Вась, — воскликнул один из них, — смотри, русский мальчик!» — толкнул он прикорнувшего подельника. Он был серьезным и даже торжественным в этот момент. «А вот еще русский мальчик, — сказал я, показывая на другого мальчика, — а вон — еще». Мужчина оценивающе посмотрел на других русских мальчиков и пренебрежительно махнул рукой. Почему-то тогда ему хотелось, чтобы его кровей был только я. На его лице отпечаталось достоинство, какое люди его типа редко себе позволяли. Наверное, когда вспоминали лучшие деньки.

Мы боялись бродяг. Их угрюмости. Наш дом находился в центре городка, построенного еще немецкими пленными. Когда я и брат заходили в подъезд, то старались бегом пронестись мимо лестничного пролета, ведущего вниз, в подвал. А когда поднимались на четвертый этаж, стучали со всей силы в дверь и не смотрели на лестницу, ведущую вверх, на чердак. Там тоже могли находиться бродяги. Их гоняла милиция. Экзекуции всегда сопровождалась воплями и битьем.

Поэтому бродягам приходилось жить на «отвале». С металлургического завода вывозили шлак — валуны в форме вагонеточной ванны, пылающие жаром, черно-красного цвета. Обитатели отвала в это время обживали другие валуны, «уже отходящие», в метрах двадцати. Они присматривались к новым. Рассчитывали, что шлак станет приемлемо теплым через три-четыре дня. Зимой ждали меньше. Так шлакохранилище по мере, как оно росло, вводило этих бродяг дальше и дальше от города. Некоторые из них умирали по дороге в город. Из-за дистрофии.

Но иногда смерть бывала другой. Когда валуны охлаждались, из-за какой-то деформации они обваливались или поворачивались с боку на бок, давя обитателей завала. Слышно было, как несчастные кричали, потом постепенно замолкали, умирая. Спасти их было невозможно. Тогда не имелось такой техники. И не протиснуть ее было по узкоколейке паровозика, тянувшего за собой вагонетки...

Но вот однажды у нас завелся дружок из бродяг. Звали его Николай. Раньше его никто не видел. Он был таким же грязным, обросшим. Но не наблюдалось в нем угрюмости, характерной для его братии. Николай привлек внимание тем, что однажды на улице, встав как по команде «смирно», отдал честь моему отцу, когда тот выходил из американского джипа. «Честь имею, товарищ полковник!» Папа вяло ответил ему и спросил, какого звания и где служил Николай. Тот был старшим лейтенантом и служил в том же роде войск, что и мой родитель, — в ПВО. Отец немного подумал, а потом приказал Николаю следовать за ним...

Мать была не в восторге от такого гостя. Но я помню, он весь вечер старался держать военную выправку. Ему накрыли небольшой стол. Под конец мужчины развеселились и вспоминали потешные случаи из военных будней. Папа рассказывал, как во время занятий расчет, которым он коман-

давал, умудрялся дуплетом сбивать две цели. «Вторую прямо почти на уровне травы!» Николай вспоминал, как их накрыли «юнкерсы»:

— Налетели вдруг, как стервятники, пока мои по местам рассаживались, нас землей засыпало от взрывов. Через часов пять всех по одному выкопали.

Здесь гость сделал паузу. Заметил как бы про себя: «А чего старались!» У папы изменилось выражение лица, и он сказал, что Николаю «пора уходить». Тот послушно встал, хотел было вытянуться в стойку «смирно», но нетерпеливый жест отца предупредил его желание. Мать набрала в сумку съестного гостю. Потом она долго проветривала комнату.

Через некоторое время мы встретили его на улице. Нас, меня и брата, вела за руку мать. Николай весело подмигнул мне и брату.

Через неделю он, видимо, измученный голодом, попытался прийти к нам в гости. На робкий стук в дверь ответил папа. Николай чувствовал себя совершенно уничтоженным. Отец отвернулся от него, слегка прикрыл дверь. Он молча набрал припасов и, не произнося ни звука, передал их Николаю. Когда тот начал раболепно благодарить за съестное, дверь перед ним захлопнулась.

Когда он пришел в третий раз, ему уже не открыли.

Но с нами он сдружился. Вокруг него собиралась ребятня. Нико (так мы его звали) умело показывал фокусы, рассказывал про войну. Особенно он благоволил мне и моему брату. Мы приносили ему наши школьные завтраки. Так поступали и наши товарищи. Однажды, когда мы шли по улице с матерью, Николай, как обычно, весело окликнул нас: «Гури-Зури, Зури-Гури!» На самом деле меня звали Гурам, брата — Зураб. Тут моя мать первый раз улыбнулась при встрече с ним и спросила про здоровье. Николай онемел и только потом выдавил из себя:

— Спасибо!

В следующий раз я и брат наблюдали сцену, когда на улице пьяного Николая избивал милиционер. Мы оба разом посмотрели на мать, помочь ведь надо. Но она промолчала. Николай увидел нас, и мне показалось, ему было страшно стыдно. Он сник, лежа на земле, никак не реагировал на тычки сапог милиционера. Лицо закрыл руками. Переждал, когда мы пройдем мимо.

А однажды Николай пропал. В городе его не было видно. Потом мы догадались пойти на завал. Родители строго запрещали туда ходить. Это место считалось страшным. Но мы — шесть мальчиков — рискнули. Как всегда, набрали школьных завтраков. Купили даже несколько пончиков... Стоял апрель. На завале было тихо, ни одной живой души. Два гребня яйцеобразных и расколовшихся шлаковых валунов (они были черно-зеленого цвета) тянулись параллельно узкоколейке. Мы знали, что «кукушка» с завода с вагонетками появляется здесь ночью. Сами же обитатели днем уходили в город. Мы начали кричать: «Нико, Нико!» Долгое время никто не отзывался. Потом до нас донесся слабый голос. Мы бросились по направлению, откуда шел голос. Потом мы увидели изможденную фигуру человека, неловко спускавшегося с валунов к узкоколейке. Это был Николай.

— Сюда нельзя, — бросил он нам, — ногами можно провалиться. Лучше я сам спущусь.

— Мы тут принесли тебе еды, — сказал я. Он долго не мог отдышаться.

Николай сидел на шпалах и медленно жевал пищу. Смотрел куда-то вдаль. Легкий ветерок теребил его шевелюру.

— Хорошо здесь, в Грузии. Небо всегда голубое. Вон валуны даже поросли травой, кузнечики стрекочут. А вы на камни не садитесь и на рельсы — тоже. Все тепло из вас вытянут, простудитесь, как я.

Прошло полгода. Наш приятель реже стал появляться в городке. В один пасмурный февральский день распространилась весть, что на хранилище опять обвал. Подмяло несколько бродяг. Мы побежали туда. Милицionеры из оцепления не пускали нас. Пришлось сделать крюк и так обойти оцепление. Где-то в этом месте жил Нико. Смотрим в расщелины и ничего не видим. Кое-кто даже плакать начал. Нико услышал нас. Что-то говорил непонятное. Вдруг его голос, набравшись сил, выдохнул, как из преисподней:

— Счастлив я, что кто-то меня оплакивает, бедолагу!

Через лет десять завезли технологию. С ее помощью при переплавке из кремня даже золото стали добывать. От «отвала» ничего не осталось. Бродяги к тому времени уже все умерли.

Свадьба

Можно было пронестись по трассе и не заметить, что проезжаешь город. Вдоль шоссе — сплошь деревенские подворья, огороженные железными заборами, огороды, сады, лениво слоняющиеся домашние животные. О том, что это все-таки город, а не село, свидетельствовало типовое здание бывшего райкома — атрибут всех районных центров Грузии. Сейчас здесь управа. В ней работает каким-то начальником мой университетский однокашник Серго. Он проживает поблизости от этого здания — сверни только с шоссе, метров пятьдесят по грунтовой дороге, и ты у ворот, украшенных в стиле барокко.

Там, где жил Серго, всегда пахло прокисшими виноградными ягодами. Запах исходил от единственного здесь промышленного предприятия — винного завода. Хотя, по рассказам Серго, был на окраине городка еще и маленький механический завод. Ныне он в развалинах. Воспользовавшись перестройкой, заводик разграбило местное население...

Мой друг справлял свадьбу дочери. Я подоспел к самому началу. Хозяин был поглощен приготовлениями и едва поздоровался со мной. Меня отдали на попечение одному мальцу. Он помог пристроить мою «Волгу» в соседском дворе. Мы возвращались пыльной улицей, вдоль заборов, над которыми свешивались еще неспелые яблоки. Я видел — то там, то сям меж веток яблонь роились пчелы. Но их не было слышно, потому что над городком надолго зависла высочайшая истерическая нота — где-то резали большую свинью. Когда мне стало казаться, что бедное животное мучают, истошный вопль вдруг оборвался. Совсем равнодушные к этому воплю, не жились в канавах по обочинам дороги в черной вонючей грязи другие свиньи.

Серго встретил меня у ворот, с укоризной глянув, что, мол, так долго, и повел к столу, где сидели жених и невеста. «Помнишь батони Нодари? Он тебе постоянно «Барби» привозил», — сказал Серго дочке. Заметно было, что она не помнила, хотя вежливо улыбнулась. Девушка и ее жених мне понравились. Серго усадил меня за один из столов и с некоторой строгостью в голосе попросил сидящих там мужчин присмотреть за гостем. «Будь спокоен, Геронтич!» — ответили ему, и тот поспешно удалился.

Столы в три ряда были накрыты на лужайке перед опоясанным верандой домом под вековым ореховым деревом. Ряды были такие длинные, что невозможно было докричаться с одного конца до другого. Тем более что стоял обычный для таких торжеств гомон. Но вот вперед выступил Геронтич и натруженным голосом, срывающимся на фальцет, предложил избрать тамадой Хвичу Г.

Свадьба началась.

Я давно подметил, что в подобного рода церемониях не обходится без доли цинизма. И чем дальше от эпицентра, тем он явственнее. Однажды, во время поминок моей бабушки, я случайно подслушал некоторые подробности из ее почти столетней биографии. Мне не хотелось устраивать скандал, но я понял, что если и бывают драки на празднествах или поминках, то нередко из-за подслушанного грязного разговора или двусмысленного тоста. Здесь, на свадьбе, мы составляли периферию, и народ, кроме того, что неумеренно много ел и пил, еще и сплетничал направо и налево. Так я узнал, что Хвича Г. — бывший вор в законе.

— Настоящий воровской авторитет не для Геронтича. Этого Хвичу развенчали еще лет двадцать назад в тюрьме. Пуп ему вырезали, теперь он — просто-напросто барыга, — сказал, хихикая, толстяк, сидевший напротив. Он был бы не прочь пройти еще по адресу Серго, но покопился на меня и замолк. Тут встал его сосед Ростом и, слащаво улыбаясь, присоединился к здравицам в честь избранного тамады и одновременно, как актер в театре, говорящий в сторону ремарку, чехвостили тамаду на потеху сидящим рядом. Ничего не ведающий Хвича Г. энергично раскланивался, посылал во все стороны воздушные поцелуи, что создавало «комический эффект».

Свадьба шла своим чередом, когда наступила небольшая пауза, даже прекратили музыку. Заглянул важный гость — огромный тучный мужчина с холеным лицом и усами. Серго подбежал к припозднившейся персоне и подвел к столу, где находились жених и невеста. Гость одарил молодых, потом повернулся к «общественности» и спросил во всеуслышание, как ей нравится вино. «Батоно Ваню! Батоно Ваню! Спасибо, спасибо! — слышались подобострастные возгласы. Довольный «батоно Ваню» попрощался и, несмотря на протесты хозяина и гостей, торжественно удалился. «Главный отравитель! — слышался мне игривый шепот сбоку, — сколько народу своим суррогатом извел!» Насколько я понял, батоно Ваню был директором винзавода.

Признаться, у меня отсутствовал аппетит. Слегка ныл желудок. К тому же, было обидно за Серго. Невысокого роста, он хлопотал, суетился, а один раз даже чуть не споткнулся, что вызвало недоброжелательное оживление моих соседей за столом. Захотелось прогуляться. Закуривая, я направился по дорожке, мощенной осколками мрамора, к воротам. Меня опередила быстроногая девчушка. Она несла накрытый бумагой таз, явно с пищей, и сумку с бутылками.

Улица, залитая солнцем, была пустынной. Смотреть не на что — те же заборы, сады... Быстроногая девочка куда-то спешила. Из любопытства я последовал за ней. Она несколько раз свернула и потом уперлась в полуразрушенную каменную ограду. Видимо, здесь находился упомянутый механический завод. Сквозь зияющие проломы в ограде виднелись опрокинутые вагонетки, раскуроченное оборудование, покоящееся в разросшемся бурьяне, в глубине двора корпус с пустыми глазницами окон. Место казалось тихим и прохладным. «Вася, Коля!» — позвала девочка. Из зарослей бурьяна появились два существа — в оборванной одежде, обросшие, грязные. Типичные бомжи. Один из них раболепно протянул руки через пролом в ограде. «Это вам угощение от Серго Геронтича», — на ломаном русском объяснила она. Те в знак благодарности закивали головами и затем скрылись с харчем в кустах. Девочка, увидев меня, наблюдающего за всем этим на расстоянии, улыбнулась и сказала: «Они — бывшие рабочие завода. Есть еще третий. Он — инженер. Бедняга спился окончательно и заболел, лежит где-нибудь под кустом». Некоторое время мы шли рядом, потом девочка поспешила обратно на свадьбу («Много дел! Мать заругает!»), я же замедлил шаг.

Возвращаться не хотелось. Уже на некотором удалении от ворот Серго я вовсе остановился. Два перепивших-переевших гостя окропляли, а третий облеивал забор хозяина свадьбы. Я стоял и не знал, в каком направлении идти. Вдруг почувствовал, что эту сцену наблюдает еще кто-то. Когда обернулся, увидел пожилую женщину с зонтиком. Помню, у него был заостренный конец. Она смотрела с нескрываемым презрением. Ее внешность была необычной для этих мест — пожилая женщина напоминала заблудившегося интуриста. Вдруг последовало:

— Schande! Sie schamen sich sogar vor einem alten Menschen nicht!

Меня передернуло, фраза на немецком была выговорена чеканно и так, как говорят в Северной Германии. Я мог поручиться за это как специалист немецкого.

— Ты посмотри на Веру, опять на немецком базарит! — воскликнул один из писающих.

— Кто знает, на каком языке она базарит, может быть, на тарабарском. Старческий маразм у нее! — ответил другой, уже заправлявший брюки. Обоих сильно развезло.

— Achten Sie nicht darauf, Frau, — сказал я ей. Она резко повернулась и пошла прочь. Я некоторое время смотрел ей в спину. Походка выдавала возраст (она даже опиралась на зонтик), но в ней чувствовалась энергия гнева.

Сославшись на дела, я попрощался с Серго и уехал. Он был недоволен.

Через шесть месяцев Серго приехал ко мне в Тбилиси. Дела его по службе в том городке не складывались, но его больше заботило здоровье дочери. Я сделал несколько звонков и устроил ее на прием к профессору из института Чачава. Потом мы посидели с Геронтичем за кружкой пива. Он продолжал обижаться за то, что я рано уехал со свадьбы.

— А как поживает фрау Вера? — неожиданно ввернул я. Геронтич несколько опешил, но потом осклабился и рассказал историю.

Тетя Вера прибыла в город вместе с заводом в 50-е годы. Работала библиотекарем, пока библиотеку не разворовали, как и завод. Кому нужны были старые книги, к тому же на русском языке? Она всегда отличалась строгим нравом и позволяла себе публичные нравоучения. Незамужняя, на старости лет тетя Вера вообще стала несносной. От репутации местной сумасшедшей ее спасало то, что люди знали, что она была справедлива в своем обличительном пафосе, который проявляла, невзирая на лица. У нее была мания — увидит на улице брошенную бумагу, подденет ее наконечником зонта и ищет кругом урну. Она впадала в бешенство, если сама урна была опрокинута. В последнее время объектом своих филиппик она выбрала брошенный на одной из улиц форд. Он принадлежал местному руководителю «Мхедриони», которого застрелили в этом автомобиле, о чем свидетельствовали дырки от пуль автоматов в его корпусе. Для старой женщины этот форд явился олицетворением беспредела, жертвой которого стали заводик и ее библиотека. Она ходила по инстанциям с требованием убрать «памятник безобразию». Над ее энтузиазмом только посмеивались.

— Откуда ее немецкий? — спросил я.

— Ты знаешь, Нодар, все время мы думали, что она русская. Но когда стала стареть, неожиданно перешла вроде бы как на немецкий. Так бывает у людей в старости, когда они вдруг начинают говорить на своем первом языке, — здесь Серго подлил мне и себе пива и продолжил: — Кстати, бедняжка недавно умерла. В один прекрасный день она совсем была вне себя от возмущения и пыталась сдвинуть с места форд. Сердце не выдержало.

— Так бывает, — заметил я. Потом мы перешли на воспоминания об университетском прошлом.

Кавалергард

Городок был вроде полустанка. Задние окна райкома смотрели на огороды. Дальше за ними — река, через которую был протянут веревочный мостик. Мальчишки раскачивали его, как качели, и прыгали в воду. На том берегу были только села. А еще дальше — горы. Типичный имеретинский пейзаж.

Напротив райкома находились здание вокзала, железная дорога. Вдоль нее тянулись шоссе и городок.

Территория маленького вокзала прорастала вездесущим сорняком, известным здесь под названием «уджангари». В пору цветения его грязно-фиолетовые колючие цветы издавали ядовито-сладкий запах, а мохнатые черно-зеленые ветки опутывались желтыми нитями. Однажды у вокзала притормозил литерный поезд «Москва—Тбилиси», который обычно во весь опор пронесся мимо. С возгласами «Какая прелесть!» высыпали на перрон русские пассажиры и в мгновение ока оборвали кусты этого отнюдь не декоративного растения. Начальник станции был доволен. Ему вменялось в обязанность выпалывать сорняк. А тут такой сюрприз — остановился московский поезд — и «уджангари» как будто не бывало!

Так вот, в этом городке было популярно фехтование на шпагах.

Подобное стало возможным после того, как сюда в начале 50-х годов приехал С. Он прибыл из Парижа транзитом через Гулаговский лагерь. Вернулся в края, где до революции его семейство владело имением. Поселился у сестры, белой как лунь незамужней женщины. На чудом оставшемся нереквизированным участке имения они обитали в старом барском доме, окруженном фруктовым садом. Жили на пенсию сестры — бывшей учительницы.

С. был настоящим князем, существом по тем временам музейным. Статный мужчина лет пятидесяти, с нафабранными усами, в шегольском кителе, в синих галифе, заправленных в яловые сапоги, разгуливал по улочкам городка. Этот реликт смущал население своей респектабельностью. Он был еще и любезен, а не просто вежлив, что пуще настораживало затюканных войной и режимом горожан. Дети шарахались, когда на улице С. протягивал им какое-нибудь лакомство. Как будто не было доверия пожилому мужчине с ясными голубыми глазами. Такие они у сумасшедших, маньяков или святых.

Однако хорошие манеры не располагают к тому, чтобы третировать его обладателя. К князю привыкли, более того — в несметном количестве обьявились родственники. Сказалась давняя страсть имеретинцев к реликвийным фамилиям. В тени векового орехового дерева, во дворе С. и его сестры, по поводу нескончаемых визитов накрывались столы. Брату и сестре помогал один зажиточный крестьянин, который жил в соседней деревне. Он присылал провиант, а его дочка крутилась на кухне. Делал это «по старой памяти» — некогда предок князя облагодетельствовал его родителей.

Не обходилось без скандалов — до обвинений в самозванстве. Со двора, обнесенного обветшалым забором, доносились реплики типа: «Как же, как же! Уж мне ли не помнить, что вы из крестьян и ходили в холопах у моего отца-барина!» Меньше всего сословную спесь выказывал сам хозяин.

Специально привезли из дальней деревни очень пожилую даму, которая приходилась тетужкой князю и его сестре. В наряде княгини старая женщина приехала на арбе, запряженной волами. Княгиня всплакнула, увидев князя, вспомнила его, совсем юного... Эта дама рассудила всех. Но количество родственников и соответственно гостей не перестало увеличиваться.

О прошлом князя знали мало. То, что С. — бывший кавалерист царской армии, вычислил Г. Он — тоже кавалерист, ветеран двух мировых и гражданской войн, скукоженный от многочисленных ран, угрюмый мужчина. У него был холодный жесткий взгляд. Говорили, что на фронте Г. «порубал» немало народу. Князь поприветствовал его, и не без торжественности. В ответ Г. только пробурчал про себя: «Знавал я таких артистов». В гости к С. он не набивался.

Говорили еще, что в молодости С. служил в Петербурге, что вдов и бездетен. О лагере он не рассказывал, так как имел обыкновение говорить только приятное. Но и о парижской жизни тоже не распространялся. Однажды во время застолья С. вспомнил было, что водил дружбу с художниками с Монмартра, но понимания не встретил. В ответ с двусмысленным хихиканьем один из «родственников» спросил, правда ли, что француженки красивые и доступные. Другой осведомился про Эйфелеву башню — мол, очень высокая? На этом парижская тема себя исчерпала.

Однако моментами, особенно после некоторого количества бокалов, хозяин вдруг переходил на «высокий штиль», говорил слегка «в нос» — с французским акцентом. Появление подобных «дефектов» в речи тревожило его сестру, и она тут же одергивала брата, тянула его за полу кителя. Она знала — почему.

Но хозяин все-таки «выговорился». Случилось такое, когда бдительная сестра удалилась на кухню и будто бы симптоматических изменений в речи не наблюдалось. Шел разговор провинциалов о политике. Несколько раз прозвучал непонятный для князя термин «фриц, фрицы». Он осведомился, что это такое, и узнав, о ком был разговор, пожал плечами и спокойно, как бы для себя, сказал:

— В Париже я дружил с немецким офицером. Он хорошо играл на рояле, писал стихи, и звали его Фриц.

...Как по команде, под разными предложениями один за другим торопливо стали удаляться гости. Когда из кухни вернулась сестра, то застала у стола пребывающего в одиночестве брата. Он сидел сконфуженный. Она ничего не сказала, только посмотрела на «легкомысленного» князя сурово, осуждающе, в духе тех нелегких времен. Потом спросила: «Надеюсь, ты не рассказал свою байку о том, как оказался в Париже?»

«Опала» продолжалась недолго. В одном из местных начальнических кабинетов прогремела фраза: «Оставьте в покое блаженного!» Исходила она от высокого начальника, который, что не могло быть секретом в городке, тоже подвизался в родственники князю.

Но нет худа без добра. С. обособился у себя во дворе. Он вдруг начал «проявлять интерес» к кустам кизила — обрезал их, тщательно проверял, насколько упруги и идеально прямы ветки. Для этого он приставлял ветку к правому глазу, а левый прищуривал. Потом следовал взмах: «вжик-вжик»... Иногда С. зычно произносил непонятные слова: «репост», «контр-репост», «пассе», «туше», принимал чудаковатые позы и с кизиловой палкой на перевес делал выпады.

Однажды, взобравшись на яблоню княжеского сада, все это наблюдал мальчик по имени Юза. Озадаченный происходящим, он невольно выдал свое присутствие. С. посмотрел на него снизу вверх. В руках он держал палку. Мальчик, известный в округе шалун, облазивший не один чужой сад, по своему опыту понял, что взбучки не будет. Но в какой-то момент, спускаясь вниз, замешкался, чуть было не передумал «сдаваться», ибо последовал неожиданный вопрос:

— Молодой человек, вы читали «Трех мушкетеров»?

Юза вообще не читал, и не потому, что был неграмотным. Возникло подозрение, что именно за это его намеревались поколотить кизиловой

палкой. Но куда было деваться. Неожиданно необычный хозяин протянул ему вторую палку и крикнул: «Защищайтесь, Рошфор!» Легким прикосновением своей «шпаги» он выбил из руки Юзы его оружие. Мальчик разинул рот от удивления. Князь показал ему глазами на кизилковую палку — мол, подними. Легкое прикосновение — и опять «шпага» выбита из рук. Юза был петушиного нрава. Снова и снова хватался он «за оружие», весь краснелся. Потом князь позвал сестру, чтобы та угостила «молодого человека» фруктами.

Через некоторое время среди молодежи городка появились парни по-особенному осанистые и «культурные», как выражались взрослые. В местной библиотечке вырос спрос на тома Александра Дюма. Выяснилось, что, будучи в Париже, князь работал тренером по фехтованию в частной школе. А фехтование освоил в Петербурге, когда учился в военном училище. В определенное время молодые люди собирались у ворот Юзы и степенно шествовали к дому С. тренироваться. Для этого хозяин расчистил площадку под айвовыми деревьями в глубине сада. С. выходил к питомцам всегда тщательно выбритый, в шальварах, которые привез из Парижа.

Приобщая молодежь к искусству фехтования (на кизилковых палках), С. вел с ней «мужские разговоры», поднимал боевой дух местных мушкетеров. Из Тбилиси князь выписал атлас с изображением амуниции фехтовальщиков. Парни приуныли после его просмотра. Зато в беседах возобладала тема: «Жизнь — это борьба!» Говорил подобные фразы С. так, как они произносились в романах Дюма, а не в городке где-то в Имеретии. В таком стиле велись все разговоры. Мальчишки не все понимали. Одному из них, замеченному в некоем поступке, князь с мягкой укоризной заметил: «Ты ведешь себя как Савонарола!» Паренек раскраснелся, теряясь в догадках, похвалили его или наоборот. «Надо готовить себя к триумфу, в жизни он всегда один!» — говаривал князь. После этого взор его голубых глаз останавливался, становился отрешенным. Он напоминал человека, уже пережившего свой звездный час. Потом он вздрагивал, ему казалось, что кто-то дергает его за рукав.

С. решительно взялся за дело, за «хождение по инстанциям». Они умещались в единственном административном здании городка, и повсюду он обнаруживал родственников. Видимо, поэтому фехтование на шпагах «безболезненно» было признано официально культивируемым видом спорта в городке. Из Тбилиси приехала «комиссия» — чиновник из спортивного ведомства. Его позабавили кизилковые палки, но удивили выправка и подготовка местных фехтовальщиков. «Парижская школа!» — заметил С.

Гость из столицы посмеялся шутке и с готовностью принял приглашение отобедать у князя. Во время этого визита с лица С. не сходило лукавое выражение, с каким, как ему казалось, «устраиваются дела». Через некоторое время из Тбилиси прислали два костюма и пару спортивных настоящих шпаг. Чести первым облачиться в наряд фехтовальщика был удостоен Юза — лучший ученик князя.

Скоро команду вызвали на соревнования в Тбилиси.

В тот знойный июльский день в кабинете секретаря райкома телефонный звонок междугородной связи прозвучал по-особенному громко. Он вызвал из полудремотного состояния первое лицо района. «Полная и убедительная победа! — докладывал в трубку С. — Мы произвели сенсацию! Кубок — наш!» Секретарь поздравил команду и лично С. «Мы встретим вас достойно, как победителей!» — заключил он, уже совершенно бодрый. Затем вызвал сонную секретаршу и распорядился «насчет мероприятия».

К вечеру весь городок высыпал на перрон. Из служебного помещения вокзала позаимствовали стол, накрытый красной скатертью, на который поставили громкоговоритель. Нетерпение росло. Оно достигло

апогея, когда по вокзалу сообщили, что состав вышел с соседней станции. Это — пять минут ходу. Вот появился и паровоз. Подкатил состав. Вдруг выяснилось, что никто не знает, в каком вагоне находятся «герои». Наиболее рьяные горожане бросились в конец поезда. Потом раздались голоса, что ребята — в первых вагонах. Толпа энтузиастов повернула и ринулась в противоположном направлении. Непосвященные пассажиры насмешливо и опасливо наблюдали из окон вагонов хаотические перемещения возбужденной толпы на обычно малолюдной платформе. Посвященные же (из вагона, в котором прибыла команда) предвкушали экзотическое зрелище. По настоянию С. вся команда нарядилась в подаренные федерацией фехтования костюмы. В левой руке у каждого маска, а в правой — шпага. Впереди должен был идти С. с трофеем — посеребренным кубком. Народ в вагоне был простой, и такие действия для него были в диковинку. Пассажиры потирали руки, ухмылялись, но вслух не высказывались. Ведь «ряженные» были «вооружены»...

Но парадного шествия не получилось. Появление на перроне людей в белых обтягивающих костюмах с «боевой» амуницией, идущих строем (один за другим), обескуражило граждан. После заминки на победителей обрушились со всей мощью почитания. Спортсменов зацеловывали, а князя подняли на руки и понесли. Он сиял от восторга и смущенно приговаривал: «Право, не стоит!» Когда подошли к «президиуму», к столу, накрытому красной скатертью, была попытка «покачать» князя. Но ее не поддержали. В городке если и знали о существовании такого ритуала, то к нему не прибегали. Не было поводов. Князь передал кубок секретарю. Тот поднял его над головой и после оглушительного ажиотажного гула и аплодисментов поставил на стол рядом с громкоговорителем.

Не дожидаясь отхода состава, начали митинг. Поезд не трогался с места, видимо, из-за любопытства машиниста, которое разделяли и пассажиры, глазающие на происходящее из окон вагонов.

Секретарь заговорил о достижениях виноградарей района, о героях войны, о новых героях и т. д.

Пришла очередь говорить князю. Он взял в руки громкоговоритель, сделал паузу, обвел глазами толпу и начал:

— Нет человека, не испробовавшего триумфа. Он бывает большой и малый, замеченный, оцененный обществом или незамеченный. Но он всегда в единственном числе! После победы наших мушкетеров я начинаю думать, что мой звездный час, может быть, еще впереди...

Первым оценил юмор секретаря, потом уже остальные. Князь продолжил:

— Помню такой же знойный день под Красным Селом, 10 июля, 1914 года. Проходил смотр...

Сестра князя, которая все это время находилась поодаль от «президиума», вдруг пришла в движение, начала энергично проталкиваться к столу. В это время как раз начал спускаться пары паровоз. Сквозь грохот и дым не было слышно, что говорил князь. Глаза его блестели, и он как будто спешил высказать что-то сокровенное. Сестра подросла и стала рядом. Тут С. сник, замолчал, как если бы переждал отход состава. Затем что-то промямлил и уступил громкоговоритель другому оратору...

Я был совсем маленьким, когда произошло это событие, — сидел на шее своего отца и смотрел на происходящее. К концу 60-х городок вырос до средней величины промышленного центра, с монструозным заводом, который, казалось, пытался затмить своим коричнево-красным дымом небо, а река, протекавшая через город, была иссиня-черная из-за его выбросов. Через нее был перекинут бетонный мост. На другом берегу теснились «хрущобы». Для промышленных целей вырубил сад семейства С.,

разрушили дом, взамен им выделили квартиру в новостройках на первом этаже.

Ко времени моего повзреления С. давно вышел на пенсию. В городе футбол быстро вытеснил по популярности фехтование. Я сам занимался борьбой. Об успехах местных фехтовальщиков только вспоминали.

С. было уже чуть за восемьдесят. У него появились проблемы с ногами, и он перестал появляться на улице. Помню, как, проходя мимо его балкона, я старался не смотреть в ту сторону. Там неизменно находился старик. По-прежнему чистый взор его голубых глаз настораживал прохожих, как и пыл, с каким он зазывал людей в гости. Иногда из комнаты появлялась сестра и заводила С. в квартиру. Мой приятель, приходящийся внуком тому самому благодетельствованному крестьянину, помогал старикам с их нехитрым хозяйством. Он рассказывал, что «старичина» совсем плох, бредит, рассказывает всем подряд что-то о царе, даже президента Франции приплетает, а потом переходит на французский.

Князь умер, его хоронили так, как полагается хоронить персонального пенсионера, заслуженного работника физической культуры и спорта, видного горожанина, родственника, соседа... Одна умеющая голосить родственница ненавязчиво вплела в плач факт благородного происхождения С.

Народу пришло много. Впереди процессии с портретом усопшего шел Юза. Он заметно обрюзг, ссутулился...

Лето 1914 года, как обычно, 1-я гвардейская кирасирская дивизия проводила на лагерных сборах под Красным Селом. 10 июля состоялся смотр русской гвардии, на котором присутствовали император Николай II и президент Французской Республики Р. Пуанкаре. Гвардейцы произвели прекрасное впечатление отличной выучкой, слаженностью всех частей и подбранностью состава. Тогда по традиции в кавалергарды зачисляли высоких сероглазых и голубоглазых блондинов.

Молодой офицер князь С. был при полном параде. Его золоченые кираса и каска, серебряная фигурка орла и Андреевская звезда на каске сверкали на июльском солнце. В войсках ощущалось воодушевление.

Далее — или быть, или небылица, — проезжая вдоль строя кавалергардов, французский гость остановил свой взгляд на юном блистательном красавце в первых рядах. Он что-то шепнул царю. Царь переспросил у сопровождавшего их генерала. Тот доложил: «Князь С., Ваше Императорское Высочество». Некоторое время спустя князя определили в охрану Российского посольства в Париже.



Ирина ШАТЫРЕНОК

Николай — старший брат Варвары

Хроника одной архивной папки

Отрывки из повести

Вещи живут долго. Они благополучно переживают своих владельцев, переходят из рук в руки, дарятся, присваиваются, наследуются. Прибавляют в годах и в цене. С бумагами, письмами, старыми фотографиями поступают по-разному, у них другая судьба — часто неблагоприятная. Уже через одно-два поколения на снимках забываются имена и фамилии, кто кому и кем приходится, какая родня, где свои, а где чужие, поди разберись.

Появляется в доме молодая хозяйка, из тех, кто приходят со стороны. Она не любит старого пыльного хлама, у нее оконные стекла, посуда, зеркала сверкают чистотой. Как-то затевается большая уборка, вот и повод, доберется она до потайных комодов, секретеров с замочками и полочками, пересмотрит ветхие письма столетней давности, перевязанные шелковыми лентами. Хорошо, если порадует, чаще другое — начнет выгребать ящики столов, шкафов, убирать пыль веков, без сожаления затолкает все в один пакет и выбросит с глаз долой.

Зачем ей это странное беспокойство. Если долго всматриваться в чужие глаза на застывших черно-белых фотографиях, красивые незнакомки в пышных шляпах, кружевах, перчатках начинают волновать. Отчего так пронзительны глаза женщины из прошлого? Не оттого ли, что частички серебра глубоко прорабатывали на фотобумаге все детали света и тени, полтона усиливали прозрачность взгляда, утончались черты лица? Глаза как будто укоряли... Какая-то другая жизнь, другие лица, не похожие на нас...

Век вещей чаще складывается лучше, чем судьбы людей. Какая-нибудь старинная безделушка, серебряная ложечка с ювелирным клеймом или дамский веер с позолоченными деталями из перламутра несут в себе больше информации, чем чья-то затерянная в прошлом судьба, унесенный в вечность прах. Но почему он тревожит мое сердце?

Справедливо ли, что чьи-то жизни преданы забвению? Дыхание их остыло, а тени давно уже никого не тревожат, мы не знаем, где их могилы, сохранились ли надгробья на дальних погостах. И что более ценно, уцелевшие солдатские письма с фронта, устные рассказы стариков или монографии по истории авторитетных ученых.

Век XX. С его жестокими войнами, обыкновенным героизмом и социальными потрясениями, людскими страданиями и потерями, расставаниями и грандиозными перемещениями в чужие земли. Как круто был он замешен! Его кровавые истории еще долго будут источником вдохновения для писателей и для историков, поиск неизвестных документов вряд ли когда закончится.

Уверена, каждая семья хранит свои тайны, домашние легенды, болезненные темы и давние драмы, под толщей лет они давно превратились в молчаливые притчи. Все знают, что полотно Большой Истории как раз выткано этими

малыми деяниями и ушедшими жизнями. Как много нерассказанных историй, боюсь, они могут так и уйти в тень небытия.

Век XX продолжает жить в нашей памяти. Мне тоже захотелось поделиться с читателями своей частной семейной повестью.

Попробую рассказать историю семьи моей свекрови Варвары.

Она родилась холодным зимним утром 17 декабря в семье деревенского священника. Как раз на Варваринские морозы. По документам значился 1912 год, но в семье говорили — родилась в 1911 году.

Умерла 18 июля 1988 года. День был душным, воздух плавился от жары, в лесу самая малина-земляника, а на календаре — день святой мученицы Варвары.

Так замкнулся жизненный круг моей свекрови Варвары Константиновны Шатыренок, в девичестве Будоль.

Не люблю избитых текстов. После первого заштампованного оборота можно предугадать, как продолжится фраза. Но вот и мне придется повторить избитую фразу — «история заговорила». Оказывается, такое случается, случилось и в нашей семье, и мне, невестке Ирине Шатыренок, через судьбу Варвары придется прикоснуться к тому времени.

Трудная задача — отдавать долги наши, оживив давнюю семейную историю.

Моя свекровь Варвара Константиновна из семьи православного священника. Скупые данные свидетельствуют:

БУДОЛЬ Канстанцін Емяльянавіч [1879, мяст. Ярэмчы Навагрудскага пав. Мінскай губ., цяпер Карэліцкі р-н Гродзенскай вобл. — ?]. Беларус. З 1907 настаўцель Параскева-Пятніцкай царквы в. Кухоцкая Воля Пінскага пав. Мінскай губ., цяпер Валынская вобл., Украіна.

Хотя не уверена, что смогу соединить все разорванные куски жизней ее отца, репрессированного православного священника Константина Емельяновича Будоля, ее старшего брата Николая, члена КПЗБ, расстрелянного в 1937 году, и младшего брата Сергея, пропавшего в 30-х годах...

Николай Будоль прожил короткую жизнь, но она вместила в себя довольно динамичные страницы: подпольную работу на территории Западной Беларуси, аресты, польский суд, годы польских тюрем, обмен в СССР, как политзаключенного, учебу, преподавание общественных дисциплин в техникуме, работу секретарем парткома на крупном металлургическом заводе в Нижнем Тагиле, арест в октябре 1937 года по «польскому делу», расстрел в 1937 году.

Начало

Одна моя знакомая, по профессии архивист, выслушав мои жалобы — как трудно работать с архивными документами (учусь по ходу дела), — дала мне несколько дельных советов.

Первый. Вы ориентируетесь в каталогах архива только по названиям папок, а зря. Подход непрофессиональный. Надо тотально пропахать все документы интересующего вас периода. При этом слово «тотально» она повторила несколько раз.

И второй. Рассказывайте свою историю очень и очень подробно, сверхподробно. Представьте себе читателя, который ничего, ровным счетом ничего не знает о вашей теме. Представили? А теперь за дело...

А ведь она оказалась права. Я-то давно в своей теме плаваю, сродни рыбе в воде. Мое время — 20-е годы прошлого столетия, особенно январь — декабрь 1927 года. Западная Беларусь, Новогрудок, Кореличи, Еремичи, Любча. О, столько дополнительной информации раздобыла за последние четыре года, и не могу остановиться, иду все дальше, почти на ощупь продвигаюсь в запутанных лабиринтах прошлого.

Недавно в телефонном разговоре с молодой сотрудницей одного серьезного ведомства упомянула «КПЗБ», решила проверить компетенцию недавней выпускницы университета. Мимоходом переспросила, уверенная на все сто процентов, что озвучиваю известные факты:

— Вы знаете, что такое КПЗБ?

— Нет, — подумав, ответила мне собеседница.

Тут в который раз вспомнила советы опытного архивиста.

Теперь, как только берусь за новую страничку текста, представляю себе совершенно неискушенного читателя, которому совершенно случайно попадет-ся в руки моя будущая книга. Такое вполне может произойти.

Представила. Моей читательнице двадцать лет, она студентка университета, пишет курсовую на тему, например, «Западная Беларусь. Национально-освободительное движение. Роль КПЗБ».

Нет-нет, моя мифическая студентка уже более-менее подготовленная, что-то слушала на лекциях, читала. Нет. Надо представить такого читателя, такого читателя... У него знаний по моей теме — ноль, читатель совершенно белый и чистый лист бумаги.

Представила. Теперь буду разжевывать ему каждое слово, терпеливо, подробно и не спеша. А куда торопиться! С самого начала повести надо хорошенько постараться, ввести моего читателя, который полный ноль, в курс дела, и сделать это требуется по возможности ясно и убедительно, чтобы в трех соснах не заблудился. Что-то вроде краткого, но интересного экскурса в тему. Часто зачин решает многое, если не все. Так что бери своего бестолкового читателя, но почему сразу бестолкового? Лучшие несведущего, у которого ноль в голове и чистая память, бери сразу быка за рога и тащи, тащи по всем темным местам.

Для меня самой столько загадок, столько вопросов без ответов! Придется по ходу повествования делать краткие ремарки, сноски и лирические отступления ко всем темным местам и белым пятнам в моей истории.

Сама себе приказала: стиль изложения должен быть предельно современным, даже занимательным, интригуй, накручивай, и он, читатель, который пока полный ноль, поверит тебе. Ты уж постарайся. Если поверит, вот задача так задача, тогда он у тебя уже в кармане, дальше — дело техники. Читатель — твой как миленький, куда ему уже деваться от твоего писательского натиска и нажима. Только вперед.

Если с первых страниц рассказывать историю занимательно и доходчиво, расшифровывать по ходу все важные моменты истории, то и читатель, уже благодарный и понятливый, продолжит читать с интересом. Потом от книги не оторвешь.

Самое главное, чтобы он, твой нечаянный читатель, дочитал до конца выстраданную тобой книгу и его полный ноль в голове превратился если не в ряд вопросов, то хотя бы в стройную и законченную историческую картину того периода с его атмосферой, реальными героями и не менее реальными событиями.

История Западной Беларуси до воссоединения с БССР несправедливо замалчивалась, а ведь там достаточно героических страниц, как и ее забытых героев. Не один Сергей Притыцкий хлебнул из той горькой чаши, их были тысячи.

Может быть, мои попытки рассказать историю одной архивной папки подтолкнут других исследователей, историков, писателей, журналистов, краеведов, гораздо более сведущих, чем я, внести свою маленькую лепту в прояснение многих забытых страниц нашего прошлого, нашей национальной исторической памяти.

Прошлое прорастает в наши дни. Оно рядом с нами, через одно-два поколения можно прикоснуться, почувствовать его ритм, движение, ход и драматическое напряжение, оно затягивает в свой круговорот других людей, как когда-то тебя саму. Вдруг от твоей книги читатель потянется к другой, третьей, десятой...

Еремичи

Еремичи, Еремичи, Еремичи... Это название все чаще и чаще всплывало в письмах, в разговорах, нет, все-таки надо ехать в Еремичи. Не пора ли начать мое повествование с Еремичей.

...Мы долго собирались, несколько раз поездка откладывалась. Кореличский район — наша Гродненская сторона. В прошлом живописное местечко с речной пристанью на Немане, теперь деревня, не более 300 домов. Разворотливые минчане скупают здесь дома под дачи, от столицы ближе, чем от Гродно.

В начале XX столетия таких больших сел, что укрывались за холмами, за ближним лесом, стояли вдоль рек, было много рассыпано в этих местах. Но сельские дороги-путеводители и сегодня сохранили свой прежний, почти не измененный маршрут. Дороги бегут-бегут, пересекаются, расходятся, но обязательно приведут вас в такие вот тихие, укромные места.

Отправились мы с мужем в недалекое путешествие на машине: из Гродно до Кореличей около двухсот километров, а там рукой подать — Еремичи, Мир, Несвиж, Новогрудок, знаковые места, колыбель белорусской культуры.

Как только свернули с привычной трассы Гродно—Минск на Гастиловцы, замелькали дорожные указатели с названиями деревень и деревенок, для нас новые — Тарнова, Фальковичи, Заборцы, Бахматы, Гончары, сразу за поселком Березовка, означились земли Новогрудского района.

На глазах стал меняться ландшафт, меньше всего напоминая ровные, спокойные белорусские горизонты. Вырастали отвесной стеной высокие холмы и пригорки, крутые спуски и повороты, массивы старого соснового леса вплотную выдвигались к самой дороге. Ломаные линии крутых холмов и пригорков вносили какую-то географическую путаницу, напоминая нездешние пейзажи, больше похожие на гористую Чехию или Западную Украину.

С утра сентябрьское небо чуть затянуло серой сетчатой мглой, незаметно запылжил мелкий грибной дождь, проехали Кореличи, как вдруг из утреннего тумана выплыли Еремичи — одноэтажные дома, рыночная площадь, заброшенный сквер, в центре красивая церковь. Через все местечко протянулись одна-две длинные улицы, к ним лепятся деревенские домики с садами и огородами, за заборами цветочные палисадники.

Типичный белорусский пейзаж в провинциальной глубинке. Центральная площадь в любом местечке — как для современной молодежи скоростной интернет: место встреч, обмен новостями. Вот и сейчас два мужика далеко пенсионного возраста, один на велосипеде, другой на телеге, запряженной таким же старым, как сам хозяин, седым меринком, остановились у крыльца магазина, поприветствовались, закурили, неторопливо толкуют о привычном: погоде, власти, урожае, политике.

Церковь Вознесения Господня в Еремичах построена из бутового камня в виде креста в 1867 году на средства, выделенные царским правительством. Отдельно от храма из бутового камня была построена колокольня. Проходишь во двор церкви через старинную звонницу, все три колокола разбиты, следы еще той, последней войны.

На углу — старый дом, а окна новые. С этим домом тоже связана одна история. После войны почти вся деревня была сожжена немцами, уцелело всего несколько домов, но деревня потихоньку начала отстраиваться. Местный учитель Евгений Константинович Будоль поставил на углу свой новый дом.

После смерти учителя Евгения Емельяновича Будоля наследники передали дом колхозу, теперь здесь живет большая семья местного священника Михаила Назаревича.

Мы постучались незваными гостями к настоятелю церкви. Вышел молодой священник, бородка русая, аккуратно подстрижена, взгляд доброжелательный, в окне за занавеской мелькнуло женское лицо в светлом платке — матушка Ксения.

— Завтрак готовит, дети еще малые спят, не могу пригласить, — извиняясь, откашлялся священник.

— И сколько у вас детей? — полюбопытствовала я.

— Пятеро, младшему полтора года, — смущенно улыбаясь, сказал батюшка.

Попросили священника свозить нас на кладбище, в деревнях еще жив дух человеческой близости, простого общения, здесь все знают друг друга, на улицах с нами, незнакомыми людьми, здороваются, многие ходят пешком или ездят на велосипедах.

Свернули от площади на гравийку, обогнали местный экипаж, темно-рыжую савраску в упряжке, и неожиданно быстро подъехали к обновленному забору сельского кладбища. Рядом сиротливо лежало голое осеннее поле, а за кладбищенской оградой еще сочно зеленела высокая трава, столетние липы здорово вымахали, упиравшись могучими ветвями в небо. Мы согнулись к земле, к позеленевшим намогильным камням, с трудом читая стертые надписи. В одной стороне кучно стояли вросшие в землю старые надгробья с надписями «Будоль».

В бывшем местечке Еремичи столетиями жили рядом белорусы, евреи, русские, татары. Недалеко от площади, за церковью, за местными еврейскими крамами, стояла деревянная синагога.

Спустя сто лет жилых домов не утроилось, цифра стабильно колеблется в одних пределах, не более 200 домов. На сегодня, по данным сельского совета, в Еремичах 134 двора.

Почему количество домов почти не изменилось? Традиционно дома ставились на одних и тех же местах, на своем *пляцу*. Войны с их разрушением, пожарами оставляли после себя одни пепелища, люди ютились в подвалах, сараях, землянках, но не уходили с родного клочка земли. Но потом, в промежутках между войнами, смутами, переворотами, революциями и восстаниями, заново отстраивались. Белорус по своей природе вынослив, молчалив, трудолюбив, надеялся и прежде, и сегодня на себя, на свои руки, смекалку, терпение.

На одних и тех же полосках земли, что тянутся от хат на два окна к самому берегу Немана, жили здесь представители почти одних и тех же фамилий, старые крестьянские роды, что брали свое начало от одного корня. Распространенные фамилии: Бразовский, Клавсуть, Василевский, Жук, Ковалевский, Наумович, Станкевич, Царюк, Груша. Эти же фамилии предков выбиты на старых позеленевших могильных камнях, глубоко ушедших в землю.

Осенью здесь по-особому тихо, смиренно, по одну сторону лежит убранный печальное поле, по другую — начинается лес.

Сегодня перед церковью огороженный, запустелый скверик, а еще до Великой Отечественной войны здесь размещалась рыночная площадь. В выходные дни сюда съезжались груженные подводы, шла бойкая торговля, в воздухе стоял плотный запах навоза, смешанный с запахом дегтя, овчины, меда, деревянной стружки. Кругом площади друг к другу тесно лепились дома зажиточных евреев-торговцев, с раннего утра и до вечера были открыты двери двенадцати магазинов.

Местная учительница Анна Владимировна Бондарик еще застала то время, она из последних живых свидетелей довоенной жизни местечка.

Еврейский пляц пры Польшчы... В двухэтажном доме Лейзаровича на первом этаже работала аптека, на втором этаже были жилые комнаты. Напротив торговал богатый еврей Гаркавий Абрамеля. Все можно было найти у Абрамели — швейные иголки, семечки, ткани, обувь, трикотаж, продукты.

Старый Гиришевский держал магазин и закусочную на несколько столиков, чисто мужское заведение, после службы в церкви сюда вечерами охотно заглядывали прихожане, пропустить кружку пива, поговорить о делах, у кого свадьба, у кого похороны.

Сочная красавица Сара Гранда торговала в бакалейной лавке большими сладкими баранками, булками с маком, кренделями с сахарной посыпкой. Ее

цветной передник, до локтя открытая пышная рука, иссиня-черные волосы, похожие на жесткую крученую проволоку, казалось, тронула ранняя седина, но это всего-навсего белая мука или сахарный песок.

Анна Владимировна громко повторяет для меня по слогам:

— Ра-зын-кі, изюм, значит, по-русски.

Дочь Давыдовского Дора зазывала к себе в открытые двери, предлагала охлажденную телятину, птицу. Евреи свинину не ели... Гусачок, только у евреев можно было купить внутренности, делали пахнет...

Слушаю, а сама представляю, как на дверях магазина приятно звенит медный колокольчик, предупреджая хозяйку — пришел покупатель. Златокудрая Дора в рыжих веснушках с порога встречает покупателя, с «интересом» оглядывая, с ходу угадывает его покупательские способности, на сколько злых облежится у того кошелек.

Владелец большого магазина Полотецкий продавал все, густой запах колониальных товаров — перца, ванили, корицы, кофе, муската, гвоздики — щеко-тал нос, хотелось все попробовать. Мешки стояли с орехами, белыми семечками. К рождеству завозились лимоны и апельсины, на дворе снег, мороз, а на прилавке магазина горки ярких желтых лимонов, ароматных апельсинов. Экзотика! Нет денег, все равно заходи, Полотецкий продаст тебе в кредит — «на павер». Кроме продовольственного магазина Полотецкий держал обувную мастерскую, два услужливых подмастерья подшивали подметки, набивали на каблук набойки.

Знаешь, что такое «лядоўня»? Сегодня у каждого свой холодильник, морозильник, а раней... Сосед-еврей держал лядоўню, у него был магазин, на прывесну кололи лед, чтобы хватило на все лето, он там хранил мясо, рыбу.

Равниха жила при синагоге, продавала дрожжи, все хозяйки Еремичей у нее покупали дрожжи. Пекли на Рождество, на Пасху бабки, пироги, сладкие и не сладкие...

Лучший портной местечка Давыд Шмушкевич «строил мужские костюмы», к нему очередь была. Портному совсем не мешало торговать разными гвоздями и краской.

Гутка Полотецкая не особенно разжигалась на галантерейной мелочевке, девочки-школьницы приходили к ней за карандашами, чернилами и всякими учебными принадлежностями, Гутка цену до последнего снижает. Только бы купили. Спросит, как бабушки, дедушки здоровье, передаст матери, что завтра привезут нитки мулине цвета фуксии, шелковое кружево, туалетное розовое мыло, шелковые фильдеперсовые чулки. А какие завозились ткани, любые, креп-жоржет, креп-шифон, сукно, твид, фланель, полубархат, габардин...

У Ицки Канлака был особенный продовольственный магазин. Что там только не продавалось! Все продавалось — шпроты, колбаса, сыр, и какой это был вкусный сыр, французский! Ицка наладил производство сыров, закупал в ближних деревнях молоко, в крестьянских дворах семьи держали по три-четыре-шесть коров. За сыром к Ицке купцы из Варшавы приезжали.

Жил такой в местечке еврей — Цвик, все его так называли, может, и фамилия у него такая была, не помню. Цвик владел большой пекарней, все выпекал, и ситный хлеб, булочки разные, сдобные караваи... Абрамович, вспомнила его фамилию.

Криницкий Осар торговал керосином, мазью для смазывания колес в повозках.

Зэлик-стекольщик ходил по деревням, нарезал стекло и вставлял в оконные рамы. Жили в Еремичах шорники, шили для лошадей хомуты и упряжь.

Старьевщик Шлема, да, да, был еще Шлема, он ездил по деревням, собирал разное тряпье, а взамен, взамен чего только у него не было в его замечательной повозке! Дети, женщины ждали повозку, полную всякого добра. Пуговицы, нитки, гребешки, спички, платки, булавки, резинка.

Высокая худая Лея Абрамович обшивала всех молодых модниц, недорого и хорошо. По выкройкам из варшавских журналов.

Среди евреев были и бедные люди, те жили не в центре, не у рыночной площади, а на самом въезде в местечко. Бедные евреи сажали огороды, они держали лошадей, гусей, кур на продажу, заготовливали дрова. Возили продавать по деревням или на базар в Мир, Кореличи.

А знаете, как гусак откармливали на продаж? Посадят в яму и кормят, гуски сидят, жирок набирают, к самому Рождеству. По пятьдесят гусей держали, Неман рядом, подрастут — и на траву, осенью у Мир продать...

Вдруг рассказчица начинает передо мной извиняться:

— *Выбачте меня, выбачте, если что не так...*

Тот особый мир отношений между людьми, еще довоенный, складывался в местечке на протяжении столетий, скрепленный общими трудами, землей и заботами, возможно, не менее сильно связанный, чем родной кровью, давно распался, исчез, растворился, как легкая дымка. И было ли все так, как рассказывает мне Анна Владимировна?

Моя рассказчица — маленькая старушка с таким же, под стать ей, коротким костылем, опирается на него, жалуется на больные ноги, но еще подвижна, весело и живо смеется, в курсе всех деревенских событий. Она помнит малейшие подробности прошлого быта, имена и фамилии еремичских людей, рассказывает сочно, живо, с огоньком.

Во время войны Еремичи три раза горели, и немцы жгли, и партизаны. На колокольне треснутый от взрывной волны снаряда колокол напоминает о тех военных годах.

Но в праздничную воскресную службу по всей округе торжественный перезвон разливается далеким гулом. Металлическая веселая разноголосица радостно плывет в воздухе, поднимается над площадью, церковной оградой, над крышами домов, долетает до кладбища, рассыпается над убранными осенними полями и далеким, печальным эхом пропадает за Неманом, за мостом на левом берегу прячется деревня Синявская Слобода, за ней сразу подступает лес.

Деревенское кладбище и церковь — особый разговор.

В глубинке, на селе отношение к этим сакральным понятиям очень трепетное, традиционное и почти любовное. Не разрушены связи жизни и последнего приюта, держится наш человек за родные могилы, понимает, какой бы жизнь ни сложилась, удачливой, пустой или удобной, а принесут его сюда, к старым столетним липам, посаженным его прапрадедом.

Жизнь в деревне и сейчас течет неторопливо, размеренно, все рядом, человек и природа, смена лета осенью, жизнь и смерть. Уклад человека почти не поменялся, на подоконниках цветут красными огоньками герани, у калитки растет куст сирени, что цветет весной блеклыми, но такими душистыми цветами, за домом на воде качается на привязи старая, хорошо просмоленная лодка.

Здесь тебе любой деревенский старожил расскажет с три короба и больше про своего соседа, чем живет и дышит, кто был в полицаях, а кто ушел в партизанку.

По ходу дела выяснится, кто кому и кем доводится: сватом, крестным, братом, швагером, заклятым врагом или полюбовницей-заснобой, у кого когда свадьба игралась, дети рождались, в каком году тот или иной сосед преставился, и сколько людей было на похоронах, кто приехал, а кто опоздал *нябожчыка* проводить в последний путь.

Поминать придет почти вся улица, бабы в платках поплачут, мужики помолчат, выйдут покурить на улицу и тихо разойдутся. Как похороны, то обязательно заморосит мелкий сеющий дождик, ветер закрутит по пустынной дороге осеннюю листву, принесет дальний запах горького дымка, нагоняя в голову всякие плохие мысли. Вспомнишь все, что давно забыл.

Даже человек простой, без лишних фантазий, кто привык топором махать или крутить шоферскую баранку, в такой дождливый день вдруг с непривычки затоскует, сдерживая внутри тихий вздох, оглянется на знакомые избы с маленькими окошками, низкими ступенями, присядет на старой скрипучей лавке у забора и задумается.

Э-э-х, жизнь, пойду-ка я в хату, и тоже помяну свою мать-покойницу, труженицу! Жила, жила матка, скотинку всегда держала, как же без коровы-кормилицы, без утренних теплых яичек, а ничего, кроме мозолей, бед и работы, на земле не видела, ни радости тебе, ни отдыха, ни счастья, ни покоя. А может, ей ТАМ и лучше, спокойней... кто ж знает, а никто ничего не знает и знать не может...

В деревне свой хронотоп, свой календарь, а если кто и что призабыл, то всегда выищется какая-нибудь древняя согбенная бабка, что сидит и греется в летний день у своих ворот с костылями, зажившаяся на этом свете. Она охотно всех просветит, вспомнит все мельчайшие подробности чужих жизней, начнет сыпать имена, фамилии, кто у кого и сколько *пазычаў і чым аддаваў*, когда, в каком году и месяце, какая была погода в тот день и чем отдавал.

Бабушка, баба Оля, Ольга Николаевна Станкевич много лет после войны мечтала, ах, как она сладко мечтала, представляла — вот начнет работать их церковь Вознесения Господня, как до войны, когда мама, дедушка были еще живы, какие праздники там встречали, Рождество, Пасху, Вялікдзень.

— Чыстае свята, а як добра было, а людзі, а людзі шлі, як на празднік! Дзе ж простаму чалавеку знайсці што, падтрымку на дарогах жыцця... у царкве, у ёй адной, у яе сценах.

Говорит про радость, а сама сквозь детскую улыбку плачет, и людей она всех любит, всех прощает.

Здание церкви много лет использовали под склад, оно долго стояло в запустении, горькое напоминание людям. Жители Еремичей вынуждены были ходить в соседний Турец, там шли службы в действующей Свято-Покровской церкви. Но люди не смирились, хлопотали, писали письма, организовали что-то вроде общественного совета, собирали по округе средства, и дело медленно, трудно, но сдвинулось. В 90-е годы церковь в Еремичах восстановили силами и верой местных жителей, объединив общие людские желания и помощь властей.

Теперь все престольные православные праздники, венчания, крещения, отпевания и другие службы справляет здесь батюшка Михаил.

Приехал когда-то в Еремичи молодым священником, а теперь у него шесть детей, уважаемый человек в деревне.

Баба Оля до последнего держалась, все на своих ногах, не позволяла себе унывать, несмотря на возраст и болезни, каждую весну шла на Радуницу на кладбище, прибирала свои, родные могилки, где лежит замученная полицией сестра Валя (эту страшную историю когда-нибудь расскажу), дедушка Федор, а потом, как водится у людей православных, обходила другие могилы. По зову своей отзывчивой души заглянет к захоронениям Будолей.

— Ці не, ня зарасталі магілы, я глядзела, прыбірала старую траву, лісце, свечкі пастаўлю. Наш бацюшка ўсе магілкі абміне, і на душы лягчэй.

Нет уже на этом свете сердобольной бабушки Оли, не дожила до своих девяноста лет, попала зимой в больницу, старые открылись болячки, сахарный диабет, отняли у нее ногу. Рассказывала потом медсестра.

— Наша бабуля сидит на кровати и поет, на всю палату поет песни. Не унывала до конца.

Как и положено таким добрым, светлым душам, умерла бабушка Оля на Рождество — 7 января.

Ее домик-крохотуля достался внуку младшей сестры, тот ученый, кандидат наук, живет в Минске, но с детства любит приезжать в Еремичи. Решил утеплить хатку, обложил всю блоками, будет домик служить его семье, как летняя хата.

Заодно с капитальным ремонтом домика внук привел в порядок семейные захоронения Станкевичей-Лойко.

Будоли

Начну издалека, как и положено рассказывать историю рода.

Передо мной семейное древо Будолей. Емельян Семенович Будоль (1852—1904) и его супруга Будоль Анна Доминиановна, в девичестве Бусько (1843—1927).

Девичью фамилию Анны Доминиановны выяснили после последней поездки в Еремичи в сентябре 2014 года. На кладбище захоронения близкой родни расположены компактно, в одном месте.

Рядом с захоронениями XX века рухнуло одно богатое старинное надгробье конца XIX века, перевернулось и как подкошенное, лицевой стороной ушло в землю. Случилось это, наверное, давно. С трудом подняли его, отчистили. От времени, дождей, морозов крепление на монолите треснуло, обнажив в надломе крупный камень, белую гальку. Камень, похожий на выбитый зуб, стал помехой, а не крепкой сцепкой в плите.

С большим трудом смогли прочесть надпись — Елена Иоанновна Бусько, по годам жизни совпадало — мать Анны.

Емельян Будоль женился на Анне Бусько. Казалось бы, ничего особенного, молодые люди живут в одном местечке, встретились — полюбили, заводят семью. Но вот обратила внимание на разницу в возрасте. Муж младше жены на девять лет. Конечно, не двадцать лет, но и для XIX века разница у молодых в девять лет весьма существенная.

Вот о чем подумалось. Из семейных воспоминаний дошло далеким отголоском: Анна была из обеспеченной купеческой семьи, за ней давали хорошее приданое. Скорее всего, она засиделась в девицах.

Замуж за молодого парня Емельяна пошла в возрасте далеко за тридцать. Емельян, как и многие мужчины в Еремичах, был плотогоном. По-местному — плытогоны. Во многих еремичских семьях мужики трудились плотогонами. Работа хотя и опасная, но кормила. Нанимались в плотогоны больше люди безземельные, все-таки было это занятие отхожим промыслом. Еремичские мещане имели хотя и небольшие, но свои земельные наделы, держали скотину, жили с огородами, торговли, брали у помещика землю в аренду.

Все здешнее население с детства — на реке, знали все места на Немане, ребята рано выросли, гоняли с отцами вниз по течению сбитые сосновые плоты. Работа требовала выносливости, мужской силы, сноровки.

Доходили плотогоны до самого Гродно, старожилы уверяли, что даже до современного Калининграда. Расчет получали и назад в Еремичи шли... пешком. Сапоги на плечо и топай босыми ногами до родного местечка. Где-то подвезут добрые люди, но в основном пешим ходом, далеко от течения реки не отходили, ориентировались по Неману. В конце дня устраивали привал, разжигали костерок, готовили еду, тут же в лесу и ночевали. Целое приключение.

Потом зимними вечерами в Еремичах в корчме у жидка Гиршевского за кружкой пива будут травить соседям про свои удивительные странствия и похождения в чужих землях. Вместо современного кино и телевидения.

Работа у плотогонов была не из легких, требовала выносливости, навыков, смелости, но если вырос на берегу большой реки, значит, хорошо плаваешь, ныряешь, тебе знакомы все ее берега, опасные и глубокие места. Детям не надо было рассказывать, чем занимаются их отцы, они сами просились в помощники.

В 1910 году первая белорусская газета «Наша ніва» писала:

У Віленскай губерні варункі жыцця плытнікаў не вельмі добрыя. Бярэ, напрыклад, з Вілейкі плыт гнаць за 25 руб., — гэтых трэба дадаць задніку 6—7 рублёў, і плытніку астаецца 18. Хлеб дае купец. Калі добра пойдзе, то вярнецца за якія 2 тыдні. Але як разаб'еўца плыт, калоды згубяцца, — тады купец за кожную калоду адлічыць па 2—3 руб. І вось, правёўшы месяц часу, хоць пехатой

ідзі дахаты. А і Вілія не матка, кожны год забярэ каго-небудзь. Летась забрала, як чуў, аднаго, а і сёлета аднаго ля Вілейкі. За такую небяспечную і цяжкую працу плытнікаў трэба бы і плату даваць справядліваю.

Сведения о профессии плотогонов сохранились во многих источниках, но уже в 50-е годы прошлого века опасная, но уважаемая профессия сошла на нет.

Особенность здешних мест — близость реки, рукой подать — течет Неман, спустишься за домом вниз огородами, и ты — на берегу. С XVII века вплоть до 20-х годов прошлого века здесь действовала речная пристань, ходили баржи, при поляках содержали в отменном состоянии пляжи. Весной ходила по Неману специальная баржа, чистили дно реки, убирали после зимы берега.

Но вернусь к семье Будолей. К тому еще достижимому началу, за пределами которого, к сожалению, уже никто из рода не проглядывается.

Однажды местный краевед, журналист Николай Леонидович Василевский, ныне уже покойный, пригласил меня для разговора к себе в Синявскую Слободу, куда он со своей женой каждое лето приезжал из Минска на отдых.

С улицы видно, что деревянный дом старый, собран из седых бревен, а вот внутри комнаты чистые, отремонтированные, уютные, открытые окна смотрят в тенистый сад. Яблоками под деревьями усыпана трава, в тот урожайный год антоновки, ранета было много.

Жена Василевского Тамара собрала на стол, потушила кабачок с луком, помидорами, да и мы не отказались с дороги. Здесь Николай Леонидович как-то мне и проговорился — фамилия Будоль не местная.

Жили в Еремичах еще четыре семьи Будолей, наверное, они были очень дальней родней. Один А. Будоль захоронен с местными комсомольцами в сквере перед церковью, их поляки расстреляли в 1920 году.

— Тоже, я вам скажу, история — запутанная, — стал рассказывать местный краевед. — На Вяликдзень застрелили коменданта польской жандармерии. Тело подбросили на поповский падворак. По наговору схватили местных активистов, что боролись за землю, хотели поделить панские земли. Время было военное, 1920 год, следствие велось в Турце, во флигеле Сапегов. Рассказывали, что местные паны были на допросах, пан Кашыц из Обрины, пан Сележыцкий из Адамова. Николая Бразовского особенно мучили, он был главным организатором среди бедноты... Полевой суд для четырнадцати человек вынес смертный приговор. Памятник стоит у церкви, но расстреляли бедных, невинных людей не в Еремичах, нет, где-то в Новогрудке, ночью, где-то потом захоронили, место неизвестно, за городом... А потом выяснилось, коменданта жандармерии застрелил заместитель, очень хотел занять его место. Вот такие дела...

Но расстрелянный в 1920 году Н. Будоль — однофамилец Николая. Крепко засела у меня в голове другая новость.

— Почему не местные? — заинтересовалась я.

— Первое, потому что у нас здесь свои, местные фамилии. К примеру, моя, Василевский, или Станкевич, Груша... Будоль — редкая фамилия. Помню, мне еще отец мой рассказывал, а ему его отец, — Будоли не то из венгров, не то...

Подумалось, рождение в середине XIX века в местечке Еремичи, по Василевскому, еще не основание считаться коренным до десятого колена. Возможно это очень давние отголоски, но и документальных подтверждений нет. Часто наша память нам подсказывает на каком-то уже ином, генном уровне, или та же народная молва, людские слухи, отголоски их сохраняются не хуже архивных источников.

Василевский замолчал, нисколько не обратил внимания на мое любопытство, подогретое его новостью, погруженный в себя, он мысленно переваривал какую-то важную информацию.

— Не дает мне покоя вот что. Местные, еремичские, издавна владели каким-то небольшим наделом, здесь же ставили дом, постройки, все как положено для крестьянского хозяйства, дети, внуки, правнуки из поколения оста-

вались жить на своей земле. Несмотря на войны, революции, всякие перемены возвращались сюда, к родным корням, вот. А у Будалей дом стоял на самой окраине, на выселках, в конце улицы, где спуск к Неману... Будали из новых, может, из французов...

Не то вопрос, не то недоумение прозвучало в словах Николая Леонидовича.

В Еремичах несколько длинных вытянутых улиц, почти все старые застройки домов густо лепятся один к одному. За домиками — нарезанные полоски земли, они кучно тянутся к самым берегам Немана, спуски, сходни, ступени упираются в воду. Тихая река в этих местах петляет и у самих Еремичей делает крутой изгиб. Берега пологие, течение спокойное. Спуск от дома к реке ровный, у берега качаются лодки, на другой стороне начинаются Налибоки, густая тень лесов близко подступает к Неману.

Ярэмічы былі заснаваны Ярмалаем. Ярмалай быў шурынам бацькі Канстанціна Раецкага (памешчыка), у якога Кашыц купіў маёнтак. Ярмалай першы выбраў месца для пабудовы вадзяной станцыі.

У выніку чаго гэтую мясцовасць яго любімы шурын назваў Ярэмічы. У той час Ярэмічы былі адным з самых лепшых месц для пабудовы вадзяной станцыі таму, што тут працякае рака Нёман. Вадзяная станцыя служыла для перапраўкі жыта, пшаніцы ў Балтыку, Клецк і іншыя гарады. На беразе стаялі вялікія цагляныя будынкі [...]

Зімою на конях сюды прывозілі збожжжа з далёкага наваколля. Збожжжа прывозілі з Нясвіжа, Гарадзеі, Стаўбцоў, Слабодкі і другіх гарадоў.

З некалькіх хатаў тут вырасла невялікае паселішча, якое было размешчана на беразе ракі. Насельніцтва стала навялічвацца. У выніку нападу татар Ярэмічы былі зусім спалены і разбураны. Пасля выгнання татар пачалося засяленне гэтай вёскі рознымі людзьмі: татарамі, рускімі, шведамі, яўрэямі. У гэты час і была пабудавана царква.

Раней на гэтым месцы былі могілкі з невялікай часоўняй. Могілкі былі знішчаны і на іх месцы заснована царква. Заснаванне царквы, па даным, адносіцца да II падзелу Польшчы. У гонар гэтага быў адліты звон на калакольні з годам 1772 і подпісам: III падзел Рэчы Паспалітай. Надпіс зроблены на польскай мове.

Водная станцыя з гэтага часу страціла сваё ранейшае значэнне, так як была пабудавана чыгунка Нясвіж—Стаўбцы—Гродна. Для зручнасці говару мясцовымі жыхарамі Яромічы былі пераіменаваны ў Ярэмічы.

Современный человек оторвется от родных корней и рад, тешит себя мыслями: надо ему непременно уехать в большой город — учиться, работать, делать карьеру. Там он затерется среди чужих людей, пропадет, растворится в толпе. Никому ты не нужный, как и тебе все эти безразличные люди с замкнутыми лицами, и кому из них интересно, кем были твой родной дед, бабушка, дядька, тетка, крестная. В сутолоке, уличной толчее и заботах жизнь мелькает, как станции, мимо которых проносится скорый поезд — твоя жизнь.

В маленьком местечке издавна плетутся, плетутся людские судьбы да крепко сплетаются в тугий узел. Тут все замешено, и родная кровь, и обычаи, и старые обиды. Помнится все, и хорошее, и плохое. Попробуй потом разорви те кровные узы, ничего не получится. Все срослось, смешалось воедино.

...Своих сыновей Анна Доминиановна родила поздновато, даже по современным меркам: старшего, Константина, в тридцать шесть (1879 г.), а младшего, Евгения, — почти в сорок девять лет (1892 г.), для родов очень запоздалые годы. Но все обошлось. Анна Доминиановна пережила своего мужа на двадцать три года.

Сохранились воспоминания родственников, что Емельян Семенович умер сравнительно молодым, в пятьдесят два года, его сразил сердечный удар, наверное, он до последнего гонял плоты. Может, наследственная болезнь, но скорее всего, сказались большие перегрузки и напряжение в тяжелой работе.

Мне почему-то кажется, что к своим пятидесяти двум годам Емельян Семенович вряд ли уже был плотогоном, скорее подрядчиком, сам нанимал молодых работников, присматривал за своим делом, вел расчеты.

Сделаю небольшое авторское отступление от текста. Моя скрупулезность и интерес к деталям раскрыли мне одну случайность или закономерность, уж и не знаю. Но обратила внимание вот на что: некоторые имена в роду Будолеев неизменно повторяются: Сергей, Анна, Валерий, Евгений, Людмила, Татьяна. Но к именам еще вернуться.

Имя Доминиан и сегодня встречается редко, часто у молодых родителей это скорее мода на имена.

Анна Будоль по отчеству была Доминиановна. Если начинать считать колена и загибать пальцы на руке, то так можно дойти до современного минчанина Доминика. Правда, он уже носит другую фамилию, тем не менее, проследим за родословной.

Доминиан Бусько, отец Анны — Анна Будоль (1843) — сын Евгений Будоль (1892) — внук Всеволод Будоль (1925) — правнук Владимир Будоль (1951) — праправнучка Елена (1976) — прапраправнук Доминик (1998). Последний Доминик — седьмое колено.

Первого Доминиана, Доминика, разделяет с последним без малого почти двести лет. Такой милый привет или подмигивание из столетий от старшего Доминиана, что начинаешь задумываться над его мистической подкладкой.

Самое интересное, на этот любопытный факт никто из родни не обратил внимания, мне надо было собрать в одно целое разрозненные составляющие, чтобы получилась пестрая мозаика из имен.

Мой главный герой — Николай Будоль

Николай Константинович Будоль, 1902 г. р. член КПЗБ и БСРГ с 1925 г., белорус, православный, сын священника, секретарь ячейки КПЗБ в Еремичах Столбцовского повета.

Несколько лет мои поиски о прояснении судьбы члена КПЗБ Николая Будоля с 1925 года начинались с одной короткой записи:

Будоль Николай Константинович, 1902 г. р.; белорус; место рождения: с. Валежка Новогрудского уезда, Польша; образование высшее; место работы: УВЗ им. Дзержинского, лесной отдел; нормировщик. Место проживания: г. Н. Тагил. Арестован 15.10.37. Осужден 15.11.37 Особым Советом НКВД СССР по ст. 58-6 за шпионаж. Приговор: ВМН. Расстрелян 29.11.37. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 15.09.56 Военной Коллегией Верховного суда СССР. Номер дела: 19568.

Справка. «УВЗ им Дзержинского» — Уральский вагоностроительный завод, во время Великой Отечественной войны. «Уралвагонзавод» был переоборудован в крупнейший завод по производству танков. Каждый второй танк Т-34, принимавший участие в боевых действиях, сошел с конвейера Уральского завода».

В других документах значится:

Будоль Николай Константинович. Родился в 1902 г., Белоруссия, Минская обл., Новогрудский р-н, с. Валежка; белорус; вагоностроительный завод, нормировщик. Проживал: Свердловская обл., г. Нижний Тагил. Арестован 15 октября 1937 г. Приговорен: 5 ноября 1937 г. Приговор: ВМН. Расстрелян 29 декабря 1937 г.

Источник: Книга памяти Свердловской обл.

Два источника, а даты смерти не совпадают.

Формулировка приговора «Десять лет без права переписки» — страшный синоним времени. «Десять лет без права переписки» формулировка приговора, которую в период сталинских репрессий в СССР часто сообщали родственникам

репрессированного, хотя на самом деле высшая мера наказания — расстрел. Удобная форма сокрытия реальных масштабов репрессий.

Приказ НКВД от 1939 года предписывал на запросы родственников о судьбе того или иного расстрелянного отвечать, что он был осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей без права переписки и передач. Осенью 1945 года приказ был скорректирован — заявителям стали теперь говорить, что их родственники умерли в местах лишения свободы.

Письма — отдельная тема моей истории, особенно родственников, всех Будолеев, с которыми мы неожиданно познакомились. Нашлись сын и дочь Феодосия Константиновича Будоля — Валерий и Алла (Ставрополь, Россия). Внучка Николая Константиновича Будоля — Людмила Борисовна Будоль (Нижний Тагил, Россия). Двоюродная сестра Варвары — Татьяна Евгеньевна Романенко (Будоль), Москва.

И полетели взволнованные письма.

Первое письмо от внучки Николая из Нижнего Тагила Людмилы Будоль.

*Добрый день! У нас есть Книга памяти (посвящается тагильчанам-жертвам репрессий 1917—1980 гг.), издана в 1994 году. В ней есть страничка о деду Николае. Пишу так, как там написано: Будоль Николай Константинович. Родился в 1902 году в Минске. Родители: мать — учительница, отец служитель православной церкви. Николай Константинович **получил незаконченное высшее медицинское образование**, жил в Западной Белоруссии, работал учителем. Вступил в КП Западной Белоруссии, состоял в подпольной революционной организации, за что был арестован и отбыл четырехлетний срок. Через МОПР, как политэмигрант, был направлен в СССР в 1931 году. Начал работать преподавателем общественных дисциплин в вагоностроительном техникуме Нижнего Тагила, а в 1933 году направлен горкомом ВКП(б) на должность начальника отдела кадров завода им. Куйбышева. До ареста работал там же заместителем директора учебного комбината. Арестован в 1937 году и этапирован из Нижнего Тагила с приговором «10 лет без права переписки». Вероятно, был расстрелян в Свердловске. Реабилитирован посмертно 15 сентября 1956 года.*

Вот так, в этих нескольких строчках вся жизнь и судьба человека, семьи. Мы мало что знали. Когда издавали книгу, просили бабушку написать его биографию. В основном это с ее слов.

Моя бабушка — Мария Германовна Тарасова. Родилась в августе 1908 года. Умерла в июле 2008 года. Всю свою жизнь хотела найти родственников мужа. Поэтому и писала Варваре с этой просьбой. Бабушка и ее семья из Н.Тагила (уральские). Их было в семье 6 детей: 4 сестры и 2 брата. Закончила Н. Тагильский горно-металлургический техникум, работала в отделе главного механика на заводе им. Куйбышева. С Никол. Конст. познакомилась в парке на «гуляньях». Как она рассказывала, этот кавалер пристал «на смерть». И все — жена. Прожили счастливо 5 лет. А потом начались мытарства, репрессии и война. Арестовали мужа, а потом приходили и за ней. Но бабушка как-то не растерялась, ордер на арест был просрочен (более 3 дней), на руках 1,5 год. ребенок. Она отказалась идти. Больше не тревожили. Только потом во время войны заставили уехать из Н.Тагила зимой в 24 часа, как жену «врага народа». А куда? Ладно, родственники приютили с ребенком в Алапаевске (г. в Свердл. обл.). Вернулась через год к сестре. Когда устроилась на работу, дали комнату в коммуналке. Она говорила, что пока не арестовали Николая, брат Сергей жил одно время с ними, но потом исчез. Во время войны — голод. Борьба за карточки, продукты, работа... Ей писал письма из заключения приятель деду (тоже репрессированный и родом из Белоруссии). Примачок Иван Куприянович. После, как друг Николая, попросился пожить. Да так и остался. Бабушка с моим папой в 1947 году ездили в Белоруссию к его родственникам. Но в памяти у нее были всегда те 5 лет любви. Людмила Будоль.

Одна эта строчка достойна романа о любви — «...в памяти у нее были всегда те 5 лет любви».

Жена Николая прожила долгую жизнь, ей щедро было отпущено земного срока — сто лет. Но как неутешны были ее горькие дни.

После ареста мужа Мария долго надеялась, ждала, не хотела верить в самое страшное. Ночью особенно жутко, в комнате под половицей мышь завелась, скребется. Ветки деревьев от ветра за окном раскачиваются, их длинные, уродливые тени отражаются на потолке, кажется, тянутся к детской кроватке. Мария часами сидела над ребенком, шептала маленькому сыну сказки про птичку, про ежика, мышонка, прижмет его, сонного, к себе, баюкает и боится отпустить.

Она жила воспоминаниями о любви, о прошлом счастье в голодные годы войны, память о Николае согревала ей душу всю жизнь.

Рассказывала внучке, Мария нашла в ней благодарную слушательницу. Нет его могилы. Но можно каждый год в дмитриевскую субботу пойти на любое кладбище, выбрать заброшенную могилу, убрать ее, привести в порядок, поставить свечу и долго смотреть на легкое, пугливое пламя, его не может затушить зябкий, осенний ветерок, что гуляет среди могильных оград, огонек дрожит, стелется, готовый вот-вот потухнуть, но вновь вспыхивает.

Пока ноги держали, ходила Мария на кладбище, в деревянной часовне закажет молебен, посидит на скамейке. Она давно уже превратилась в немощную старуху, волнистые густые волосы стали белыми, глаза слезятся.

Сколько раз думала Мария, разглядывая себя в зеркале: «Николай не узнал бы в этой седой старухе с клюкой молоденькую, влюбленную Машу...»

Раз они после кино попали под дождь, был теплый летний вечер, решили переждать ливень под деревом. Николай быстро накрыл девушку пиджаком, ее пышные каштановые волосы рассыпались по плечам, дождевые капли блестели драгоценными брызгами. Николай порывисто прижал к себе Машу, поцеловал ее затылок, лоб, влажные, мягкие кудри, почувствовал, как она откликнулась, заволновалась, от неожиданного счастья готов был заплакать.

Первое время Маша поддразнивала парня, смеялась над его «неправильным» произношением, новыми словечками, он часто вставлял какие-то польские выражения. Николай не обижался, ласково отшучивался.

— Посмотри, дурочка, на карту, где моя Беларусь... и где Урал! Три тысячи километров. Здесь Сибирь, а там — Европа, понимаешь, Европа!.. Какая она маленькая отсюда, крошка... *moja królowa, moja piękna pani.*

— Коля, кто крошка, я или Европа? Не смейся, я — комсомолка, а ты меня королевой обзывает... на польский манер, услышит еще кто-нибудь твои буржуазные шуточки, прошу тебя, не надо..

— Ты моя королева, моя *królowa*, и не спорь...

С письмом из Нижнего Тагила пришли старые фотокарточки.

С одной из них — из такого далекого далека — из 1935 года, на меня смотрело очень знакомое и такое родное лицо. Как в молодом Николае узнавался мой муж, черты лица младшего сына. Ну надо же! Теперь понимаю, почему при первом знакомстве вновь обретенная родня смотрела на моего мужа и дружно восклицала — Будоль! Не Шатыренко, а только Будоль. Как похожи Николай с племянником, родная кровь!

1927 год особенный в истории развития белорусского национального движения в Польше. В январе 1927 года польские власти нанесли сильнейший удар по самой массовой легальной общественной организации того времени — Белорусской крестьянско-рабочей громаде (БКРГ), после которого она так и не смогла оправиться. С 15 января 1927 года начались массовые аресты и нелегальных коммунистов, и активистов легальной Громады. К концу марта 1927 года Белорусская крестьянско-рабочая громада (БКРГ) была разгромлена и как общественная легальная организация перестала существовать, сотни активистов были арестованы, многие из них осуждены на различные сроки тюремного заключения.

21 марта 1927 года появилось распоряжение министра МВД Польши, которое поставило БКРГ вне закона.

К тому времени коммунисты КПЗБ уже активно сотрудничали с Громадой, в рядах которой насчитывалось от 100 до 120 тысяч человек, более двух тысяч кружков. Польские власти увидели в таком взаимодействии двух организаций для себя большую угрозу.

Не знаю, случайное совпадение или это часть широкомасштабного плана, но в первых числах января 1927 года начались аресты членов местного отделения КПЗБ. Николай Будоль оказался в числе других арестованных лиц, всего их проходило по делу «Организация КПЗБ и ее ликвидация Новогрудским воеводским подразделением (komenda) польской полиции» 75 человек. Новогрудская полиция опередила массовые аресты в Вильно на две недели.

В Гродненском областном архиве хранятся документы, отчеты, донесения Новогрудского, Виленского воеводских подразделений государственной полиции об общественно-политических движениях, происшествиях, переписка по розыску подозреваемых лиц, списки арестованных, донесения конфидентов и другие. Изученные мною архивные документы подтвердили участие Николая Будоля в деятельности Громады и КПЗБ.

Николай был арестован 9 января 1927 года, последний, окончательный список арестованных, проходивших по делу ликвидации коммунистических организаций, запротоколирован 9 ноября 1927 года, т. е. почти год шли допросы.

В донесении в Варшаву (Лист 358/v/27. 265) Новогрудская Коменда воеводской польской полиции (РР) прилагает копии сводных отчетов, к ним фотографии арестованных, отпечатки пальцев.

Допускаю, что сопровождавшие по каждому арестованному лицу фотографии и другие документы хранятся в архивах Варшавы, какая-то часть из них исчезла. Хотя о судьбах большинства подсудимых Новогрудской тюрьмы, проходивших по этому делу, мне скоро станет известно из новых документов.

Весь 2012-й и 2013 год тоже пребывала в полном неведении, куда все же этапировали заключенного Н. Будоля, но мои свежие находки за 2014 год увенчались успехом. В журналах гродненской следственно-карательной тюрьмы за 1928—1929 годы, наконец, нашлись следы пребывания Николая Будоля и его товарищей по новогрудской тюрьме.

Но вернусь к январю 1927 года.

Идут допросы, арестованных обвиняют в принадлежности к запрещенной на территории Польши нелегальной организации КПЗБ.

Читаю один служебный документ (л. 399), на нем нет грифа «секретно», но из текста следует, что использована информация донесений тайных конфидентов. Перевод текста авторский.

Новогрудок 9.01.1927 г.

Окружному Прокурору в Новогрудке

Согласно распоряжению прокурора от 4 января (1927 года) были арестованы жители Столбцовского повета за их участие в организации Коммунистической партии Западной Белоруссии.

Обыск, проведенный среди арестованных, с небольшими исключениями, как и показания Лагоды Александра и Самойловича Тихона, не дали желаемых результатов, т.к. были технические трудности в проведении обыска (в т. ч. неожиданно быстрое решение власти о ликвидации коммунистической организации на территории Столбцовского повета, имеющей связь с организацией КПЗБ в Новогрудке. В это время в Новогрудке были большие снегопады, не было транспорта. Из-за этих причин невозможно было объединить полицейских в разных пунктах для проведения необходимых обысков).

Арестовано 43 человека, подозреваемые в принадлежности к коммунистической организации, доставлены в Новогрудок. Перед арестом сбежали Парфимович Ян из Мира и Клавсуть Юстын из Синявской Слободы. Прилагаются их персональные данные.

Допрошенные в полиции, признали свою вину, а также обвинили других: Юрыс Константин, Будоль Николай и Самец Владимир. Кроме того обвинительные признания дали свидетели: Волчек Люциан и Янковский Ян, которые по совету полицейских властей обвинили указанную организацию, с целью ее уничтожения. Кроме упомянутых выше свидетелей ценные показания дали: подкомиссар Хенрик, przod. Пясиковский, przod. Касек и дознаватель (следователь) Крепский из Комиссариата Полиции (Kontrol) Столбцов. Кроме того другие гражданские свидетели: Ярешко Станислав, Судник Адам и Дочковский Юлиан. Также дали отягчающие признания по этому делу арестованные Любчанский Янкель и Жук Ян. Независимо от приведенных доводов, учитывая также протоколы признаний свидетеля (sw. p.) Кузьмы Александра, находящиеся в актах следствия судебных властей, обвиняемого в убийстве того же.

Арестованные за убийство Железнякович Павел, Нос Шимон, Царюк Владимир и его отец, как следует из признаний Самца Владимира и свидетеля Янковского Яна, принадлежали к вышестоящей организации.

Из арестованных во время ликвидации 27 человек являются одновременно деятелями Белорусской Селянско-Рабочей Громады, среди которых один инструктор Центрального Комитета, 2 секретаря поветового комитета, 3 председателя гминных комитетов, остальные председатели и члены кружков.

Проведенные аресты ликвидировали подразделение КПЗБ в Еремичах и частично 13 ячеек в количестве 43 человек. Прокурор по обвинительному заключению освободил 3.01.1927 г. 15 человек.

Ян Можсейко, в отношении которого прокурор не принял решения, остается арестованным до решения прокурора. Отягощающих материалов, кроме показаний подкомиссара Хенриха, дознавателя Крепского, сообщения которых являются конфиденциальными, относительно Можсейко нет. Остальные 27 человек, согласно решению прокурора, направлены 8.01.1927 г. в тюрьму в Новогрудке до решения судьи следственного окружного суда в Новогрудке.

Кроме того, еще не арестованы как члены уничтоженной партии, выданные Самцом Владимиром, Юрысом Константином следующие лица:

1) Царюк Николай, сын Лаврина, старшего боевика и члена коммунистической организации.

2) Арабей Николай, сын Прохора из Большой Обрины, боевик, член КПЗБ.

3) Буховец Тихон, псевдоним «Хромой» из Жухович, член КПЗБ, возил делегатку КПЗБ.

4) Походенко Алексей из Малой Обрины, член КПЗБ, распорядитель коммунистических бумаг.

5) Курило Владимир из Скорач, член КПЗБ, разбрасывал коммунистические лозунги в Зажече.

Кроме вышеперечисленных свидетель Янковский Ян обвиняет следующих лиц в причастности к коммунистической организации:

Евтух Ян из Еремич, Царюк Владислав из Большой Обрины,

Пушко Степан из Большой Обрины,

Дедечко Антон из Долгинова,

Керхерт не действительный большевик из Долгинова,

Бразовский Афанасий, Мороз Владимир, Бутько Ян, Гурин Ян, сын Яна, Бразовский Григорий — все жители Быкович,

Арабей Базыль из Погожелки, Мороз Григорий из Тарасевич,

Рачко Дмитрий из Ладки,

Станкевич Наум из Турца,

Василевский Николай из Синявской Слободы, Янковский Юзеф из Рудьмы.

В отношении этих личностей дали показания подкомиссар Хенрик, дознаватель Крепский. Однако эти сведения добыты конфиденциальным путем. Не давая хода дальнейшим действиям, прошу прокурора о принятии своего решения, каких лиц из вышеперечисленных следует дополнительно арестовать.

Заключенных: 57...

Из протокола допроса — Николай Будоль проходит как студент последнего курса медицинского университета. До сих пор для меня загадка: в каком университете учился Николай. В Вильно или Минске? Если в Вильно, то он был на легальном положении, жил в Еремичах, значит, являлся гражданином Польши. А если учился в Минске, тогда был гражданином БССР? Вопросы без ответов...

Почему-то вспоминаются давние слова моего школьного учителя истории — в Беларуси была своя «Сібір». На Новогрудчину ссылали в каторгу, как в Сибирь, в этих местах холодная сторона. С тех пор засело в памяти, что Новогрудская сторона даль несусветная, там лютуют морозы и какие-то особенно страшные тюрьмы для политических заключенных.

Послесловие

Повесть «Николай — старший брат Варвары. Хроника одной архивной папки» писалась долго и мучительно, на то были свои причины. В книге используются архивные, музейные, газетные документы, исторические источники, воспоминания и письма родственников, старожилов из Кореличей, Новогрудка, деревень Еремичи, Любча, Вересково, Валевка и других. В процессе написания книги не могла обойтись без помощи многих других людей — сотрудников архивов, музеев, краеведов, журналистов.

Заранее приношу извинения всем, кто ожидал от моих изысканий больших результатов. Возможны ошибки, хотя сверяла все факты, документы, события, источники. Оговорка — ведь я не профессиональный историк — не может быть оправданием.

Но я старалась быть предельно деликатной и нейтральной. Прошло слишком много времени — почти девяносто лет, между прошлым и будущим произошел разрыв, который повлек за собой необратимые потери.

Мои попытки реставрировать прошлое многому меня научили, возможно, в будущем продолжу книгу, дополнив ее событиями из партизанской войны 1941—1944 гг. в Налибокской пуще.



Евгений ПОДЛЕСНЫЙ

Белорусское Средневековье: политика, культура и традиции

В настоящее время с регулярной последовательностью появляются «исследования», проекты, проводятся презентации различного рода работ, которые раскрывают всё «новые» и «новые» страницы «неизвестной» истории Беларуси. Готомания, полономания, шляхетомания... уже стали классикой современной политической жизни. Приверженцы этих взглядов, являясь, безусловно, талантливыми людьми, «грешат» грубой фальсификацией истории ВКЛ, превращают Речь Посполитую в «Бацькаўшчыну» и «Айчыну» белорусов, а «Московию» и Россию в некоего злобного и ужасного «Голиафа».

Фактически в Республике Беларусь по-прежнему господствует так называемая школа «адраджэння». Только ныне «неправда» в научных исследованиях, учебниках по истории Беларуси и публицистике приобрела утонченную форму поиска «объективных» истин под девизом «политкорректности». Доходит до того, что на третьей международной научно-теоретической конференции в Минске (2006) польский генерал Довбор-Мусницкий вошел в число «Знакамітых мінчан XIX—XXстст.». А некоторые представители белорусской интеллигенции считают, что руководитель Белорусского бюро пропаганды при министерстве пропаганды фашистской Германии Фабиан Акинчиц «...ставіў перад сабой неадназначную, на сённяшні момант вельмі актуальную мэту, — адраджэнне беларускай нацыі...». Созданный при его участии в 1943 году Союз белорусской молодежи был образован, по их мнению, для «...супрацьстаяння ўплыву савецкай прапаганды, а таксама росту нацыянальнай самасвядомасці і падрыхтоўкі кадраў для будучай беларускай дзяржавы».

В этих словах отражается позиция целого направления общественной мысли Республики Беларусь, согласно которой в 1941—1944 годах на территории генерал-губернаторства (приблизительно одна треть современной Беларуси) под властью фашистской Германии были созданы все элементы белорусской государственности, включая и армию. Но этот процесс был разрушен с приходом советских войск и последовавшей вслед за этим оккупацией.

В той или иной степени эти идеи и теоретические взгляды на историю Беларуси тесно связаны с современными белорусскими «адраджэнцамі», и в частности, с творцами «неизвестной истории». Последние взяли на себя миссию изменить основополагающие устои нашей страны (в их трактовке — «антибренды»). Предполагается сделать Беларусь «полноценным независимым государством», а белорусов «самодостаточной нацией». Для этого, считается, необходимо сменить государственную идеологию, провести «революционные» преобразования в обществе и государстве. Один из новых проектов «неизвестной истории» — «Беларусь превыше всего!» — выступает в качестве программы системных преобразований белорусского общества. В нем содержатся следующие требования: «Изменить концепцию происхождения белорусов со славянской на балтскую. Это вырвет белорусов из российского контекста... Белорусы — балтский народ, в силу исторических причин перешедший на славянский язык восточного христианства.

Изменить концепцию государственной преемственности от Киевской Руси на традиции Великого Княжества Литовского... Изменить ключевую характеристику нации... Надо ввести принципиально иной тезис: белорусы — нация крестьянско-шляхетская. Этот шаг позволит реализовать аристократическую составную белорусского народа... Изменить название страны и народа. Белорусы должны осознать, что названия «Белоруссия» и «белорусы» являются колониальными. Их придумали для наших предков в конце XVIII века власти царской России специально с целью замены терминов «Литва» и «литвины»... Исходя из смысловой кодировки названия, «белорус» — это православный крестьянин, в современной интерпретации — советский колхозник, покорный трудяга, для которого главная ценность — алкоголь...». Считается необходимым назвать современную Беларусь «Литвой (Вялікалітвой)», а белорусов «литвинами (ліцьвінамі)».

Белорусам предлагается отказаться от самообозначения «белорусы», в собственном государстве, на своей земле стать политическими изгоями, «покаяться» и превратиться в совершенно непонятных «литвинов». В данных действиях просматривается закономерная последовательность в реализации определенных политических намерений. Активная работа по утверждению в белорусском обществе литвино-польских этнокультурных ценностей в качестве духовного базиса белорусской нации позволила перейти к следующему этапу: через замену политических категорий «Беларусь» и «белорусы» на «Литву (Вялікалітву)» и «литвины (ліцьвіны)» предлагается ликвидировать их национальное государство.

Ниспровергатели белорусского направления развития нашей страны представили евроатлантическую идею через противопоставление «Литвы-Беларуси» дикой азиатской «Московии». «Литва-Беларусь», которая, по их мнению, была родиной абсолютного большинства предков современных белорусов, являлась форпостом европейской цивилизации. Кто откажется быть наследником средневековых защитников европейских ценностей от московских варваров? В их интерпретации белорусские магнаты и шляхта, будучи национальными символами, извечно воевали с Москвой. Тем самым формируется понимание антирусскости как исторической черты белорусского народа, что подрывает этнокультурные основы национальной самоидентификации современных белорусов. Распространению такого мнения способствует деятельность многих историков, публицистов и СМИ, которые идеи польского и полонизованного шляхетства XVIII—XIX веков внедряют в массовое сознание в качестве национальных социально-политических ценностей через культуру, образование и искусство.

Вместе с тем надо признать, что во многом благодаря «адраджэнцам» в широких народных массах пробудился неподдельный интерес к истории белорусского народа. Утвердившаяся в Беларуси теория «адраджэння» образца начала 90-х годов XX века являлась вынужденным компромиссным решением проблем создания исторической основы становления молодого белорусского государства. Историческая наука БССР находилась в коматозном состоянии, ее идеи подвергались всяческому поруганию. Она не могла ответить на вызовы того времени, вставшие перед суверенной и независимой Беларусью. В свою очередь «адраджэнцы» с их историческими мифами выглядели достаточно привлекательно в обстановке неопределенности тех времен.

В настоящее время пропольская теория демонстрирует свою слабость, входит в противоречие с процессами становления и развития белорусского государства, политизирует белорусскую историю, создает вместо нее некий постпольский «модерн» в угоду определенным политическим силам. Не обладая достаточной доказательной базой, ее последователи предпринимают попытки опираться на генетику и лингвистику, особо уповая при этом на события IV—VI веков нашей эры, когда рушились многовековые цивилизации, происходило «великое переселение народов» и колонизация славянами балтского этноса. Сторонники этой теории используют сомнительные сведения и исто-

рические факты взаимоотношения славян и балтов в регионе «летописной» Литвы, место нахождения которой в их трактовке вызывает все больше вопросов. Некоторые авторы нередко используют «желтую» псевдоисторию из российского медиапространства. Но эти попытки только подчеркивают политическое и научное банкротство их авторов, ибо если бы такой практики придерживались и в других странах применительно к своей истории, то мир просто впал бы в безумие и анархию.

Здесь уместным будет привести слова известного историка, главного редактора «Беларускай Думкі» Вадима Гигина в его статье «У пошуках самаідэнтычнасці». В ней он прямо и откровенно высказал свое отношение к «святым прадстаўнікам інтэлігенцыі»: «Можа, хопіць ужо будаваць адзін за другім гісторыка-культурныя міфы? Бо на міфах нацыю не пабудуеш, а тыя міфы, як замкі з пяску, будуць змыты хваляй народнай памяці. Калі ўжо мы навучымся глядзець на сваю гісторыю шчыра і сумленна, а не падфарбоўваючы асоб, падзеі, з’явы? Нашто нам цягнуць у свой пантэон герояў людзей, якія, у лепшым выпадку, былі ўсяго нашымі землякамі, і надзяляць іх марами, якімі яны не былі апантаны, ідэямі, якія ім не валодалі? І, нарэшце, магчыма, асобным прадстаўнікам нашай інтэлігенцыі ўжо досыць выдумляць, хто яны — літвіны, крывічы, вялікалітоўцы ці хто там яшчэ, а стаць ужо сапраўднымі беларусамі. Мо і самабытнасць з самаідэнтычнасцю тады захаваем».

Выбирая те или иные национально-государственные системы и этнокультурные группы в качестве своих предшественников, мы воспринимаем идеологию их элиты, духовный мир, свойственные им политические, нравственные взгляды и ценности в качестве исторического базиса государственной идеологии независимой Беларуси, белорусской культуры и национальной идентичности. А если они несовместимы с менталитетом и духовностью большинства жителей страны?

Поэтому представляется целесообразным акцентировать внимание на: наличие в средние века на землях нынешней Беларуси двух этнокультурных групп некогда единого «русского» народа, но цивилизационно разделенного усилиями Польши и литовской католической знати; отрицательном влиянии на белорусскую государственность фетишизации литвино-польских культурных ценностей; политических последствиях превращения в белорусские национальные истоки средневековых деятелей культуры из числа католической знати, самообозначавших себя «поляками» и «литвинами».

«Русские» ВКЛ

При исследовании средневековой эпохи на территории современной Беларуси необходимо обратить внимание на несколько проблем, которые лежат в основе системного понимания политико-национальной сущности государственных образований, процессов формирования этнических сообществ на белорусских землях того времени. Одна из них заключается в том, что в основе польского и белорусского народов лежат разные этнические сообщества. Продвигающиеся на восток в (V—VIII вв.) анты (восточная ветвь славян) явились далекими предками белорусов, большинства украинцев и русских. Склавины (западные славяне) были такими же далекими предками поляков... Уже тогда современники выделяли много различий между антами и склавинами, что послужило основанием для культурного и цивилизационного противостояния их будущих поколений. Нынешние бесконечные предположения на тему: «Белорусы и поляки близнецы-братья...» не что иное, как горячее желание авторов выдать желаемое за действительность. Другой принципиальной чертой белорусского Средневековья является отсутствие цивилизационного единства среди его населения. Основные

этнокультурные группы «литовцы», «литвины», «русские» с их духовными и политическими ценностями принадлежали к разным цивилизациям. «Литовцы» к балтско-языческой, потом по мере распространения католичества в ВКЛ, как и «литвины», были в ареале западно-христианского сообщества, а «русские» относились к восточнославянскому цивилизационному пространству, составной части восточно-христианской цивилизации.

В настоящее время существует более десятка концепций возникновения Беларуси (польская, великорусская, кривичская, кривичско-дреговичско-радимичская, балтская, финская, теории Сергея Токарева, Михаила Ткачева, Георгия Штыхова, Николая Ермаловича, Михаила Пилипенко). Представители каждой из них строят доказательную базу на своей логике исторического процесса. Однако наличие «русского» мира на белорусских и прилегающих к ним землях в эпоху раннего Средневековья, принадлежность к нему предков белорусов в той или иной степени признается большинством белорусских историков.

«Руские» с одним «с» употребляется согласно документам той эпохи. Если же идет перевод с польского и латинского языков, при этом цитируется какой-либо автор, использующий перевод, то часто пишется два «с» в соответствии с оригиналом авторского текста и сложившейся современной практики.

«Руским» население на территории средневековой Беларуси стало в результате сложной и длительной эволюции, вызванной миграционными волнами планетарного масштаба: неолитическое население на территории современной Беларуси подверглось ассимиляции пришедшими индоевропейцами (3—2 тысячелетие до н. э.), что способствовало появлению балтской цивилизации. Балты, в свою очередь, во время их колонизации ответвлением славян послужили субстратом (подосновой) для новых славянских сообществ. В силу ряда причин на землях, населенных балтами, финно-угорскими и тюркскими племенами, которые подверглись колонизации славянами (антами), возникла новая протонародность — «восточные славяне» (предки современных белорусов, русских, украинцев). На территории Беларуси это были дреговичи, радимичи и кривичи, частично северяне, древляне, волыняне, расселившиеся там на протяжении VI—X веков. Постоянное укрепление политических и экономических связей между восточнославянскими племенами вело к появлению общих черт, способствовавших образованию нового этнического сообщества (древнерусского) с единой письменностью, языком, культурой и этническим самосознанием, а в последующем и религией — христианством Византийского обряда. Появилась основа для создания государства под названием Киевская Русь (862). По определению Евгения Новика, оно носило характер: «...феодального федеративного государства-монархии с мощной военной организацией».

Несмотря на кровавые феодальные разборки и стремление к самостоятельности древнебелорусских княжеств-государств (Полоцкое, Туровское и др.), все они в той или иной степени в разные времена входили в состав Киевской Руси. После ее распада (начало XII века) на территории современной Беларуси, вошедшей в историю как Западная Русь, развитие получили государственные образования — «княжения» (до 20 княжеств). С созданием ВКЛ его федеративные образования — удельные княжества (Полоцкое, Витебское, Смоленское), часть территории собственно Литвы, особые автономии Киевской, Волынской и Подольской земель продолжали оставаться «русскими» вместе с удельными князьями. Этим обстоятельствам всячески способствовали устоявшиеся экономические связи между княжествами на основе общности территории, языка, культуры, быта, социально-психологического склада, религии, традиций, обычаев, нравов, духовного единства населения. Образовался исторический парадокс Великого Княжества Литовского: 80—90 % его населения составляли православные «русские», а во главе страны языческий клан этнических литовцев. Было естественным, что в первоначальный «русско»-литовский период ВКЛ литовские элиты постоянно

эволюционировали в сторону восточно-христианской цивилизации. Так, культура, письменность (ввиду отсутствия таковой на то время у литовцев), официальный государственный язык, законодательство, военная организация и военное искусство Великого Княжества Литовского были «рускими». Православие все очевиднее становилось государственной религией ВКЛ. На это указывает тот факт, что из семи сыновей Гедимина четверо были крещены в православие, а все двенадцать сыновей Ольгерда принадлежали к православной вере, в том числе и Яков Ягайло, ибо их матери были «рускими» княжнами. Гедимин и Ольгерд обращались к Константинопольскому патриарху с просьбой о создании в ВКЛ православной митрополии. Она была образована в 1317 году, хотя в последующем и закрывалась, и вновь открывалась. На то время, по мнению некоторых ученых, существовали реальные предпосылки превращения Великого Княжества Литовского в Западнорусское государство, если бы был преодолен этнический эгоизм литовских правящих элит.

Не все белорусские историки согласны с такими выводами. Значительное количество из них придерживается других позиций. К примеру, используя объективный факт наличия в составе ВКЛ Руси и Литвы, ряд современных белорусских исследователей, в частности Николай Ермалович и др., попытались распространить название «Литва» на средневековые земли Беларуси. В качестве альтернативы данной точке зрения в настоящее время на основе средневековых карт Львом Козловым составлены атласы ВКЛ, в которых определено место летописной Литвы: современные юго-восточные литовские и северо-западные белорусские земли (незначительное количество). Основная часть земель ВКЛ называлась «Русью». Об этом же говорят практически все документы раннего и позднего Средневековья, в том числе и польские, других европейских стран, которые земли Полоцкого, Туровского и образованных на их основе других княжеств однозначно считали «Русью», а ее жителей «рускими», «русинами», «русами», «русичами».

Для подтверждения данных слов обратимся к историческим документам, подлинность которых подтверждена различными экспертизами. К ним относятся знаменитые «Письма Гедимина», в которых Гедимин представлен как «...король литовцев и всех русских». Термин «литвины», который нынешние «адраджэнцы» пытаются навязать для названия населения ВКЛ, как мы видим, не применялся. Из послания Гедимина монахам ордена бернардинцев, датированного 26 мая 1323 года, видно, что в Вильно и Новгороде (Новогрудок) живет население, использующее «русский» язык и исповедующее «свою» «русскую» веру — православие. Данное положение опровергает попытки отнести Новгородское княжество к летописной Литве. «Мирный договор Гедимина с Орденом, датским наместником ревелльской земли, епископами и Ригой» (1323) выделяет русские земли в отдельные территории Литовского Княжества: «...Вот земля, на которой мы установили мир: с нашей стороны Аукштайтя и Жемайтя, Плессеков и все [земли] русских...». «Торговый договор Гедимина с Орденом» (1338) конкретно говорит о двух национальных субъектах литовского государства: «...немецкий купец может ехать по Руси и Литве безопасно». В грамоте литовского князя Герденя «О заключении от имени Полоцкого и Витебского княжеств мирного договора и установлении торговых отношений с Ригой и Готландом» (1264) Полоцкое княжество называется не Литвой, а землей русской: «Руськая земля словет Полочьская». Летописцы крестоносцев, описывая походы своих отрядов на средневековую Беларусь, как правило, использовали термин «Русь». Этих же правил придерживается немецкая «Хроника» Германа Вартберга: «В 1348 г. прусские братья опустошали с войском... землю языческих литовцев... битва, в которой пало более 10 000 литовцев и русских, призванных на помощь из различных мест... Лантмара (Владимир), Брейзика (Брест), Витебска, Смоленска и Полоцка». «Жалованная грамота» великого князя литовского, короля польского Жигимонта II Августа от 1563 года, в которой уничтожались унижительные поло-

жения Городельского сейма, была обращена не к православным «литвинам», а в ней говорилось: «...станы Руских земель... яко Литовского, так и Руского народу... люди веры хрестиянское, яко Литва, так и Русь...». Не менее интересны слова, которыми начинается булла папы Климента VIII от 23 декабря 1595 года «О подчинении группы высшего православного духовенства Папе Римскому»: «Русские (рутэни) епископы и вся эта богатая и славная нация...». Надо полагать, что католический Рим хорошо был осведомлен о названии народности, проживающей в Речи Посполитой на землях ВКЛ.

В настоящее время широко распространилась практика называть все население ВКЛ «старобелорусами», логично предполагая, что Великое Княжество Литовское было средневековым белорусским государством. Однако анализ документов Великого Княжества Литовского, Русского и Жемойтского говорит о том, что нужен сдержанный подход в этом вопросе. Трудно назвать государство белорусским, если его территория простиралась от Балтийского до Черного морей, от Вязьмы на Востоке, до Буга на Западе. Земли современной Литвы в нем занимали 10 %, Беларуси — 30, Украины — 33, России — 23. Во главе страны стояли этнические литовцы. Приход в более позднее время во властные структуры ВКЛ «литвинов», самосознание которых мало предполагало что-либо национально белорусское, также не дает оснований для таких утверждений. Скорее Великое Княжество Литовское представляло из себя интернациональный (наднациональный) конгломерат народов и народностей, соединенных в единое целое волею исторических обстоятельств и личностными качествами литовских князей.

На определенном этапе в силу ряда причин на западнорусских землях социально-экономические и политические процессы общества начинают приобретать различную цивилизационную направленность. «Руская» знать все больше становилась частью западнохристианской цивилизации. Надевая польские кунтуши, разговаривая на польском языке, отвергая обычаи, традиции, веру и культуру предков, ее представители отрывались от своих корней, превращались в польский этнос, в социально-политический и этнический антагонизм основной массе народа. Они вошли в историю под названием «литвины». Другая часть «русских» белорусского Средневековья постепенно формировалась в этнокультурную группу, ориентирующуюся на восточнославянскую цивилизацию. Ее со всем основанием можно называть «старобелорусами» или «западнорусами». Нахождение в составе Великого Княжества Литовского накладывало определенный отпечаток на их духовный мир, национальную идентичность. Они, в какой-то степени, уже отличались от жителей средневековой Московии, хотя по-прежнему считали себя частью единого «русского» мира.

«Руские» (старобелорусы), как этноним, представляли собой в ВКЛ часть населения со своей культурой и идеологией. Это были крестьяне в деревнях, торговцы с ремесленниками в городах, православная знать, часть протестантов, соотносивших себя с «русскими». Их экономическими и культурными центрами стали города Великого Княжества Литовского. Во многом этому способствовало сословное единство большинства горожан и их одинаковое этническое происхождение. До 80 % населения западнорусских городов составляли «русские». Почти все ремесленники и купцы, в том числе и богатые, были выходцами из крестьян. Их духовность, внутренний мир уходили своими корнями в первооснову государственности на белорусской земле — Полоцкое княжество-государство.

В городах достаточно высоко было развито ремесленное производство. В первой половине XVII столетия в Беларуси насчитывалось до 220 профессий: в Бересте — 68, Городне — 56, Могилеве — 60, Минске и Полоцке по — 50 и т. д. На примере города Клецка можно видеть динамику роста числа ремесленников: 1552 — 6, 1575 — 42, 1626 — 87, 1641 — 261, которые, как и во всех городах, объединялись в цеха. Функциональная деятельность цехов далеко выходила за пределы производственных отношений, т. к. они были цементирующим зве-

ном социально-политического устройства городов (в своих рядах объединяли жителей и подчиненных магистрату, и находящихся вне юрисдикции городских властей, в «юридиках»), формировали личностные черты горожан, являлись важнейшими элементами городского общежития. Необходимо также указать на появление в Беларуси промышленных предприятий как предвестников прокапиталистических тенденций. Так, в Минске уже в XVI веке были открыты мукомольная мельница и две бумажные мануфактуры, воскобойня, топильня и т. д.

XVI—XVII века были временем начала буржуазно-демократических революций, временем пробуждения национального самосознания у европейских народов. Купечество имело связи с Польшей, Ливонией, Пруссией и Россией, наиболее богатые доходили до Турции, Бранденбурга и Силезии. Белорусы поступали в европейские университеты. Социально-политические идеи Реформации не могли не сказаться на духовности белорусской народности. Это проявлялось в том социальном достоинстве, которым обладали жители белорусских городов. Монахи-доминиканцы, характеризуя жителей города Пинска, в 1648 году писали: «Жители приобрели такую силу и богатство, что было множество горожан, имевшихъ въ торгу по сто тысячъ... возгордившисьъ и пренебрегши сперва начальствомъ, его милостью королемъ, уже избраннымъ, сенатомъ и княземъ...». В отличие от горожан евреев и поляков, ориентировавшихся на Польшу, белорусы были преданы *своей* вере и духовным идеалам. Эти обстоятельства способствовали развитию культуры и образованию белорусов. Центрами их распространения стали православные братства. Характерным было создание первого православного братства в Могилеве (1589). Оно было образовано не при церкви, а цехом скорняков, которые представляли самых богатых горожан города.

Жители средневековых белорусских городов выделились в отдельное сословие свободных граждан, получивших название «мещане». Их количество в этот период постоянно увеличивалось. К примеру, количество жителей Могилева возросло с 6305 человек в 1577 году до 11 055 в 1604-м, а число ремесленников — с 32,3 % до 43,5 % от общего числа горожан.

Представители городов из числа западнорусской народности принимали определенное участие в политической жизни страны. Они были депутатами сеймов ВКЛ, ведущих свое начало от «русского» вече и территориально-сословных съездов земель Литовского княжества. В них принимали участие шляхта, бояре и мещане. Здесь необходимо остановиться на Магдебургском праве, которое утверждалось как инструмент организации городской жизни ВКЛ. Принципиальным отличием Магдебургского права в Беларуси от немецкого было то, что изначально главы городов (войты — нем. *voigta*'a) не избирались горожанами, а назначались королем или владельцем города. При этом «войтовство» и «староство» продавалось, покупалось, передавалось по наследству и т. д., порождая тем самым казнокрадство и чудовищную коррупцию. Магдебургское право в частновладельческих городах (более 40 % от общего количества) полностью контролировалось их владельцами. На примере Слуцка можно проследить сущность «демократии» белорусских магнатов. Введенное в городе Магдебургское право (1441) было по прихоти слущких владельцев фактически отменено в начале XVI века. Согласно «привилее» короля (1652) и решению сейма (1653), оно вновь утвердилось в Слуцке. Однако Богуслав Радзивилл (владелец города) в качестве органа «самоуправления» лично назначил пожизненно 12 членов городской «сессии» (1654), поставив над ними «директора» — военного коменданта с правом руководить городом помимо «сессии». И только 9 сентября 1700 года Слуцку было даровано право реального городского управления. Сложность взаимоотношений городских администраций с населением порождали постоянные протесты последних. Только в Минске отмечены выступления горожан, в том числе и вооруженные, в 1600, 1609, 1616, 1617 годах. Стойкость и мужество белорусов заставляли и войтов, и королевские власти зачастую идти им на уступки.

Духовной основой и системообразующим национальным признаком «русских» (старобелорусов) было православие. До Кревской унии (1385) его исповедовали практически 100 процентов населения западнорусских территорий. Даже в конце XVI—XVII столетия в «берестейских» городских актах встречаемся с отождествлением «русской национальности» и «гретской веры», а православная «Русь» там всегда противопоставлялась «ляхам» и «римо-католикам». Свидетельства одного из авторитетнейших иезуитов того времени Антонио Поссевино прямо говорят о конфессиональных предпочтениях «русских» (белорусов) ВКЛ: «Въ Руси... Литве... присоединенныхъ къ Короне Польской областяхъ, жители, хотя и состоять подданными католиковъ, упорно привержены къ греческой схизме (православию)».

Среди «русских» жителей на нынешних белорусских землях Литовского княжества возникло подобие некой «мультикультуры» Средневековья в формате естественной (не диктуемой сверху, а идущей от народных масс) церковной унии и конфессиональной толерантности, когда ни у кого не вызывало удивления посещение католиком близлежащей православной церкви и наоборот. Социальное партнерство между представителями двух основных вер ВКЛ на принципах равенства закреплялось законодательно. К примеру, в Вильно, где позиции католицизма уже окрепли, действовала грамота Жигимота I: «городская администрация и городской судъ въ Вильне должны были состоять изъ равного числа католиковъ и равного числа православныхъ», согласно которой в магистрат и другие руководящие органы их члены избирались в равном соотношении от двух конфессий. Там же, где по-прежнему господствовало православие (Витебск, Могилев, Орша...), руководство городов было представлено в основном только православными жителями, как правило, представителями богатых слоев общества. При этом, хотя государственные структуры как-то и пытались сгладить конфессиональное противостояние, но в целом они всячески стремились расширить зону влияния католицизма. Слова того же Антонио Поссевино, участника и очевидца тех событий, не оставляют сомнений в истинных целях политики польско-литовских элит: «Сенать, и прежде всего король (Баторий), который относится подозрительно къ ихъ вере, желаетъ, чтобы они («русские». — *Е. П.*) сделались католиками». То есть процессы естественного конфессионального примирения XV — начала XVI века рождались не в коридорах власти, а в гуще народных масс западнорусских земель ВКЛ.

Некоторые «русские» просветители, не являясь православными, крайне уважительно относились к вере своих отцов и дедов. Например, Василий Тяпинский, будучи протестантом, свой перевод «Евангелия» на старобелорусский язык сопроводил старославянским церковным текстом и на собственные средства напечатал его в 1570 году. Он высоко ценил свой «зацный, славный, острый, доствипный» народ, способствовал повышению уровня его образования, морали, нравственности и укреплению «русской» культуры, отмечая, что «славные предки» имели свое письмо и «в размаитых языках учоными были».

Да и Франциск Скорина — совесть и великий защитник «русского» народа, переведший Священное Писание на язык своих земляков и издавший «Библию Руску», по последним данным, не был православным. Однако материальную помощь и поддержку в Вильно ему всячески оказывали виленский бурмистр Якуб Бабич, в доме которого он основал свою типографию (1521), и член городского магистрата Богдан Онков — активные участники Виленского православного братства. Свои труды белорусский первопечатник, несмотря на явно католическое имя Франциск, адресовал православной аудитории, и они во многом соответствовали православным канонам, как, например, знаменитая «Псалтырь». А в «Малой подорожной книжке» он приводит прямые молитвенные обороты, рассчитанные на православных: «Утверди, Боже, святую православную веру православных христиан во век века».

Белорусы Речи Посполитой

Закономерным итогом экономических и социально-политических процессов на землях средневековой Беларуси было все большее утверждение самообозначения «русских» как отдельной этнокультурной социальной группы — белорусской народности. Для нее было характерным неприятие экономического, политического, социального и духовного насилия со стороны властей Речи Посполитой. На землях Западной Руси появляется тенденция называть восточную и центральную части белорусской этнической территории «Белой Русью», а ее население обозначать этнонимом «белорусы». Будет целесообразным более подробно рассмотреть исторический генезис понятий «Беларусь» и «белорусы».

В средние века название «Белая Русь» применялось, как правило, к северо-восточным землям Московского княжества и ко всему государству в целом. Это подтверждается множеством различных документальных источников. В частности, на карте Польши и Венгрии, изданной в 1540 году, «Белой Русью» называется исключительно Московское государство. Оно именуется «*Moscovia sive Russia Alba*» («Москва или Белая Русь»).

После распада единой «русской» церкви появляется понятие «Великая Русь». В 1300 году митрополит Максим из-за татарских набегов перенес свою столицу из Киева во Владимир на Клязьме. В ответ на это Галицкий князь Юрий I добился своей отдельной митрополии «Галицкой» в 1305 году. За ней закрепилось название «Малая Русь». Соответственно, митрополия «Киевская и всяя Руси» стала «Великой Русью». Эти названия прижились на «русских» территориях. Российский историк XX века А. Соловьев в своей работе «Великая, Малая и Белая Русь» приводит список разделенных епархий 1347 года. Так, Киевской митрополии (Великой Руси) подчинялись: «Великий Новгород, Чернигов, Суздаль, Ростов, Великий Владимир... Полоцк, Рязань, Тверь...». Далее к «Великой Руси» причисляются Киев и ряд городов Московского княжества.

Тогда же «Белая Русь» и «Великая Русь» становятся синонимами. «В 1413 году магистр Ливонского ордена пишет великому магистру в Пруссии, что Витовт сговорился против них с Новгородом, Псковом и Великой Русью (*mit den grossen Reussen*). Любопытно, что великий магистр, сообщая об этом чешскому королю, пишет, что Витовт заключил союз с Псковом, Великим Новгородом и со всем русским языком (*der ganzen Russchen Zunge*) и что придется воевать с «Белой Русью» (*mit den Weissen Russen*). Следовательно, то, что ливонский магистр называет Великой Русью, для магистра Пруссии есть «Белая Русь». То же мы видим из повествования Симеона Суздальского (середина XV века), который описывает обстановку накануне Флорентийского собора, посвященного объединению западной и восточной христианских церквей. Византийский правитель, излагая просьбу подождать русское посольство, говорит следующее: «И не собороваша долго, ожидающе отъ великия Руси митрополита Исидора по совету его... яко восточнии земли суть Рустии и большее есть православие и высшее христианство Белье Руси, в них же есть государь великий, братъ мой Василий Васильевич».

В 1458 году происходит окончательное разделение русской церкви на западную и восточную. Западные митрополиты стали именоваться «митрополит Литовский и всяя Руси», восточные — «Московский и всяя Руси». Интерес представляет то, что полоцкие земли относили к «Великой Руси» и, соответственно, «Белой Руси». Польский историк XVI века Ян Длугош отмечал, что река Березина «вытекает из болотъ и пустынь Великой Руси подле города Полоцка — *ex paludibus et desertis Russiae maioris prope oppidum Poloczko*»). То есть, обозначение полоцких земель «Великой Русью» способствовало распространению на них эпитета «Белая Русь». Очевидно, всеми этими обстоятельствами объясняется то, что польский летописец и историк Ян Чарнковский, описывая арест Ягайло и

его матери в XIV веке, «назвал Полоцк белорусской крепостью (in quodam Castro Albae Russiae, Poloczko dicto)».

В 1578 году итальянец Алессандро Гваньини издал работу на латинском языке «Sarmatiae europaeae descriptio» («Описание Европейской Сарматии»). В начале XVII века публикуются польскоязычные варианты его работы «Kronika Sarmacyeu Europskiey» («Хроника Европейской Сарматии»). Первая вышла еще при жизни Алессандро Гваньини (1611). В издании 1768 года буквально было сказано следующее: «Существует три Руси: одна Белая, другая Черная, третья Красная. Белая — около Киева, Мозыря, Мстиславля, Витебска, Орши, Полоцка, Смоленска и земли Северской, которая издавна принадлежит Великому Княжеству Литовскому. Черная Русь размещается в Московской земле около Белого озера и там простирается до Азии. Красная лежит при горах, которые называются Бескидами. Ею владеет польский король, и она принадлежит Королевству...». Особая историческая ценность работ Алессандро Гваньини состоит в том, что он сам длительное время был на государственной службе Речи Посполитой, в том числе комендантом города Витебска. Данное обстоятельство налагало на него обязанность излагать не свою собственную позицию, а официальную точку зрения польских властей. Польский писатель, историк и географ, краковский каноник Симон Старовольский в книге «Polonia sive Status regni Poloniae descriptio» («Польша, или Описание положения Королевства Польского») (1632) о «Руссии» писал, что она: «разделяется на Руссию Белую, которая входит в состав Великого Княжества Литовского, и на Руссию Красную... принадлежащую Польше. Третья же часть ее... называется Руссией Черной... Московией...».

Интересные данные о географическом делении «Руской» земли дает посол германского императора барон Августин Майерберг в своей работе «Путешествие в Московию...» (1679). По его словам, к «Белой Руссии» относились земли «...закрывающаяся между Припетью, Борисоеномъ и Двиною, съ городами: Новгородкомъ, Минскомъ, Мстиславлемъ, Смоленскомъ, Витебскомъ и Полоцкомъ и их округами. Все это когда-то принадлежало по праву Рускимъ, но, по военнымъ случайностямъ, они уступили счастию и храбрости Поляковъ и Литовцевъ».

Центром распространения названия «Белая Русь» в XVI—XVII веках стал Краковский университет. Современный польский белорусист Олег Латышонок писал: «Варта адзначыць і тое, што для польскіх пісьменнікаў «Белая русь» была краем, адрозным ад Літвы...». При этом, польские авторы Мартин Кромер, Ян Мончинский, Матей Стрыйковский писали ее название на польский или латинский манер «Bielorussacy Litewscy». Во второй половине XVII — первой половине XVIII веков название «Беларусь» и ее транскрипции широко используются в политической практике Речи Посполитой и межгосударственных договорно-правовых отношениях. В IX артикуле трактата 1686 года («Вечного мира») говорится о белорусской епископии: «Так же уговорили и постановили, что Великий Государь, его Королевское Величество, церквам Божиим и Епископиям: Луцкой и Галицкой, Перемышельской, Львовской, Белороссийской...». В письме гетмана ВКЛ Иеронима Радзивилла управляющему Кричевского староства (1745) указывается: «Я получил жалобу его преосвященства Волчанского, белорусского епископа...». Шляхта Стародубского повета в своем наказе послан на Варшавский сейм (1761) назвала белорусские земли следующим образом: «Хотя крестьянские бунты, начавшиеся уже несколько лет тому назад во владениях виленского капитула... представлявшие опасность для всего Белорусского края...».

Трудно объяснить мотивы поляков, начавших называть наши исторические земли «Беларусью» во второй половине XVI — первой половине XVII веков, задолго до вхождения Беларуси в состав России. В это время Речь Посполитая как государственное образование переживало глубокий кризис: наследие трех периодов бескоролья, затяжная война с Московией дополнялись острым кон-

фессиональным противостоянием на «русских» землях польского государства. Умеренная часть католической партии понимала необходимость конфессионального компромисса во имя государственного единства, привлечения на свою сторону «русских» Речи Посполитой. В муках острой политической борьбы с католическим епископатом рождалась Варшавская конфедерация о веротерпимости. В этих условиях отрыв населения западнорусских земель от этнонима «русский» был вполне логичен. Тем более социально-политические процессы на средневековых белорусских землях характеризовались повсеместным повышением этнического самосознания среди белорусского населения ВКЛ и Речи Посполитой. Такие явления отмечались не только среди православных Велико-го Княжества Литовского, но и у протестантов, и даже католиков. Этнический патриотизм был присущ Василию Тяпинскому и Сымону Будному. Андрей Рымша — основатель «панегирической поэзии» — создал на старобелорусском языке панегирики на гербы магнатов Остафия Воловича (1585), Льва Сапегы (1588), Федора Скумина (1591).

«Первый исторический белорус» кальвинист Соломон Рысинский в имматрикуляционных актах Альтдорфского университета за 2 декабря 1586 года обозначил себя «Solomono Pantherus Leucorussus» («Соломон Пантерус белорус»). По мнению Олега Латышонка «...самаазначэньне Рысінскага было свайго роду інтэлектуальным пераломам... Рысінскі сваю нацыянальнасць акрэсліў грэцка-лацінскім тэрмінам, а радзіму — грэцкім ...сучаснае гучаньне гэтай назвы ў беларускай мове — «беларус». Этническим самосознанием обладали и другие представители гуманистических кружков белорусских магнатов в XVI — начале XVII столетий: Базилик Киприан, Беньаш Будный, Даниил Наборовский, Петр Бластус Кмита и др. «Белорусином» себя называл виленский католический епископ Валериан Протасевич-Шушковский, пригласивший в 1569 году иезуитов в Вильно.

Самообозначение «белорусов» как этноса, отличного от поляков и жителей Московского государства (в польском понимании «москов»), было политически востребовано на «русских» землях белорусского Средневековья в конце XV—XVI веках. Его появление в какой-то степени явилось ответом на политические ожидания белорусской элиты. И не было ничего странного, тем более «колониального», в том, что московские войска, пришедшие на белорусскую землю в XVII столетии, стали по примеру польской элиты применять название «белорусцы» к населению западнорусских земель. Московская транскрипция «Белорусец» польского термина «Bielorussacy Litewscy» было обычным явлением для того времени. Московскими властями она распространялась даже на население киевских земель и Волыни. В «расспросных речах» пленных в Патриаршем дворцовом приказе за 1623—24 годы можно найти такие записи: «N женился в Могилеве, венчалъ Белорускій попъ», «свезли-де его N въ Киевскій поветъ, жилъ у белорусца». Этим самым московская элита показывала, что православные жители Польши для них в определенной степени «чужие». Неслучайно «Патриархъ Филаретъ Никитичъ приказывалъ пришлыхъ съ юга, даже поповъ и игуменовъ, перекрещивать на Москве «въ Православную христианскую веру», откуда у вышеупомянутыхъ второе «русское» имя».

Термины «Беларусь» и «белорусы» были постфактумом реального этнокультурного состояния части населения ВКЛ, которое не соотносило себя ни с поляками, ни с литовцами, ни с украинцами, ни с жителями Московского государства. Но утвердившись среди «книжных» людей, эти названия не распространились в широкие народные массы. Они не получили политической институализации. Это произошло по вине воинствующих католических ортодоксов Речи Посполитой, которые не были заинтересованы в появлении в своем государстве самостоятельного этноса. Правление Жигимонта III (1587—1632), положившее начало гибели польского государства, вернуло земли ВКЛ в условия жесткого католического

диктата, растоптав проявления закона и элементов средневековой демократии на землях Великого Княжества Литовского. Имея за собой государственный аппарат и силовые структуры, польские элиты сделали все возможное и невозможное, чтобы на протяжении второй половины XVI — первой половины XVIII веков уничтожить этническое самосознание белорусской народности, превратить его в аморфный субстрат. Для этого провели Люблинскую и Брестскую унии, разгромили православие и белорусскую культуру, варварски подавили выступления народных масс в 1648—1651 годах, запретили официальное употребление белорусского языка и перевели его на латиницу (1696), благодаря чему белорусский литературный язык уже почти ничем не отличался от польского. Польские власти осуществляли полонизацию и окатоличивание униатства, уничтожали этносоциальную интеллектуальную базу для возможного возрождения белорусской народности через ополячивание белорусской знати, превращение ее в польский этнос. Однако, как оказалось, созданная властями Речи Посполитой церковная уния была не только переходной ступенью к католицизму — для чего она и создавалась. Церковная уния явилась спасительным островком для белорусов в условиях католического произвола. Часть народа, оставшаяся верной православия и потерявшая надежду на спасение, увидела в ней возможность сохранить свой национальный дух. Это были: «...наименее ополяченные и олатинизированные люди, хранившие и под покровом унии старые православные убеждения». Так в рамках унии сформировался консерватизм как способ выживания белорусской народности. Со временем он превратился в одну из основных черт национальной идентичности белорусов. Благодаря консерватизму на определенном этапе уния в условиях цивилизационного давления стала пристанищем для той части белорусов, которые не хотели менять свою самоидентификацию. После перехода белорусских земель в состав Российской империи именно эти белорусы и православная часть населения Речи Посполитой явились социальной первоосновой белорусского этнического возрождения и появления в последующем полноценного белорусского этноса.

Белорусская средневековая культура

Белорусы, будучи поликонфессиональной этнической группой, в своем большинстве приверженной восточнославянской цивилизации и конфессиональной толерантности, имели оформившиеся территории, литературный язык, особую оригинальную культуру. По своей духовной составляющей она была чуждой правящей элите ВКЛ. Ее развитие происходило в острой борьбе с различными административными препятствиями, так как старобелорусы представляли собой отдельный, самостоятельный субъект политической жизни Великого Княжества Литовского. Их духовность базировалась на фундаменте общерусской культуры Киевской Руси.

Становление общерусской культуры проходило под влиянием трех процессов IX—X веков: превращение восточнославянского этноса в «русский» мегаэтнос; появление «общерусского» государства — Киевской Руси; утверждение христианства византийского обряда. Протекая почти одновременно, взаимопроникая и дополняя друг друга, они формировали особую «русскую» культуру с единым языком, письменностью и духовностью. Существенное значение имело то, что христианство было принято в его византийском варианте. Благодаря Византии Киевская Русь познакомилась с античной культурой. Этим самым создавались предпосылки развития письменности на родном языке, возникновения иконописи, монументальной живописи (фрески, мозаика), книжной миниатюры, зарождения каменного зодчества, развития декоративно-прикладных видов искусства (ювелирного дела). Культурными памятниками XI—XII веков на территории

белорусского Средневековья стали Софийский собор и Спасо-Евфросиниевская церковь в Полоцке, Бельчицкий монастырь, Витебская Благовещенская церковь, два храма в Гродно — Нижняя и Борисоглебская церкви.

Здания церквей и монастырей в средневековой Беларуси использовались не только для религиозных целей. Это были центры общественной и культурной жизни. Там проводились собрания горожан, возведение князей на княжение. Они служили книгохранилищами, при них составлялись летописи и переписывались книги. Мозаика украшала стены и полы Верхнего замка, Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке, Нижней церкви в Гродно. Фресковые росписи обнаружены в Полоцкой Софии и Спасо-Евфросиниевской церкви в Полоцке. Иконы писались под влиянием византийского искусства. Книжная миниатюра развивалась в тесной связи с перепиской книг. Ювелиры средневековой эпохи на белорусских землях освоили новую технику обработки цветных металлов: филигрань, гравирование драгоценных камней... Выдающимся произведением того времени был православный крест по заказу Евфросинии Полоцкой, сделанный ювелиром из Полоцка Лазарем Богшей в 1161 году. Оригинал великого произведения, к сожалению, был утерян в годы Второй мировой войны. Но в настоящее время сделана оригинальная копия, являющаяся национальным достоянием Республики Беларусь.

Особое место в «русской» средневековой культуре на территории современной Беларуси занимают летописи, ставшие не просто историческими памятниками литературы и общественной мысли. Они были воплощением духовного развития «русских», крупнейшими памятниками всей «русской» культуры того времени. Сохранившиеся и дошедшие до наших дней документальные источники, как «Слово о законе и благодати» Илариона (XI в.), «Поучения» Кирилла Туровского (XII в.), «Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова» (XII в.), «Житие преподобной Евфросинии Полоцкой» (XII в.), раскрывают духовный облик наших предков, их социально-политические предпочтения и ориентиры. Закономерным было и появление в XI—XII веках целого созвездия блестящих писателей и проповедников (Авраамий Смоленский, Лука Новгородский, Иларион Киевский, Климент Смолятич, Евфросиния Полоцкая), признанных тогда не только в своих регионах, но деятельность которых имела общерусский характер.

Особенно важной для современных белорусов является жизнь и деятельность уроженцев земли белорусской Кирилла Туровского (1130—1182) и Евфросинии Полоцкой (между 1101—1105—1173). Епископ Туровский обладал удивительными способностями познавать мир и доносить высшие нравственные начала до простых людей. Его преданность Богу и вере снискали уважение к нему во всей Киевской Руси. Он был образованным человеком, блестящим литератором, эрудитом, выдающимся религиозно-политическим деятелем. «Слова» и «Поучения» Кирилла Туровского входили в состав многих сборников (в том числе и «Торжественника») наряду с сочинениями византийских богословов и проповедников: «Слово на Пасху», «Слово на Вербницу»... Не все даже образованные люди того времени могли ориентироваться в христианских догматах, поэтому он стремился сделать их понятными для всех людей. Кирилл Туровский хорошо знал византийскую поэтику и риторiku, он заложил жанровые основы русской литературы на многие столетия вперед. Творческое наследие Кирилла Туровского составляет около 70 работ. Недаром еще при жизни он был назван «вторым Златоустом». Многие белорусские историки обращают внимание на общерусский характер его творчества и деятельности: церковное почитание Кирилла Туровского началось после его смерти одновременно по всей Руси, и уже в рукописи XIII века он назван святым.

Не менее выдающейся личностью в культурной жизни средневековой Беларуси была Евфросиния (Предслава) Полоцкая. Будучи внучкой Всеслава Чародея,

одного из выдающихся полоцких князей, она всей душой и сердцем воспринимала христианскую религию и внесла большой вклад в развитие культуры. Приняв монашеский постриг в двенадцать лет, Евфросиния Полоцкая поселилась в келье Софийского собора. В 1127—1128 годах она основала Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь и была первой женщиной на территории Беларуси, признанной святой.

Последовавшие феодальная раздробленность, создание ВКЛ и возрождение Московского княжества как двух отдельных этнокультурных центров естественным образом разделили единый пласт древнерусской культуры. Но именно культура явилась духовным историческим базисом «русских». И нет ничего удивительного в том, что анализ культурного наследия белорусов XVI — первой половины XVII века указывает на достаточно высокий уровень развития наших предков, тесно связанных с духовным богатством старорусских Киевских земель. Их достижения получали тогда признание не только в Великом Княжестве Литовском, но и во всем европейском сообществе. По глубине проникновения в народные массы, традициям они нисколько не уступали «литвинам», вызывая всеобщее чувство уважения и восхищения.

Культура белорусов, несмотря на духовное единство с жителями Московского государства и украинцами, имела свои отличия. В ходе колонизации славянами балтов славянская культура пересеклась с балтской языческой стихией, породив взаимопроникновение двух культур при доминировании славянской как более развитой. Когда представители интеллектуальной элиты западнорусов ехали в Москву к единомышленникам и друзьям со своими работами, книгами и идеями, то не всегда они там находили понимание и поддержку, а иногда и полное отрицание со стороны властей. Неслучайно книги, привезенные в Москву Франциском Скориной и Лаврентием Зизанием, были сожжены по распоряжению светских и духовных властей Московского государства.

Творцами белорусской культуры была целая плеяда выдающихся людей с энциклопедическими знаниями (Франциск Скорина, Василий Тяпинский, Леонтий Карпович, Мелетий Смотрицкий и др.), которые вместе с другими средневековыми просветителями формировали мировоззренческие идеи народной культуры. Их преданность своему «русскому» народу, деятельность по введению в общественную практику литературной формы старобелорусского языка, а также объективная необходимость развития национальной духовности создавали предпосылки для белорусского Возрождения. Важное социально-политическое значение для наших земель имело то, что формирование белорусской народности совпало с эпохой европейского Ренессанса — эпохой становления и расцвета ранней буржуазной культуры. Рост городов, формирование белорусской народности и ее городской цивилизации, общественно-политическая деятельность, секуляризация духовной жизни и расширение международных связей всячески способствовали тому, что белорусское Возрождение стало частью общего процесса Ренессанса и в Великом Княжестве Литовском, и в мире.

Несмотря на незавершенность процесса Возрождения на территории Беларуси, тесной связи с религией, его идеи активно проникали не только в литературу, но и в философию, архитектуру, искусство. Белорусская готика представлена Сынковичской, Маломожейковской, Супрасльской церквями. Живопись и скульптура были тесно связаны с православной церковью. Появляется книжная графика (гравюры Франциска Скорины), предпринимаются первые попытки нотопечатания (Берестейский канционал), в музыкальную культуру входят канты и псалмы, в белорусском фольклоре завершается становление основных его видов и жанров. Развивался народный кукольный театр — батлейка. Закладывались и активно развивались основы белорусского ткачества как вида художественного промысла и искусства. Белорусские драма и интермедия, возникшие на погра-

ничье устного народного творчества и профессиональной литературы, также прочно вошли в повседневную жизнь городов и деревень. Жизненный опыт народа, его социальный протест и нравственные идеалы, стремление к единству с братскими русским и украинским народами отражаются в многочисленных присказках, пословицах, загадках и песнях: «Был на Руси черный бог», «Туман, туман на долине» и т. д.

Свое почетное место в мировой сокровищнице занимают и другие достижения белорусской культуры, например, «Грамматіки Славенския правильное Синтагма» (1619) Мелетия Смотрицкого. Эта книга на последующие два века стала основой церковнославянской грамматической науки. Выдержав множество переводов, она послужила базой для создания сербской, хорватской, румынской и болгарской грамматик. По ней учился великий русский ученый Михаил Ломоносов, который называл ее вместе с «Арифметикой» Леонтия Магницкого «вратами своей учености».

Сюда же необходимо отнести работы Лаврентия Зизания «Катехизис» (1627) и «Азбуку» (1596), второй из датированных печатных букварей после букваря Ивана Федорова (1574). Последняя работа по многим данным была совместным трудом с его братом Стефаном.

Большую роль в становлении белорусской культуры сыграла издательская деятельность. Традиции Франциска Скорины продолжили типографии Виленского православного братства и братьев Мамоничей. Так, «Дом Мамоничей» в Вильно и других городах (православный литературный и издательский центр), к примеру, имел связи со многими странами. Белорусская печатная продукция была широко известна в Европе и в России, для которой Мамоничи стали издавать специальную литературу. Они имели свое представительство в Москве. Типография Мамоничей первой в Беларуси начала выпускать книги правового характера на кириллице: «Трибунал» (1586), «Статут Великого княжества Литовского» (1588), который длительное время пролежал в рукописях. Мамоничи издали книгу «Грамматіка Словенска...» (1569) Лаврентия Зизания, бывшую в течение 25 лет учебником в братских православных школах. Большую роль в развитии белорусского и русского книгопечатания сыграла и Кутеинская типография. Открытая в 1631 году на окраине Орши в Богоявленском монастыре, она много сделала для развития печатного дела как в Беларуси, так и России. В 1665 году типография была перевезена в Воскресенский монастырь, а в 1676 году ее оборудование было передано царской типографии Москвы, опять-таки основанной белорусом Симеоном Полоцким.

Важной стороной белорусского Возрождения было развитие белорусской литературы как самостоятельного общественно-политического явления. На смену традиционному летописанию во второй половине XVI века приходят исторические обзоры, хронографы, мемуары, синопсисы, семейные дневники, в центре внимания которых находились вопросы истории. Наиболее значимыми были «Баркулабовская летопись», «Дневник Федора Евлашевского» (обе работы написаны во второй половине XVI — начале XVII века), 33 «Листа» Филона Кмиты-Чернобыльского (1573—1574)...

В своем небольшом стихотворении «Типограф младенцем» Лаврентий Зизаний выразил всю сущность человечности и доброты православной белорусской культуры:

«Не просто книжку
называйте тую грамматіку,
Але наставницу добру
словенскому языку.
Научает добре писати
и добре читати,
Досконалым и певным быти,
а не в чом не партати».

Преследования православных «русских» (белорусов и украинцев) после заключения Люблинской (1569), а затем и Брестской (1596) церковных уний вызвали у них сопротивление конфессиональному давлению, вследствие чего стало возможным появление полемической религиозной публицистики. Первым «выстрелом» в этом сражении стало сочинение руководителя иезуитов в ВКЛ известного католического теолога Петра Скарги «О единстве костела Божьего под единым пастырем...» (1577). В нем теолог подверг резкой критике православие и славянскую культуру. Достойный ответ ему в своем труде «Апокрисис, албо отповедь на книжки о съборе Берестейском...» (1597) дал Христофор Филалет («Правдолюбец»). Он научно опроверг догматы римско-католического учения о папском главенстве, а также другие положения трактата Петра Скарги. Не имея возможности опровергнуть «Правдолюбца», его противники скупили и уничтожили весь тираж «Апокрисиса»...

Среди белорусских полемистов, писателей и поэтов широкую известность получили Леонтий Карпович, Афанасий Филиппович, Леон Мамонич, Спиридон Соболев, Иосиф Половко и др. Сила воздействия проповедей Стефана Зизания (Виленское братство) и его работ была столь велика, что для их нейтрализации польский король в 1596 году издал специальную грамоту трибунальским судам не поддерживать Стефана Зизания.

Одним из самых выдающихся мастеров церковной полемики являлся Мелетий Смотрицкий, труды которого уже упоминались. Выпускник Острожской православной братской школы, а также слушатель Лейпцигского, Виттенбергского и Нюрнбергского университетов, он создал десятки работ, которыми ставил в тупик таких известных защитников католицизма и унии, как Петр Скарга, Антоний Селява, Ипатий Потей, Иосиф Рутский.

Новым для того времени жанром явилась политическая сатира. Наиболее интересны в этом плане «Речь Мелешки» (1630) и «Письмо к Обуховичу» (1655), в которых беспощадно высмеиваются польское панство на белорусских землях и свои «родные» колонизированные паны: «Много тутако таких ест, што хоть наша костка, однак собачим мясом обросла и воняет, тые, што нас деруть, губять радные».

Одним из ярких деятелей белорусской культуры того времени был и Самуил Гаврилович (Емельянович) Петровский-Ситнианович (Симеон Полоцкий). Из-за политических репрессий в Речи Посполитой, как и многие другие белорусы, он вынужден был эмигрировать в Москву, где утвердился в сложном и противоречивом московском обществе в качестве интеллектуального гуру. Симеон Полоцкий поднял поэзию восточных славян на более высокий уровень, был одним из наиболее крупных представителей барокко. Писавший на многих языках, он создал такие известные стихотворные сборники, как «Вертоград многоцветный» (1677—1678) и «Рифмологион» (1680) — по 1300 страниц каждый, только в «Вертограде» — 1250 стихотворений. По силе таланта и общественному звучанию его работ Симеона Полоцкого можно поставить в один ряд с Кириллом Туровским, Франциском Скориной. Вместе с ними он является светочем культуры белорусской народности. Несмотря на достижение им статуса воспитателя царских детей, он оставался западным «русским» и псевдоним «Полоцкий» только подчеркивал его самообозначение. Такими же «старобелорусами» были, несмотря на все жизненные коллизии, Иван Пересветов («Никколо Макиавелли» Ивана Грозного), Петр Мстиславец, один из двух первопечатников России («Апостол», 1564 год).

Значительную роль в развитии культуры белорусской народности сыграла система православного образования, внесшая значительный вклад в решение общей задачи отстаивания «русскими» права на свое существование. Школы, открытые православными братствами в целом ряде белорусских городов — Могилеве (1590), Бресте (1591), Минске (1612), Полоцке (1622) и других — ино-

гда называли «колегиум русский». Обучение в них было трех-пятилетним, а учебные программы приближены к программам городских школ Западной Европы и обеспечивали высокий уровень образования. Например, в Брестской и Могилевской школах изучали семь свободных искусств, в Виленской — пять языков (греческий, латинский, польский, славянский и старобелорусский), произведения античных мыслителей, арифметику, геометрию, астрономию, географию, диалектику, риторику, музыку, церковный устав с пением, а также учения о праздниках и о добродетелях.

Православные школы, в отличие от католических, принимали на обучение всех желающих, зачастую на бесплатной основе. В королевской грамоте Жигимонта III могилевским мещанам в 1602 году говорилось: «В школе теж брацкой дети братьи уписное и убогих сирот, языка Руского, Греческого, Латинского и Полского, накладом брацким, даром учити повинны...». Методика обучения тоже отличалась: в иезуитских и других католических учебных заведениях широко использовалось механическое запоминание схоластических текстов, в православных же школах обучение строилось на принципах логического усвоения материала. И самое главное: в братских школах — опять же, в отличие от католических — физическое наказание было редкостью, а сословное неравенство практически отсутствовало.

Сегодняшние социально-политические процессы в Беларуси характеризуются фетишизацией культурологических явлений средневековой шляхетской среды. Их трактуют как истинно народные и абсолютно исключительные в истории белорусского народа. Некоторые современные ученые тесно увязывают процесс Возрождения и Реформации с упрочением католицизма и проникновением в Беларусь протестантизма. По их мнению, именно деятельность Николая Гусовского и Яна Вислицкого можно считать прологом эпохи Возрождения на белорусских землях, а Сымона Будного гиды в Несвиже именуют не иначе как «первопечатник Беларуси».

Но протестантство на белорусских землях было шляхетским явлением и мало затрагивало широкие народные массы. Среди горожан протестантами становились, как правило, только выходцы из зажиточных слоев, которые были тесно связаны с шляхтой. Города оставались политическими, экономическими и культурными центрами белорусской народности даже в годы расцвета кальвинизма. Крестьян протестантизм коснулся еще в меньшей мере, чем горожан. Преданность гуманизму и демократии протестантской шляхты, о которой так много пишут некоторые белорусские историки, была относительной. Больше все-таки увлечение реформистским движением для знати носило прагматический характер. Магнаты видели в нем орудие независимости от центральной власти, а мелкая и средняя шляхта стремилась через него приобщиться к «золотым шляхетским вольностям» Королевства Польского. Так, кальвинист Николай Радзивилл Черный закрыл в своих владениях 187 католических церквей и экспроприировал весь их земельный фонд. Его примеру последовали другие магнаты и шляхтичи. Протестанты из шляхетской среды весьма холодно отнеслись к идеям своих собратьев антиринитариев (одно из направлений протестантизма) о социальных преобразованиях и отмене крепостничества, к попыткам решения насущных проблем народных масс. Им это было неинтересно, противоречило их социально-политическим мотивам. Финансовые средства на формирование кальвинистских структур, создание школ, типографий и выпуск литературы магнаты и шляхетство тратили, преследуя цели укрепления личной власти, материального благополучия и сохранения своего влияния в государстве.

Что касается прихода европейских ценностей Возрождения на средневековые земли Беларуси благодаря протестантам, то они, безусловно, имели место быть. Но такого решающего влияния на духовность населения, как это доказывают отдельные историки, они не оказали и не могли оказать. Шесть кальви-

нистских школ, одна гимназия в Слуцке, издательская деятельность, научные диспуты приезжих интеллектуалов всколыхнули белорусское общество, внесли свой вклад в белорусское Возрождение. Однако эти действия носили сословный характер, остались и не вышли за рамки узкого элитарного круга. Протестантская вера объективно предполагала переход в западнохристианскую цивилизацию, превращение Возрождения и Реформации в протестантской среде в отдельное от народных масс социокультурное явление. Языками протестантов были польский и латинский. Сымон Будный с помощью переводчика Лаврентия Кришковского представил миру только два произведения на старобелорусском языке: «Катехизис...» (1562) и «Об оправдании грешного человека перед Богом» (1562). Все остальные его произведения, как и работы других протестантских авторов, за исключением «Евангелия» Василия Тяпинского, печатались только на польском и латинском языках. А скорый и массовый отказ представителей шляхты от протестантизма в пользу католицизма и превращение их в активных деятелей Контрреформации, которая воспринималась в этой среде как утверждение традиционного общественного порядка, окончательно отделили культуру шляхты и культуру белорусской народности друг от друга.

Более глубокое изучение белорусского Возрождения показывает, что сегодня в Беларуси только одно произведение Николая Гусовского, «великого белорусского поэта и мыслителя», величественный памятник которому установлен на территории БГУ, получило широкое распространение. Известное в Беларуси как «Песня о зубре», оно было издано в Кракове (1522) на латинском языке. В 60-х годах XX века Яков Порецкий и Язеп Семежон его перевели на русский, а затем Язеп Семежон на белорусский (1969) языки. Две другие поэмы и несколько стихотворений, посвященных католической церкви и военной истории Польши, остаются в тени.

Николай Гусовский интересен нам, жителям современной Беларуси, с позиций отображения им природы и социально-политических явлений XV—XVI столетий. Вместе с тем сравнение и постановка в один ряд, даже некоторое возвышение Николая Гусовского и Франциска Скорины являются по меньшей мере некорректными. Ибо Франциск Скорина был интеллектуальной глыбой, совершившей переворот во многих областях гуманитарной сферы, и в течение нескольких столетий почитался во всем мире. Его спектр интересов был достаточно широк и охватывал философию, культуру, мораль и право. В 1506 году в Краковском университете он становится врачом. Там же несколькими годами позднее он получил ученую степень бакалавра философии. В 1512 году Франциск Скорина сдал специальный экзамен на степень доктора медицины в Падуанском университете (Италия). После получения ученой степени он продолжает медицинскую практику. В 1534—1535 годах Франциск Скорина работал главным королевским ботаником в Праге и там же в Пражском университете им была получена степень доктора «вольных наук». Однако особо он преуспел в издании «русских» книг. Целью своей жизни первопечатник видел служение обществу и «русскому» народу — «людям посполитым к доброму научению», «своему прироженному рускому языку, к науце всего доброго». Свою этническую принадлежность Франциск Скорина определял как «русскую». В представлениях об этнической ориентации он руководствовался совершенно другими принципами, нежели существовавшие на то время. Важнейшим фактором отношения к «русской» этнической общности Франциск Скорина считал не конфессиональную принадлежность, а язык. Как отмечает известный белорусский исследователь Георгий Голенченко в работе «Францыск Скарына — беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар», для Франциска Скорины наиважнейшими этническими маркерами были языковое, культурно-историческое единство, общность территории. В определенном отношении это был переворот и в политике, и в социологии. По существу, Франциском Скориной была предложена модель этнокультурной, а не

политической нации. Этим самым он заложил теоретические основы формирования белорусской народности.

А небогатое литературное наследие на латинском языке Николая Гусовского стало известным только в XIX веке, когда «Песня о зубре» была напечатана (по мнению некоторых историков) Московским товариществом исследователей природы. На нее также ссылался Адам Мицкевич в пьесе «Пан Тадеуш» (1832—1834), отдельные отрывки перевел Ян Каспрович на польский язык (1898—1899).

Растиражированное объявление 1980 года «годом Николая Гусовского» также не находит подтверждения. В действительности существует документ ЮНЕСКО: «ООН, Научные и культурные организации. Годовщины выдающихся личностей и важных исторических дат». Конкретный абзац «Годовщин» 1978 года, где внесены фамилии Николая Гусовского и Яна Дамеля по предложению БССР, назывался «Anniversaries in 1980 — dates notspecified» («Годовщины в 1980 — даты не уточнены»). Там находится всего одна строчка, посвященная Гусовскому: «Mikola GUSOVSKIJ Byelorussian poet-Latinist, one of the most important Slavic poets of the Renaissance» («Николай Гусовский Белорусский поэт-латинист, один из самых значительных славянских поэтов периода Ренессанса»). То есть, по предложению БССР, Николай Гусовский на международном уровне среди сотен других известнейших людей просто отмечен как выдающийся человек (не более того). Вопросы «объявить 1980 год годом Николая Гусовского» никто не ставил! Кстати, в этом же разделе реализованы и предложения Кубы, Сальвадора, Индии... о внесении своих представителей в документ ЮНЕСКО.

Попытки сегодня придать «лацінамоўным» поэтам, соотносившим себя с польским этносом, статуса национальных символов независимой Беларуси и объяснить их обращение к латинскому и польскому языкам объективной необходимостью среды «адукаваных колаў» того времени принижают (практически отодвигают в тень) роль культуры белорусской народности в отечественной истории. Этим самым также легитимизируется в глазах белорусского общества насилие над верой, культурой и языком старобелорусов в Средние века. При этом духовная quintэссенция произведений «лацінамоўных паэтаў»: величие Польши, сарматизм, неприятие западнорусской культуры, отрицание православия вносятся в общественное сознание современных белорусов в качестве их исторического наследия. Тем самым создаются предпосылки для цивилизационной переориентации населения Республики Беларусь, его превращения в другой народ.

«Таким образом, процесс формирования белорусской народности — восточнославянского народа индоевропейского происхождения в основном закончился в конце XV — первой половине XVI века. Установившаяся вслед за этим практика самообозначения нашего народа «белорус» и «белорусы» не была, как сейчас принято писать, «колониальным» изобретением царских чиновников в конце XVIII века. Она представляла собой отражение всей гаммы социально-политических и социально-психологических проявлений на белорусских землях. Это дает основание утверждать, что «белорусы» как этноним, пройдя длительный путь зарождения и развития, имеют глубокие исторические корни. **Белорусы — исторический народ. Они могут и должны гордиться своей собственной историей, культурой и традициями.**

Становление в ВКЛ белорусской народности происходило параллельно...».



Макаенок — это целая эпоха



Андрей Макаенок.

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения известного драматурга, народного писателя Беларуси Андрея Макаенка, много лет возглавлявшего журнал «Нёман». Его пьесы ставились во всех ведущих белорусских театрах, а также в театрах СССР и за рубежом. Многие режиссеры и актеры знали его лично и работали с ним. Предлагаем читателям интервью с Народным артистом Республики Беларусь, заслуженным деятелем искусств, режиссером НАДТ имени Максима Горького Борисом Луценко, Народным артистом СССР, актером Национального академического театра имени Янки Купалы Геннадием Овсянниковым и воспоминания главного режиссера Витебского драматического театра имени Якуба Коласа, заслуженного деятеля искусств Валерия Анисенко.

Своими воспоминаниями об Андрее Макаенке делится Борис ЛУЦЕНКО

Я тебя помню, часто разговариваю с тобой...

— Как вы познакомились с Андреем Макаенком?

— О Макаенке я знал, когда еще работал в Сызрани, в драматическом театре, — там я начинал свою деятельность актером. В театре шла его пьеса «Лявониha на орбите», где я играл агронома. И как-то раз загадал себе: вот бы встретиться с Макаенком. Мне нравился его язык, хотя проблема пьесы казалась странной: зачем надо отрезать участки? Писать ему не стал, и так получилось, что я оказался в театральном вузе Беларуси — учился на режиссера. По-моему, на четвертом курсе возникло желание с ним встретиться. Встретились на лавочке у Купаловского театра и долго беседовали. Я был удивлен, что к начинающему, еще ничего не поставившему режиссеру он проявил какой-то интерес. Говорили просто о жизни: как он ее понимает, как я. Я рассказал, конечно, что когда-то играл роль агронома. А потом мне нужно было ехать работать в Ригу, но параллельно меня пригласили в Купаловский театр, где я и остался. Сначала поставил «Традиционный сбор», потом «Рудобельскую республику», немного наивный спектакль, но в нем явно прослеживалось

следующее — партийцы, делавшие революцию, были честными, а кто остался потом — было в подтексте. Спектакль Макаенку понравился, и он перевел для меня «Память сердца». Пьеса — средняя, я не хотел ставить. Но поскольку он был в дружеских отношениях с Александром Корнейчуком (украинский писатель. — *Прим. авт.*), тот пригласил нас с Борисом Герлованом (нар. художник Беларуси. — *Прим. авт.*) в Киев, где шикарно принимал. Макаенок призывал дерзать. Я поставил «Раскиданное гнездо» — мой третий, мощный спектакль. Андрею Егоровичу очень понравился. Я считаю этот спектакль шедевром, в моей режиссуре был явный прогресс.

— *Вы поставили пьесу «Затюканный апостол».*

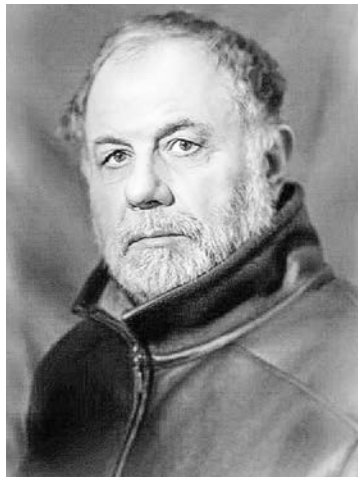
— Макаенок, можно сказать, на моих глазах писал пьесу и практически благословил меня поставить ее, а «Трибунал» он писал для Валерия Раевского. Но «Трибунал» на сцену пропустили, а «Затюканного апостола» долго не пропускала цензура. Андрей никак не мог придумать название — я предлагал ему свои варианты, но он не соглашался. Макаенок был очень импульсивным человеком. Однажды он пришел радостный — если у Андрея что-то получалось, он просто светился, будто получил Нобелевскую премию. «Я придумал как! Затюканный апостол!» Мне не понравилось, а он продолжал настаивать. Только затюканный, и никак по-другому, даже апостола затюкали. Я согласился, ведь автор он, а я режиссер.

— *Чем вас привлекла эта пьеса?*

— Я считал, что она — новое слово в драматургии. Многие его произведения имеют своеобразный философский характер на основе белорусского бытия. А тут он затронул вечные проблемы. Такая пьеса может идти в любой стране мира, и шла, кстати. В Москве, в Англии точно, в Югославии... Рождался «Затюканный апостол» «внутри» Макаенка. Он — затюканный апостол, он себя таким представлял, он хотел сказать правду. Макаенок любил читать свои пьесы вслух и делал это очень хорошо. Но эту пьесу он дал вначале прочесть мне, чтобы я сам сформулировал ее идею. Читал я взахлеб и быстро пошел к Андрею рассказывать, что понял. И сказал: «Ты впитал все боли мира в себя и через мальчишку хочешь сказать людям “Остановитесь!”». Андрей говорил, что вложил главные слова в уста Малыша, потому что даже малыш понимает, что нужно, а взрослый нет.

И тут началось. Макаенок был вхож к первому секретарю ЦК КПБ Петру Мироновичу Машерову, секретарю по идеологии Александру Трифоновичу Кузьмину, но не считал нужным жаловаться на чиновников из Министерства культуры, которые советовали в пьесе что-то и там-то убрать, здесь подправить... Скажем, раньше у него персонажи назывались так — Изя, Изяслав; Сирия, сестра; в папу он вкладывал метафору Америки, в маму — Советского Союза. Между Америкой и СССР существовали две маленькие страны — Израиль и Сирия. Был фрагмент, когда папа говорил: «Израиль, не трожь Сирию». Макаенок пошел на компромисс, назвал героев по-другому, было не так явно, что мама и папа — два великих государства. Стали просто родители с разными взглядами. Но и с этими правками в Министерстве не соглашались. Макаенок переживал, я бы сказал, у него был период отчаянья.

— *Расскажите, как шли репетиции?*



Борис Луценко.

— Репетиции шли мучительно трудно. Незанятые в готовящемся спектакле актеры, заглядывая на них, не понимали, что происходит. Мы с Борисом Герлованом задумали интересное оформление — ринг среди книг. Был критический момент, вокруг все считали, что спектакль идет к завалу. Главный режиссер сказал: «Сделайте прогон, может, закроем». Тут могу признаться, что я плохо поступил. Не помню, был ли Макаенок на этой репетиции. Идет прогон, а я вдруг останавливаю его и делаю замечание актеру. Директор поворачивается ко мне и говорит: «Борис, не надо замечаний, прогони и все». Я бросил на пол микрофон и попросил всех уйти из зала, а затем продолжил репетицию. Меня могли уволить из театра — в те времена никто не церемонился. Макаенок не ходил к Машерову за помощью, он считал, что это я нетребователен: мне не вовремя подавали реквизит, строили декорацию. «Ты нетребовательный, ты тряпка, что это за режиссер, который не просит больше репетиций...» и т. д. Андрей приходил на репетиции, иногда подсказывал какие-то вещи, у нас были сложно-творческие отношения. Я понимал: либо выигрываю, либо ухожу из театра, хоть работал хорошо.

На показе зрительный зал был набит битком. Макаенок чувствовал, что все получится. На репетициях мы с ним часто ссорились, а тут он подходит и говорит: «Будет вот такой спектакль!» (показывает большой палец). Я ответил, что и сам вижу. Но он дрожит, и я дрожу. Спектакль прошел на ура — столько было аплодисментов, хохота, криков «Браво!», нас вызывали на сцену. Это была серьезная победа.

— *Отчего у вас возникали споры с Андреем Макаенком?*

— Мне казалось, что после «Затюканного апостола» у нас рождается автор европейского и даже мирового уровня. Я думал, что ниже этого уровня он не имеет права писать. А Андрей увлекся историей из жизни колхозной деревни и написал пьесу «Таблетка под язык», я прочитал ее и увидел в ней прежнего Макаенка, а не автора «Затюканного апостола». У него было желание взять древнегреческий сюжет, по-моему, пьесу «Осы» Аристофана, и переделать его. Я говорил ему: «Вот, вот то, что надо». Но он написал историю о колхозном председателе, которому трудно живется. В результате наших споров я поставил эту пьесу, хоть и не считал, что особо удачно. Тем не менее, спектакль прошел 300—400 раз: Макаенок знал зрителя, знал его юмор, понимал его. Потом он написал «С ярмарки» («Погорельцы». — *Прим. авт.*), и ее ставил Валерий Раевский.

— *Почему и в телефильме, и в спектакле Малыш носит очки?*

— У меня и Гамлет был в очках. Это не для того, чтобы показать ум мальчика. Очки — это некая маска. В новой постановке (имеется в виду «Оракул?...») они должны были увеличивать глаза — зеркало души. Когда Малыш снимает очки, то плохо видит — так было задумано, но не получилось.

Если говорить о первом спектакле, то финал отличался и от нового, и от телефильма. Малыша загоняли, как написано у Макаенка, а потом все сидели за столом и под музыку танго пожирали пищу. Символизировало это то, что пища духовная никому не нужна, а обычная — всем. Причем самой еды на тарелках не было. В телефильме другая эстетика. Там тоже поражение мальчика, он стал таким, как все. В новом спектакле второй акт переделан — совершенно другой дед, другие взаимоотношения, и название изначально было «Оракул?...». Я режиссер, я не могу ставить одинаково. То, что я сделал в последнем спектакле, — более доказательно. Особенно важны слова финальной песни: «Оглянись, мир устанет от мук, захлебнется в крови, утомится безумной борьбой...» Это завещание Малыша. А был ли оракул? В конце моего спектакля Малыш выглядит как тень.

Я не знаю, как отнесся бы Андрей Егорович к новому спектаклю. Тут много моего, но это идет от знания замысла Макаенка, понимания его. Меня раньше



Сцена из спектакля «Затюканный апостол» (1971).

смущали длинные монологи после ссор Мама и Папы. «Андрей, — говорю, — никто на твою пьесу не пойдет. Ты же утомишь монологами». А он мне: «Молчи, ты не понимаешь драматургию, я даю смешные моменты, зритель смеется, а потом он готов слушать долго». После длительных дискуссий, диспутов пьесу разрешили к постановке. Макаенок уже стал нашим с женой другом, мы помогали ему в трудные жизненные моменты. А вы знаете, как я и Раевский попали в Горьковский и Купаловский театры?

— Да, вам помог Андрей Егорович...

— Я должен рассказать подробней: хочу, чтобы все знали, как мы стали главными режиссерами. Я считаю, что очень хорошо поставил «Затюканного апостола» и «Раскиданное гнездо». После них у меня появилась уверенность — чтобы поставить «Макбета» в Горьковском. «Затюканный апостол» рождался трудно, но в результате получился шедевр, он шел 400 раз. Когда мы с Раевским прославились спектаклями, Макаенок пошел к Машерову. «Я для вас приготовил сюрприз, — сказал ему Андрей. — Мы приглашаем режиссеров из Москвы, но почему мы не можем растить своих главных режиссеров, которые смогут повести театр за собой?» Машеров спросил, есть ли такие. «Да, есть. Хлопцы талантливые», — ответил Макаенок и стал нас расхваливать — Раевского и меня. Говорил, что ребята с хорошей школой — после окончания Белорусского театрально-художественного института на курсе Владимира Маланкина мы проходили стажировку в Ленинграде в лаборатории Георгия Товстоногова. Мы были готовы к борьбе.

И вот однажды он приходит радостный и говорит: «Скоро вас «сам» вызовет». Вы представляете, мне было 36 лет — для главного режиссера это ранний возраст. Конечно, я волновался, ведь не был членом партии. В кабинете я не говорил, что искусство должно быть партийным, — боялся таких слов и банальностей. Меня «прощупывали». Я говорил, что театр должен пробудить в человеке совесть, сделать его человеком. В результате он задал вопрос, член ли я партии. Я ответил, что недостойн, потому что и выпиваю иногда, и женщин люблю. А в ответ услышал смех: «Честные нам нужны, другой бы соврал». Макаенок после сказал: «Ты ему понравился, будешь режиссером Русского театра, я так решил».

Мне обидно даже стало, я считал, что Купаловский лучше, а его отдали Раевскому. Вот так Андрей Егорович повлиял на наши жизни.

— *А каким был Макаенок?*

— Вы знаете, по натуре он был очень нежным человеком, несмотря на всю его внешнюю энергичность. Любил мелодичную, негрубую музыку, трогательно говорил о женщинах. Женская красота ассоциировалась у него с чем-то недосыгаемым. Знаю, что Андрей очень любил своих детей. О его личной жизни рассказывать не хочу.

Он был мастером выходить из спорных ситуаций. Приведу пример. Человек N обнимает Макаенка и говорит: «Вот с тобой я бы пошел в разведку». Макаенок, выждав, отвечает: «А я еще подумаю». Тот обиделся, отвернулся. И тут Андрей посмотрел на этого человека снисходительно и, сделав мучительную паузу, наивно произнес: «Я подумаю, что лучше взять с собой — водку или коньяк».

Он очень любил юмор. На спектаклях Андрей просил снимать не только актеров, но и зрителей. У него было много фотографий, где публика в зале смеется. Через юмор Андрей подавал глубокую мысль, поэтому у него так много трагикомедий.

Розыгрыши тоже любил. Однажды привез маску грузина из командировки и пришел в редакцию. Вызвал к себе людей и от имени грузина говорил: «Я знаю ваше творчество», а посетители так и не узнали Макаенка.

Андрей был еще и талантливым актером. Он великолепно показывал Малыша артисту Анатолию Мазловскому. Лучше Макаенка сыграть было трудно — он понимал, о чем говорит. Актеру не всегда вложишь то, что нужно.

Иногда мы ссорились. Однажды я пошел к нему на дачу пешком с автобусной остановки. В это время Андрей обогнал меня, проезжая на машине, потом все же остановился. Я сел в автомобиль. И вдруг он признался: «Знаешь, я хотел мимо тебя проехать». Я спросил, что же помешало. Он махнул рукой, и мы помирились.

Однажды Макаенок пришел ко мне радостный, смеялся, приплясывал — Андрей любил чуть-чуть пританцовывать, хотя с ногой у него были проблемы. «Бросил курить!» — заявил мне Макаенок. Я поздравил, конечно, но напомнил, что все курильщики бросают только на десять дней... «Нет, я решил навсегда!» — возразил мне Андрей. Если он говорил «навсегда», то это значило навсегда... Я спросил его, что за причина такого решения. «Ты понимаешь, я понял, что каждая выкуренная сигарета — это минус одна женщина, и решил завязать с этим». Больше я не видел, чтобы Макаенок курил. Он был очень решительным. Если говорил, то делал.

— *Был ли Андрей Егорович хозяйственным человеком?*

— Макаенок жил долгое время на даче, пока ему не дали престижную квартиру. В этот период не ладилось и с пьесами. Он умело занимался огородом, высаживал рассаду, его участок давал богатый урожай. Макаенок самостоятельно делал закатки, различные настойки. Вот и о недостатках — много пили, ничего не поделаешь. Однажды я остался у него ночевать, а утром мы искали, чем опохмелиться. Он достал настойку, приготовленную специально, понижающую давление. Мы выпили, посмеялись. Андрей часто носил белые рубашки.

Как-то раз он поехал с нами праздновать Новый год в молодежной компании — шутил, рассказывал анекдоты. Мы пели, танцевали, пили, он даже, по-моему, розыгрыш для жены моей устроил. Я называл его на «ты», Раевский всегда называл его Андреем Егоровичем. А я обнаглел, что ли. (*Смеется.*) Но мне казалось, что мы на равных. Перед тем как выпить, Андрей делал фирменный жест. (*Показывает.*) Он говорил, что гладит женщину — сначала по головке, потом по шейке, потом по грудке, а потом хлопал по попе — и выпивал. Это была его особенная шутка.

У него было две страсти. Первая — птичка. Этот фокус он показывал и мне, и моей жене. Он наматывал кусочек сала на веревочку, а потом спускал ее вниз. Синичка подлетала и этот кусочек салца съедала, а Андрей с ней разговаривал. «Птичка ты моя дорогая, родная ты моя, ну кушай, кушай, я ж тебя люблю. А теперь хочу с тобой встретиться», — говорил он птичке и клал кусочек сала на губы. Синичка прилетала, садилась на подбородок и нежно склевывала мелко нарезанное сало. Это было зимой. Потом Андрей брал ее в руки и призывал лететь да не забывать его. Возможно, это был акт рождения его творчества. Может, разговаривая с птицей, он хотел лететь вместе с ней.

Второй его страстью была маленькая мышь. Я часто у него ночевал, и однажды Макаенок спросил, хочу ли я увидеть мышонка. Он позвал его каким-то звуком, и тот прибежал. «Молчи, не испугай», — бросил мне Андрей и дал мышонку молочка. После Макаенок велел мыши идти отдыхать — та посмотрела на него и побежала. Я сказал: «Андрей, ты гений, тебе надо в цирке работать». Он засмеялся...

— *Борис Иванович, какие отношения у Андрея Макаенка были с религией?*

— Макаенок не был религиозным человеком, но и не отрицал веру. Я никогда не слышал от него хулы, неприятия. Думаю, если бы он остался жить, то пришел бы к религии. Ведь он не дожил до времени, когда многое было подвергнуто переосмыслению, разоблачалось, когда Беларусь стала самостоятельной. Сейчас, по словам Макаенка, — да пиши что хочешь. Кто тебе запрещать будет? Только гадости не пиши, пиши о человеке. Что бы сейчас писал Макаенок? Он и писал бы о человеке. Образование у Андрея было прекрасное, он цитировал наизусть многие произведения.

Я хотел бы рассказать один случай, в котором Андрей проявил гражданское мужество. Солженицын прислал ему свой роман — мне Макаенок даже письмо показывал. Он был главным редактором журнала «Неман» и, прочитав произведение, не нашел того, что нельзя печатать. Но как всегда тогда полагалось, Андрей понес произведение в ЦК, где его очень жаловал Кузьмин. Кстати, он говорил: «Если с тобой что-то случится, Андрей, я прослаблю тебя навеки». Когда Макаенок умер, благодаря Кузьмину появилась улица Макаенка. Но тогда произведение не пропустили. А Андрей был заводной, мог сказать Кузьмину и неприятные слова. Он не хотел, чтобы Солженицын считал его трусом, но все же не напечатал, что-то ответил ему. Надеюсь, тот все понял.

Потом Андрея хотели заставить подписать письмо против Солженицына. А он приходит ко мне радостный и говорит: «Не подписал, пойдем выпьем». Конечно, я поинтересовался, как у него это получилось. Оказывается, он попросил произведение, чтобы его прочитать и знать, за что наказывать нарушителя. Никто ему ничего не дал, и Макаенок ничего не подписывал.

— *Какие сложности были в жизни Макаенка?*

— У Макаенка был период отчаянья. Однажды меня почему-то очень сильно потянуло к нему. Мобильных телефонов не было, и я просто поехал. Такси — дорого, я сел в автобус, потом шел пешком. Он не ждал меня. Прихожу, а Андрей стоит в свитере, как красивая статуя. Внутренняя энергетика — мощная. Когда ему было плохо, он произносил: «Ну что ж, Борис, сейчас возьму автомат и пойду устанавливать советскую власть». По-моему, Макаенок даже Машерову это говорил — вот такой отчаянный человек. И вот стоит он, даже не одет, в свитере, а была зима. Я говорю: «Андрей». А он будто и не слышит. Я снова кричу: «Андрей! Да это ж я!» Он обнял, расцеловал меня. «Хорошо, — говорит, — что ты приехал, спасибо». Налил по рюмочке коньяку и показал на наган. Я стал на него орать почти матом. А он мне в ответ: «Что же они не понимают, что я хочу сказать?.. Что же это такое?..» В то время его пьесы не принимались. Это правда, бессмысленно скрывать. В моменты кризиса у меня в голове всплывает эта трагическая минута.

Когда пьесы Макаенка уже прокатились по всему Советскому Союзу и он стал живым классиком, вел себя достаточно скромно. Но в один из вечеров его охватило отчаянье. Я помню этот случай, но так, как описала его моя жена, не рассказал бы. *(Зачитывает.)*

«Глядя на пылающий огонь в открытой топке, он стал говорить отстраненно и сдержанно, постепенно увлекаясь в импровизации монолога о природе совести людской и бесчестья, о муках и страданиях живого сердца творца.

Мы сидели рядом, но его слова обращались к кому-то конкретному в пламени, взрывая своим могучим темпераментом оплот власти, невежества и просто равнодушия.

Андрей Егорович с гневными словами бросал поленья в топку, сжигая всю скверну несовершенного мира и разрывая в клочья беспредел тиранства во всей истории человечества.

Он упоминал Коперника и Галилея, перескакивая на Нерона и Гитлера, видел в языках огня костры инквизиции и топки Освенцима и выражал страдание словами своей пьесы.

Невыносимо тяжело было смотреть на это отчаянье, он сам в этот момент был затюканным апостолом, но не погибал, как тот, а наливался силой справедливости.

«Ды ці ведаеш ты, колькі людзей загінула, самі на смерць пайшлі за свабоду? На штыкі! На кулі! Ды ты ведаеш, што такое свабода? Воля! За свабоду, за волю і я магу пайсці на эшафот. Нават на касцёр!»

Сколько времени надо было болеть всем своим существом и терзаться жизненной несправедливостью, чтобы превозмочь гордость сильной личности и открыться нам с облегчением в отчаянии и минутной растерянности?

«Не дамся! Далоў Цэзара? Далоў праўду? На барыкады? Так? Не да-ам-ся! Не паддамся-а-а! Не да-а-м! Лепей на касцёр! А поўзаць не бу-у-ду!»¹

Все это он говорил перед костром. А я сидел и плакал. Никогда в жизни актер так не сыграет, никогда.

Однажды один из друзей Макаенка не выключил у него на даче какой-то прибор, и деревянный дом сгорел дотла. Звонит ему Иван Шамякин: «Андрэйка, у цябе дача гарыць, язджай сюды». А он и отвечает: «Зачем?.. Я приеду, и она перестанет гореть? Вы хоть пожарных вызвали?» Там все его фронтовые дневники сгорели. Воспринял потерю дачи тяжело, но с другом общаться продолжал, помогал ему. Потом пошел к Машерову, просил разрешения построить новую дачу.

Когда воевал, у него была ранена нога, и ее собирались ампутировать. Андрей страдал и держал в госпитале под подушкой пистолет, чтобы не допустить ампутацию ног, он боролся за них, как за личную свободу. И победил. Впоследствии в них образовался тромб, и Андрей скоропостижно умер. Конечно, все были в трауре. Правда, в последние годы его жизни у нас не было сильной дружбы. Почему — трудно сказать.

— *В чем была причина ваших с ним конфликтов?*

— Когда я стал главным режиссером, то должен был ставить его пьесы. Даже если бы он написал чепуху, я должен был бы ее ставить. И хорошо бы поставил. У меня было к нему требование — пиши на века. Андрей в это время написал «Верочку» — пьесу-однодневку, которую я не стал ставить, Раевский тоже. Потом я не поставил пьесу «С ярмарки». В какой-то степени я предал его. Мне казалось, самая его лучшая пьеса — «Затюканный апостол», на втором месте «Трибунал», но она с белорусским колоритом. Потом мы помирились, и он сказал, что пишет пьесу, которая мне понравится.

¹ Людмила Артамонова. «Театр и не только». «Новая Немига литературная», № 4, 2007, с. 152—153.

Она издана и существует сейчас. Если ее доделать, как Шостакович доделал оперу Мусоргского, я бы ее поставил. Это «Дышите экономно». Для меня многое в ней не прочерчено, но идея нравится. Андрей мне рассказывал, что задумался о времени, когда воздух станут продавать в бутылках, словно воду. Я предлагал адаптировать пьесу Владимиру Орлову и Алексею Дудареву — они не захотели. Я сам не драматург, но мог бы сделать это вместе с кем-то: пьеса очень актуальна. В ней общество остановилось — вперед идти не может, стоять на месте — тоже, и происходит регресс к первобытному человеку. Если бы сейчас Макаенок был жив, я бы поставил ее в любом случае. Но в то время я был уволен из театра, впал в кризис. С Андреем мы не были так близки, как прежде, хоть жили рядом. Конечно, помогали друг другу.

Сейчас бы я сказал Макаенку: «Царствие тебе небесное, Андрей. Я тебя помню, часто разговариваю с тобой. В память о тебе поставил еще одного «Затюканного апостола» — твой и мой шедевр. Извини, я позволил себе изменения во второй части. Дед не приехал из села, а воротит сегодняшним миром. Малыш не только вундеркинд, но и индиго, знающий прошлое и будущее...»

Я не вижу свободы ни в одном государстве, сейчас просто чуть больше возможностей. Свободный человек может летать — этого хочет и Малыш, когда прыгает из окна. Знаете, я вспоминаю Владимира Ефремова, который писал, что «умирать не страшно». Однажды он сидел у своей сестры, закрыл глаза и внезапно умер. Сестра, как медик, не могла этого отрицать. И вдруг Ефремов проснулся и говорит: «Я был там. Есть иной мир, и он лучше, чем наш». Это ученый, физик, бывший астроном. Вот и я надеюсь, что Макаенок в ином мире, что он будет вечно летать свободным человеком, как мечтал Малыш.

— *Все же Макаенок был для вас другом или наставником?*

— Рядом с этой личностью я, конечно, чему-то учился. Он часто кричал: «А характер? Почему нет характера, подумай!» Люблю эту фразу. Он был очень требовательным. Слово «наставник» мне не нравится. Взял ли я от него что-то? Взял.

Было время, когда мы жили в комнатухе внутри Купаловского театра — сын, я и Люда, моя жена. Через некоторое время нам дали двухкомнатную квартиру. Тогда мы уже дружили с Макаенком. Он пришел и говорит: «Нужны кирпичи (а у нас ни кола ни двора). Нужно принести что-то свое, чтобы обозначить, что это твое, занять площадь». Нашли кирпичи, принесли и выпили на них бутылку коньяка.

Мы очень любили гостей, Андрей часто приходил, всегда что-то приносил. Он любил застолья. Если Макаенок приглашал пообедать или отмечал премьеру, то делал это щедро — на деньги был не жадный. Была у него одна мечта: «Когда меня не станет, покину завещание: идет мой спектакль, а в ресторане заранее оплачен для вас ужин». Он занимал и одалживал много денег, если честно говорить.

— *Можно ли сказать, что Макаенок любил широкие жесты, определенную жизненную театральность?*

— Да. В то же время, как и любой человек, в кризис он доходил до отчаянья. Его смерть стала для меня неожиданностью. Похоронен он на Московском кладбище, когда там бываем, обязательно приносим цветы. За многое я мысленно прошу у него прощения. Мне казалось, что я должен был поставить «Верочку», «С ярмарки». Но я был честен по отношению к текстам. Может быть, получилось искупить вину тем, что я вроде неплохо поставил «Оракул?...».

— *Это лучший спектакль III Национальной театральной премии...*

— Все, что могу сказать в свое оправдание.

Беседовала Анастасия ВАСИЛЕВИЧ.



Геннадий Овсянников.

Воспоминания об Андрее Макаенке
актера Купаловского театра
Геннадия ОВСЯННИКОВА

Это была его эпоха

Золотым временем в театре имени Янки Купалы принято называть те сорок лет, когда на его сцене одна за другой шли пьесы белорусского драматурга Андрея Макаенка. Здесь он нашел не только театральный «дом» для своих произведений, но и готовых персонажей пьес в исполнении актеров-купаловцев. Некоторые, как Галина Макарова и Геннадий Овсянников, стали постоянными героями едва ли не всех спектаклей по пьесам Макаенка, благодаря чему за ними закрепилась слава «макаенковских» актеров. Отдельные роли драматург писал специально «под них».

Макаенок выделял актеров национального типа, способных не сыграть, а именно прожить роль простого человека из народа, узнаваемого и такого близкого.

Именно Геннадию Овсянникову Макаенок доверил говорить со сцены голосами белорусских мужиков из своих пьес. Десять лет эпизодических ролей в Купаловском предшествовали поворотной для Овсянникова главной роли Терешки Колобка в трагикомедии «Трибунал». С этого момента начинается «макаенковский» период в творческой биографии Геннадия Овсянникова. Не будь знакомства с Макаенком, «Трибунала», — кто знает, как бы сложилась актерская судьба Геннадия Степановича. А сейчас она такова, что Геннадий Овсянников — известный актер Купаловского театра, мэтр, Народный артист Беларуси (1974) и один из последних, кто удостоился звания Народного артиста СССР (1991). На этот год пришелся юбилей не только Андрея Егоровича, но и Геннадия Степановича — ему исполнилось 80 лет. Круглую дату отметил в родном театре, здесь же поделился своими воспоминаниями о талантливом драматурге и прекрасном человеке, каким был и останется в памяти современников Андрей Макаенок.

— Вы помните, как познакомились с Андреем Егоровичем?

— Точно не помню. Наверное, здесь, в Купаловском театре. Визуально я его знал с тех времен, когда был студентом. Тогда шел первый спектакль Макаенка в Купаловском. Его как раз сдавал мой педагог, Константин Николаевич Санников: ставил «Выбачайце, калі ласка!». Это был год, по-моему, 1954-й, а я поступил в 53-м. Потом Макаенок почти каждый день приходил в театр, конечно, не так, как актеры на службу. Макаенка видели часто, он смотрел практически все свои спектакли. Обычно драматурга редко можно встретить на показе. Даже Дударева редко встретишь, только когда идет его спектакль или есть дело от СТД (Союз театральных деятелей. — П. П.). Я пришел в Купаловский театр в 57-м году, и сразу же Санников ввел меня в «Выбачайце, калі ласка!». Кое-кто ушел: вместо Пети Бондарева я играл бригадира Михальчука.

Я с Макаенком только здоровался, близко общаться с ним начали, когда стали работать над «Трибуналом». Он приходил на репетиции иногда, потому что больше был в разъездах. Помню, с «Трибуналом» мы много гастролировали: и по колхозам, и по немецким военным базам. И Макаенок, бывало, приезжал. Помню, он приехал на спектакль в какой-то украинский город с критиком Георгием Колосом, потом Колос статью написал, кажется, в «Неман». Колос собирал материал для книги о Макаенке, поэтому вместе они смотрели все спектакли, которые шли по Украине. Там почти в каждом городе свой музыкально-драматический театр,

и везде шел «Трибунал». Колос рассказал забавный случай. Везде приезд Макаенка воспринимали как сенсацию. После спектакля, естественно, фуршет. И вот в каком-то городе Колос заметил, что Макаенок какой-то мрачный, а его редко видели таким. Что такое? Оказывается, деньги кончились. Зашли в редакцию, собрали для Макаенка заказанную сумму, и вечером в театре был фуршет.

— Как Андрей Егорович работал с актерами? Ваша однокурсница Мария Захаревич в одном из интервью вспоминала, что Макаенок замечания мог деликатно нащептывать на ухо.

— Да, если персональные. А так мог сказать не только на ухо, из зрительного зала тоже. Когда ставили «Таблетку под язык», у моего персонажа был длинный монолог о земле. Там есть такая фраза: «Гэтая ж зямля за тысячы гадоў наскрозь прамокла ад людскога поту, набрала ад горкіх мужычых слёз. Ступі на яе — дык яна ж чвякае...» Макаенок подозвал меня и говорит: «Вот ты сегодня все это легко сказал. А ты должен с чувством: «Дык яна ж чвякае!» Сказать так, чтоб аж зачвякало в ушах у всех зрителей». Не знаю, получалось или нет, но я старался. Некоторые даже говорили, что жуть брала на этом моменте. Все замечания Макаенка были по делу. Он был артистичен. Если бы так сыграть сразу, как он прочитал пьесу, больше не надо было бы ничего выдумывать, долго копать. Его персонажи все с характером и с характерностью.

— То есть Макаенок мог бы быть не только драматургом, но и актером?

— Да! В принципе, да. Потому что я помню фотографию Володи Крюка, где Макаенок читает пьесу. Не знаю, как сейчас, но раньше она была выставлена в Доме литераторов на Фрунзе, 5. И так фотограф хорошо подловил момент! Очень здорово Макаенок читал. Когда такое происходило, даже те, кто не были заняты в постановке, все равно приходили в театр послушать Макаенка.

— А что бы вы могли сказать о нем как о человеке, о его характере?

— Если Макаенок вечером пришел в театр, значит, все голодные артисты будут сыты и в табаке нос будет. Заступался за актеров, помогал им. Неохота, правда, фамилии называть. Актер Толя М. играл Малыша в «Затюканном апостоле». И пришел тогдашний председатель горсовета — забыл, кто. Ковалев, моему. Это давно было, в 70-е годы. Так Макаенок ему и говорит, мол, хороший актер, а без квартиры, ты подумай. Тот сказал: хорошо, да-да, будем думать... И Толя пока ничего не получает. В другой раз председатель привел в театр каких-то гостей, Макаенок опять там был и снова говорит ему: «Слушай, ты хочешь, чтобы я к тебе в кабинет пришел насчет квартиры?» Через пару дней Толя получает квартиру. Было такое. А потом уже, когда Макаенок стал депутатом, тут сам Бог велел. Ходили к нему, когда что-то надо было, может, попасть к кому на прием или пробить что-то. Конечно, обращались. Это был широкой души человек.

— Кстати, у Макаенка ведь были хорошие отношения с Петром Машеровым.

— Могу случай рассказать. Это произошло, когда Макаенок уже был депутатом. В перерыве проходил Машеров: «Егорыч, ты мне нужен. Потом зайди ко мне». А он разговаривал с кем-то из начальства. И тот сразу: «Андрей Егорович, может, вам надо что-то достать такое, дефицитное?» Раз сам Машеров сказал «Егорыч, зайди ко мне», значит, надо.

— Известно, что Макаенку приходилось пробивать на сцену «проблемные», подцензурные спектакли. Как, например, было с «Погорельцами».

— Да, «Погорельцев» сдавали раз шесть. Пьеса Макаенка начинается с ремарки на всю страницу о хозяйственном человеке — «...мужык, што заканапаціць кожную шчыліну, бо гэта яго...». Там приведена, если не ошибаюсь, цитата из Энгельса. Начальники приходят: «Нет, что-то не так. Такого быть не может». Все с блокнотами, естественно. Не говоря уже о Министерстве культуры, приезжали из отделов культуры облисполкома, райисполкома. И из отдела культуры ЦК, разумеется. Раз сдали спектакль, второй... На третий пришел Макаенок, на худсовет. Я тогда, кстати, тоже был членом худсовета. Макаенок



Сцена из спектакля «Погорельцы».

сам ремарку прочитал, Энгельса процитировал, на худсовете спрашивает: «Ну, так что будем делать?» Ответом ему было молчание. Он: «Молчание — знак согласия. Тогда играем сегодня вечером!» Так Макаенок сказал. И действительно играли. Я не знаю эту «лестничную» иерархию, но там все друг от друга зависели. Сразу, как премьеры, приходил Макаенок, или Машеров, или Кузьмин — второй секретарь ЦК Компартии Беларуси по идеологии. Помню, был съезд, поэтому никого из высокого начальства не было — все в Москве. А если Машеров в театре — все в театре: и обком, и горком, и, тем более, Министерство культуры.

— Во многих спектаклях по пьесам Макаенка вы выступали вместе с Галиной Макаровой, часто в роли супругов. Вас обоих считают любимыми актерами Андрея Макаенка. А вы считаете себя «макаенковским»?

— Получилось, что я сыграл во всех пьесах Макаенка. «Выбачайце, калі ласка!», «Лявониха на орбите». В «Затюканном апостоле» я был телекорреспондентом, появлялся только в телевизоре, потом этого персонажа играл Саша Денисов. «Таблетка под язык», «Святая простота», «Погорельцы». Можно сказать, прошел через всего Макаенка. Не помню, кто написал про меня: «ён нейкі “макаёнкаўскі”». Я не против этого. Сам не знаю, «макаёнкаўскі» — не «макаёнкаўскі». Это лестно, но не самому ведь о себе так говорить. Какая-то внутренняя адекватность художественному видению Макаенка у меня есть. Было такое, что почти одинаково думали обо одном и том же. Обоюдная тяга друг к другу, «плюс» и «минус». (Смеется.) Макарова Галина Климентьевна играла не только в «Лявонихе», еще в «Выбачайце, калі ласка!». А как сыграла в «Лявонихе»... «Людзі, рагуйце! Мая Лушка на арбіту выходзіць!» Вместе были «мужам і жонкай» в «Трибунале», в «Святой простоте». Я бы по-другому выразился: мы с ней персонажи пьес Макаенка.

— Гостили на знаменитой даче драматурга?

— Однажды Фома Воронежский и я приехали помогать Жене Шабану — он строил колодец. Вдруг встречаем Макаенка, говорю: «Я сейчас приду». Зашли к Макаенку. Фома потом рассказывает, спохватился — нет и нет Овсянникова, а с дачи Макаенка слышно: «Полина-а!» — «Я, сонейка маё!» Мы там репетировали, выпили, и я забыл, зачем сюда приехал. Часто Макаенок подходил, спрашивал: «Што ты робіш сёння? Зяняты?» — «Не, не заняты». — «Дык пойдзем павячэраем». К нашей компании присоединялись все, кто был свободен. Помню, как к Макаенку домой приходили Раевский, Луценко. Появлялись те, кто не был занят в постановке, например, Павел Степанович Молчанов.

— Смог бы кто-нибудь сыграть Макаенка? Вы взяли бы?

— Не знаю, нужен режиссер... Вспоминается, как Макаенок громко хохотал. Все почему-то молчат, и вдруг один Макаенок как засмеется! Я его сыграл бы по-своему. Играют же Горького, Ленина, Сталина. Правда, нужен автор, конкретная ситуация. В домашней обстановке я бы его показал запросто! «Ну что ты? Давай, давай! Ну что ты, ну ей-богу! Подумай, бандит такой!» Вот так он примерно разговаривал. По-моему, Лиля Давидович (Народная артистка БССР, актриса

Купаловского театра. — П. П.) ему сказала: «Вы не видели в театре «Лапти-самоплясы»?» — «Нет, еще не ходил». — «Там Овсянников разговаривает точно как вы!» — «А кого он играет?» — «Царя Гороха». — «Не может быть, чтобы я, как царь, разговаривал!» Получилось, что я где-то амплитудами выходил на интонацию Макаенка. Не специально, характерность в таком ключе случайно образовалась. Не знаю, видел ли он меня в этой роли. Многие говорили, что я на него был похож.

— *Помните творческий вечер Макаенка в Купаловском?*

— Да, помню. Тогда Эрин приехал к нам ставить и сказал: творческий вечер Макаенка, а на сцене Овсянников. Я представлял выигрышные куски из спектаклей по пьесам Макаенка. Застолье с немцами из «Трибунала». Монолог Старого перед сыном в «Святой простоте».

— *Знаете что-нибудь о том периоде, когда Макаенок был главным редактором журнала «Неман»?*

— Знаю только, что Макаенок помог Евтушенко напечататься. Тот не мог нигде в Москве опубликовать свою поэму, а Макаенок поместил ее в «Немане». И тогда у нас в театре состоялась встреча с Евтушенко, кстати, после «Лявони-хи». Евтушенко читал новые стихи и рассказывал, что его чуть не выгнали из литинститута, когда он защищал пьесу «Выбачайце, калі ласка!». Кажется, ее обвиняли в антиидеологической направленности.

— *В пьесах Макаенка комическое соединяется с трагическим. Можно ли сказать то же самое о личности Андрея Егоровича?*

— Жанр трагикомедии — это высший пилотаж драматургической формы. От Макаенка осталась формула: в любой трагикомедии должно быть пять процентов высокой трагедии, а остальное пусть будет комедией. Чистой комедии в жизни не бывает, это только от собирательности и парадоксальности восприятия. Скажем, в пьесе Макаенка если старушка хлобыстнет мужика, вроде смешно, а на самом деле не очень, если докапываться до истины — отчего она это сделала? Ситуацию можно усугубить, это уже дело актера. Макаенок был всегда веселым, а свою трагедию носил в душе. Ему же хотели ноги отнимать после ранения. Кто знает, как у него в лазарете пистолет оказался, говорят, он грозился застрелить того, кто ампутирует ему ноги.

Опять же, несмотря на помощь Машерова, Макаенку нелегко было пробивать спектакли. «Трибунал» после Бобруйска был поставлен в Москве на Малой Бронной, мы с Макаровой приехали играть в их спектакле. На репетициях Раевский сказал пропустить монолог о власти. Я думал, для того, чтобы быстрее прогнать текст. Но Раевский знал, что из московского спектакля монолог выкинули, а я-то не догадался. И когда со сцены начал читать монолог, то увидел, что партнеры глядят на меня как-то странно. Раевский потом перед москвичами оправдывался, мол, думал, раз в Москве идет «Трибунал», значит, разрешили. В «Трибунале» ситуация своего рода «капустническая»: связали человека, в мешок посадили, одна голова торчит, человек трепыхается. И вдруг серьезный монолог о власти. Зритель смеялся, а на этом моменте затихал, слушал.

— *Часто Макаенок посещал постановки своих пьес? Подходил к актерам с комментариями после спектаклей?*

— Да, часто. Он всегда делал замечания: «О, ты сегодня по-новому... Хорошо, хорошо, импровизируй». Еще у него была такая привычка. В зрительном зале нашего театра справа есть ложа, тогда она считалась директорской. Там висели шторки, и Макаенок сидел за ними и смотрел спектакли. Сначала, конечно, из зрительного зала, а потом и в сам зрительный зал поглядывал — как принимают. У Макаенка дома висела большая фотография: зрительный зал, наверное, на «Лявонихе на орбите», потому что я стал бывать дома у Макаенка после «Трибунала», а она уже висела. Тоже работа фотографа Володи Крюка. На снимке у всех лица такие разные, интересные! В общем, любил драматург наблюдать за реак-

цией зрителей. Не так смотрел, как начальство, — все с блокнотами, выискивают блох, ловят, кто что не так сказал, — а как простой зритель, который пришел за эмоциями, за историей. Когда в театре поставили «Святую простоту», проходил очень важный, кажется, XXII съезд КПСС. У Бориса Владимировского в спектакле был такой текст: «У дрэнным правіцельстве, як і ў палонцы, наверх усплывае самае лёгкае». И министр культуры Юрий Михайлович Михневич запретил его произносить до окончания съезда. Так что не все показы проходили гладко.

— *Что можете сказать о языке его пьес? Заучивали и произносили как свое?*

— Как свое! В пьесах Макаенка русский язык органично смешивается с белорусским. Язык — не тряснянка, скорее, «сучасная размоўная мова». Как в жизни. Скажем, фраза «Доўга коўзаўся, таму і падкаваўся». В русском переводе «коўзацца» — «скользить». Но скользить можно по полу, по льду, а «коўзацца», как дети на попе с горки, которые ходят потом в подранных штанах. «Доўга коўзаўся, таму і падкаваўся» — целый образ. Метафора какая! У Макаенка много таких «трапных» словечек.

— *Есть мнение, что пьесы Макаенка потеряли актуальность, если не считать «Затюканного апостола». Вы согласны?*

— Я вот сейчас шел и думал: Макаенок — это целая эпоха. В драматургии не просто Беларуси, а тогда СССР. Спектакли по Макаенку шли во всех театрах. У Алексея Дударева был театр, которым командовал Мазынский, сначала у нас на малой сцене, потом в Клубе ветеранов. Там поставили «Трибунал», я играл с их артистами. Потом пьесу ставил Анисенко в РТБД, Мархель играла Полину. «Затюканный апостол» идет сейчас в Русском театре, только под новым названием — «Оракул?..». Все в пьесах Макаенка было не в бровь, а в глаз о ситуации в стране. Нехорошее слово, мол, «однодневки», как говорят о «Выбачайце, калі ласка!». Кстати, когда спектакль прошел по всему Союзу, в сборнике пьес появилась вступительная статья Шамякина. В ней он пишет о том, что после премьеры в театре Янки Купалы на сцене как будто взорвалась бомба и что только через год было постановление ЦК КПСС о приписках и об очковтирательстве, а Макаенок поднял эту тему гораздо раньше. Как и поэт, драматург — пророк в своем отечестве.

Помню, еще при жизни Макаенка восстанавливали «Лявонику на орбите». Я был «четвертым» Максимом — трое актеров, в разное время его игравших, уже умерли, в отношении этой роли существовало суеверие, но ничего, я пережил. Так вот, хотели взять из пьесы бытовые сцены, начало и финал без второго акта. Там действие происходит в обкоме, и все разговоры о том, чтобы отдать корову в колхоз. А теперь все поменялось, наоборот стало: разводи гусей, коров, только работай. Макаенок тогда сказал такую фразу: «Когда мужики заберут обратно своих коров из колхоза Орловского, вот тогда я буду переделывать пьесу». Потом постановка сама по себе сошла со сцены. А «Выбачайце, калі ласка!» тем более. Характеры выписаны — настоящий Салтыков-Щедрин вместе с Гоголем. Но темы сейчас уже не актуальны. Вот «Трибунал» можно ставить. Не я придумал, но я подслушал хорошее выражение: когда омолаживают спектакль, получается пожилой мужчина с крашеными волосами.

Сорок лет — это эпоха в театре. Поколение актеров сменяется через каждые двадцать пять — тридцать лет. Пьеса как жанр литературы — не просто текст, написанный в форме диалога. Одно слово может создать характер. Это была его эпоха, Макаенка. Был случай: после выездного показа «Выбачайце, калі ласка!» приходили за кулисы колхозные тетеньки к Лидии Ивановне Ржецкой и просили: «Будь ты у нас за старосту, наведи порядок». Значит, что-то их зацепило. Театр, как и любое искусство, должен чуточку опережать свое время, а не плестись за ним. Это как раз о пьесах Андрея Макаенка.

Беседовала Полина ПИТКЕВИЧ.

Драматург на все времена

На очередном банкете в Купаловском театре после своей премьеры — а мы любили эти премьеры: на ужин приглашался буквально весь состав театра, Андрей Егорович был хлебосольным автором, — так вот не помню уж после премьеры какого спектакля, но у меня на плечах оказались руки Андрея Егоровича и раздался его голос:

— Вот еще кому надо помочь.

Помочь не успел. Вскорости умер.

В 2005—2006 годах я поставил его «Трибунал» в РТБД и в Иркутске. Более того, мы участвовали в престижном международном театральном форуме «Золотой Витязь» с совместным белорусско-русским проектом — спектаклем «Трибунал». Одну пьесу играли два состава — белорусский и русский из иркутского ТЮЗа имени Вампилова.

Просмотр в рамках «Золотого Витязя» проходил на сцене Республиканского театра белорусской драматургии в 2005 году, которым я в ту пору руководил, а потому и оказался свидетелем того, как после первого акта распахнулись двери зрительного зала и стремительно вошла Ада Николаевна Роговцева, народная артистка СССР, выдающаяся советская актриса, председатель жюри.

— Не могу, сейчас разрыдаюсь...

Шел спектакль «Трибунал» по пьесе Андрея Макаенка. Полину играла сибирская актриса Любовь Стрижова.

Для меня реакция Алы Роговцевой на наш спектакль — высшая похвала.

В свое время после учебы в Москве я вернулся в Минск с идеей создания нового театра... Искал пьесу. Узнал, что у Андрея Егоровича готова новая пьеса, и тут же оказался у него на даче с просьбой отдать ее мне. А у меня ведь, кроме идеи нового театра, ничего не было.

— Подожди... Пьеса там... наверху...

В итоге пьесу «Погорельцы» поставил Валерий Раевский в Купаловском театре.

Я теперь понимаю, как непросто было Андрею Егоровичу. Это внешне казалось, что он благополучен как художник. Как личности ему выпала нелегкая доля лидера.

У него нет легковесных пьес. Всегда поднималась проблема. Именно поэтому вклад Макаенка в «копилку» своего времени трудно переоценить. Это вклад Художника, определяющего лицо своего времени.

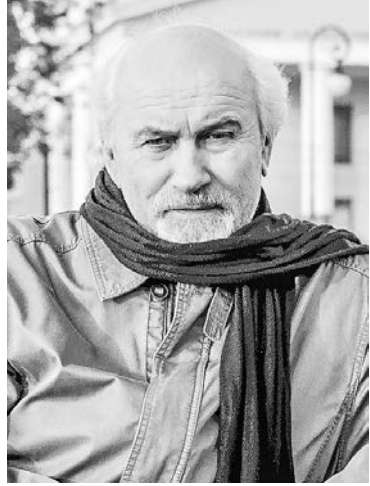
Таких всегда мало...

Их единицы...

Именно Макаенок взрастил двух режиссеров — Валерия Раевского и Бориса Луценко, поставил их во главе двух ведущих театров страны — Купаловского и русского имени Горького. Творчество этих мастеров во многом определило лицо белорусского театра, и в течение почти 40 лет высоко держало его уровень.

А пьесы Андрея Макаенка и сегодня востребованы, и появляются на театральных подмостках — «Трибунал», «Погорельцы», «Затюканный апостол»...

Драматург на все времена.



Валерий Анисенко.

Валерий АНИСЕНКО, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

Татьяна ОРЛОВА

Жизнь и судьбы

Театральная публика Минска, устав от однообразия отечественных спектаклей, очень далеких от правды жизни, с огромным интересом вот уже пятый год наслаждается Международным форумом театрального искусства «ТЕАРТ». Проходящий почти ежедневно на протяжении месяца праздник сцены, прежде всего, оказывается праздником для театральных гурманов. И одновременно провоцирует на размышления о состоянии театрального дела в мире и у себя дома.

Еще в прошлые годы казалось, что технические новшества поглотили внимание мастеров сцены и уведут театр из сферы духовного в мир аттракционов. Чтобы заманить публику и спланировать успех, удачу, начинают связывать театр со сложнейшими техническими требованиями и массовым приходом на сцену кино и видеоэффектов. Так, на прошлых четырех фестах «ТЕАРТА» было множество ярких захватывающих технических новшеств. Сегодня, на пятой встрече с европейским театром, в умело составленной программе мы видим возвращение к истокам театра — человеку и его судьбе. Как не вспомнить великого фантазера Станислава Лема, который заметил, что культура держится не на технике, а на ценностях. Впрочем, кто-то так не считает.

В этом году на «ТЕАРТЕ» баш на баш. На 12 международных спектаклей 13 отечественных. Казалось, мы безнадежно отстали от мировых процессов, а все же набралось такого, чем будем удивлять. «Свое» мы склонны недооценивать. Порой не понимаем, почему за пределами Беларуси наше недооцененное воспринимается как весьма ценное. Это лишь свидетельствует о том, как важен глаз со стороны и насколько общие процессы и тенденции интересны нашему конкретному белорусскому зрителю. Наше время коммерции и гламура не очень-то нуждается в личностях и склонно их нивелировать, приводить к общему знаменателю. Но настоящая личность сопротивляется. Она скандалит, эпатирует, идет своим путем. Иногда опасным или неверным. Однако лучше шишки, чем благостная тишина. Сегодня в Беларуси событий в театральной сфере мы ждем от Евгения Корняга, Алексея Лелявского, Олега Жюгжды, Игоря Казакова, Юрия Дивакова, Александра Марченко, Татьяны Троянович, Тимофея Ильевского, Саулюса Варнаса, Валентины Ереньковой. Почти все они были представлены в программе фестиваля. Постоянно возникал вопрос об отсутствии наших признанных мэтров. Ничего страшного. Они уже и так свое слово сказали. Когда-то и они были в первых рядах экспериментаторов. Имеют право отдохнуть. Хотя жаль, что мало интересуются сегодняшним днем европейского театра и на чужих спектаклях не были замечены. Возможно, они уже столько всего повидали, что утомились, удобнее существовать в привычном мире. А жаль, что оказалась столь разобщенной наша театральная среда. И все же... не надо сжигать корабли и впереди, и сзади. Никакая культура, в том числе театральная, не способна развиваться вечно по единой, универсальной модели. Может истечь время данной конкретной культуры. Никакого ее глобального перерождения быть не может.

Думается, главная проблема современного театра — в точном ощущении времени. Мало интересных пьес о современности. Нет их почти в Беларуси.

А те, что есть, часто наполнены мраком, жалостью, пассивной энергетикой, которые никак не «заходят» зрительный зал. И тогда постановщики начинают искать способы активизировать публику. Театр, действительно, сделал прорыв в области драмы.

Наш театральный авангард — это энергичные, молодые, амбициозные, компьютерно-интернетские личности, кстати, очень свободные. Свободные абсолютно от всего. К счастью, белорусское театральное пространство сегодня открыто для европейских спектаклей. Они показываются на фестивалях Бреста, Могилева, теперь и Минска. Театральные люди открыто говорят о необходимости признания общей театральной страны — театра мира без границ. Так как он развивается?

Наберусь смелости выстроить, на мой взгляд, главные направления, по которым движется сегодняшний театр. Прежде всего, это **просто развлечение**, когда театр ищет вдохновения в развлекательных формах кино и телевидения, в смехе, клубной культуре, трэше. Такими спектаклями заполнена наша сцена. Они вызывают горячий отклик у публики и кормят театр, не претендуя на основательный анализ.

В моду вошел **перформанс**. В переводе с французского — театр визуальных искусств. Явление незавершенное, происходящее на улице, в музее, только не на сцене. С ритуалом и социальными комментариями, со щедрым использованием человеческого тела. Сейчас перформанс показывают в театре, и он приобретает новые черты. На «ТЕАРТЕ» отечественный перформанс был представлен театром танца «Каракули» и могилевской лабораторией Юрия и Татьяны Диваковых. Настоящим качественным перформансом я назвала бы итальянские «Орхидеи» Пиппо Дельбоно, красивый, шокирующий, провокационный крик о человеке и человечности. В поиске сложных визуальных решений — включенности зрителей, постоянном выходе в зал, яркой театрализации — автор и он же режиссер не рассчитывал на психологическое воздействие, но его несомненно достиг. Было невозможно не подчиниться молчаливому обаянию непрофессиональных актеров, многие из которых безнадежно больны и прекрасны в своем желании жить полноценно.

Близкий к перформансу **кинематографический театр**. Сегодня это пиршество экранной культуры, которая несомненно делает доброе дело, укрупняя лицо театрального артиста, вводя документальный и изобразительный материал. Все это прибавляет выразительности спектаклю и добавляет зрителю эмоций. Но кино не поглотило театр. Сцена остается для лицедейства актера на новом уровне в виде танцевальных форм, демонстрации техники тела. Часто без использования текста и смысловой определенности, однако с яркими визуальными эффектами, особенно световыми и музыкальными. Такой спектакль показали японские артисты, спектакль для небольшого пространства на тридцать зрителей с использованием чайной церемонии, специальных очков, наушников и эффектов 3D-видео. Спектакль называется «Matchatria», что переводится как «сердце в руках». Авторы назвали его мультимедийным танцевальным перформансом. На мой взгляд, это кинематографический театр японской танцовщицы Юи Кавагучи и художника Есимаса Исибаси, в котором движения придумываются и импровизируются,



«В маленькой усадьбе».

сочетаются с чайной церемонией и физиологической жизнью человеческого сердца. К сожалению, подобного высокотехнологического представления нет в Беларуси, и вряд ли оно может скоро появиться.

Кинематограф как вид искусства сегодня действительно очень помогает театру, не убивая его и не умаляя его достоинств. Кино не приближает театр к зрителю, показывая те шедевры, которые вряд ли можно увидеть наяву. Так, фестиваль «ТЕАРТ» использовал в этом году не только театральные, но и киноплощадки.

Центр визуальных и исполнительских искусств «Арт корпорейшн» начинает в Минске проект TheatreHD — трансляции лучших постановок со сцен Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Королевского Национального театра (Лондон), Королевской Шекспировской компании (Страдфорд-на-Эйвоне) и Большого театра (Москва).

Трансляции спектаклей на киноэкране — это новый формат для Беларуси, но распространенная практика в Европе и мире. TheatreHD — проект, который объединяет более 35 городов России, Украины, Казахстана, а теперь и Беларуси. В рамках этого проекта на экранах кинотеатров демонстрируются театральные, оперные и балетные постановки самых известных сцен мира. Это возможность увидеть культовых исполнителей современности в режиме реального времени на большом экране, побывать на спектаклях, о которых говорит весь мир.

Сегодня белорусские театральные деятели говорят и о развитии у нас **театра чистой формы**. Явление это непростое, многократно осужденное приверженцами психологического театра. Опыт показывает, что эксперимент никогда не бывает «чистым» без вкраплений, использования традиций. Вообще-то резко противопоставлять художественные поиски не следует. Никогда не знаешь, во что выльется то или иное направление. Так, Могилевский драматический театр экспериментирует не первый год. Сейчас он пошел на риск и определенное напряжение со зрителем, предложив конституцию формальных элементов. Спектакль «В маленькой усадьбе» — эстетически красивое, загадочное, как всякая метафизика, проникновение в «теорию чистой формы» польского драматурга Станислава Виткевича. Режиссер Саулус Варнас давно тщательно изучает творчество этого автора и искренне не понимает, почему его не ставят на сценах Беларуси. Варнас отлично владеет музыкой в буквах, законами абсурдистского театра, поэзией восточного искусства, обладает тонким вкусом и множеством других достоинств, что позволило ему соблюсти требование автора «держаться на расстоянии от жизни». Рискованно, но интересно.

Четвертый, поставленный в Могилеве литовским режиссером Варнасом, спектакль претендует и на новые формы, и на принципиально новую театральную эстетику. Режиссер ищет свежие резервы в самом театральном искусстве. Его главный источник удивления — актер. Радостно, что в каждом из его спектаклей происходят актерские открытия, хотя сделать это на такой драматургии, как у Виткевича, очень непросто.

Автор пришел в театр от живописи и сформулировал «теорию чистой формы», за что его называли предшественником абсурдистов. Его не интересуют конфликты нормальных людей и психологические мотивы поступков. Он призывает держаться подальше от жизни, не доискиваться до логики поведения. Трудно определить, чего больше в творчестве Виткевича — литературного таланта или философской созерцательности. Именно это последнее определяет существование его пьес в пространстве сновидений, а его героев делает похожими на безумцев. Сплошная метафизика. В снах что только не привидится!

Виткевич стоял у истоков нового театра XX века и писал так: «Нужно, чтобы после выхода из театра у зрителя оставалось впечатление, что он пробудился от какого-то причудливого сна, внутри которого самые обыкновенные вещи вдруг обретали странное очарование». Зритель, который узнает все это о Виткевиче, сразу поймет, почему в Могилевской постановке существуют и очаровывают все отклонения от классической модели построения спектакля. Можно считать, что

в театральном искусстве Беларуси есть чему поучиться. Иногда мы не только в арьергарде, но и в авангарде.

В мировом постдраматическом театре сегодня становится популярным **энергетический театр**, который существует за пределами драмы, предлагает фигуративность и все, что за пределами образности. Это реальный поток энергии, ярости, страстей, не всегда осмысленный, но заводящий публику. Стильный швейцарский спектакль «Донка — послание Чехову» построен как мир цирка с акробатами, жонглерами, воздушными эквилибристами, изящными женщинами и тонкой звуковой партитурой. Недаром его автор и режиссер Даниэле Финци Паска завоевал мировую известность в Цирке дю Солей. К чести белорусского искусства, этому спектаклю ничуть не уступает наш «Доступ к телу» менее известного Славы Иноземцева, создателя пластического театра «ИнЖест». Наша работа способна покорить «заграницу», так как профессионально сочетает пантомиму, танец буто, пластические импровизации, методы визуального театра, музыку и слово.

В 80-х годах прошлого века наши творческие люди познакомились с новыми направлениями хореографического европейского искусства и стали осваивать его на собственной практике. Вслед за фолк-модерн-театром Ларисы Симакович появилась «Галерея» Александра Тебенькова, Skvo's Dance Company Ольги Скворцовой, «Каракули» Ольги Лабовкиной. Но первым и самым значительным стал театр пластического гротеска «ИнЖест» под руководством Славы Иноземцева.

Его спектакль «Доступ к телу» — яркий, шокирующий, с впечатляющими шумовыми и световыми эффектами, оригинальными костюмами. Он начинается с лекции искусствоведа, напичканной лженаучными непонятными терминами, о том, что такое пластическое искусство. У лектора неладья с микрофоном, с жестами, уверенно-безапелляционный тон. Что-то напоминает психоделический театр некогда популярной группы «Звуки Му» Петра Мамонова. Лектор начинает дергаться, извиваться, вскакивать ногами на трибуну, и наконец, трибуна упадет, придавив его, поднимется занавес. По возвышению прохода в центре зрительного зала начнут двигаться участники спектакля. Недаром жест является внешним движением тела, а пластика — визуализацией чувства. Все, как в произведениях постмодернизма, развивается алогично, случайно, непредсказуемо, строится по принципу хеппинга, разрушает связь между искусством и неискусством. И как тут не вспомнить А. Эйнштейна, который считал, что в мире нет хотя бы одной устойчивой точки, он устроен по принципу всеобщей изменчивости. Между тем в спектакле «Доступ к телу» нарастает градус стихийного визуального беспредела, но это не художественный террор. Это сгусток массового искусства, броуновское движение в русле свободной современной пластики.

Даже опытному критику, не то что обыкновенному зрителю, трудно справиться с анализом чувств, эмоций, мыслей. Этот великолепный коллаж, напоминающий хаотическое движение уличной толпы, рождает чувство необъяснимого восторга. Условные движения танцовщиков, странные запутанные картинки видеоарта, конструкции из человеческих тел, погружение в медитацию и белые пациенты психиатрических больниц, киномассовка, громкоговорители, впечатляющие шумы — все это разрушение прежних ценностных ориентиров и, что замечательно, во всех спектаклях театра «ИнЖест» добрый финал со всеобщим ликованием. Хаос и абсурд преодолимы и неизменно приведут к другой, более сложной гармонии, которая передает все оттенки чувств и мыслей нового поколения. Эта созидательная энергия спектакля главный его вывод и достоинство.

Еще одно театральное направление характеризуется не энергией и шоком, а тем, что как воздух необходимо современному зрителю. Публика практически ничего не может узнать о своей жизни в сегодняшнем конкретном времени. Правда, есть «новая драма», безысходная, беспросветная, как черная комедия. Она на любителя. Пустующую нишу занял **документальный театр**. Он давно пустился в погоню за реальностью, преуспел в России, где даже собирает все лучшие образцы под крышей «ТЕАТРА.DOC». Оказалось, что и в Беларуси сейчас интересно рабо-

тать на поле документального театра, который обосновался в Центре белорусской драматургии при РТБД. Их первый успешный проект — «Мабыць?» — задокументированные свидетельства молодых белорусов о нашей реальности.

Медийные возможности добавили модных пряностей в жанровую корзину. Вас могут пригласить на спектакль, который расшифровывают как «квест», «бродилки», «посидим в сетях», «давай лайкнем» или *verbatim*. Последнее — не что иное, как прежняя документальная драма, где сохраняются язык и речь обычных людей без обработки. Но *verbatim* звучит красивее и загадочнее.

Республиканский театр белорусской драматургии (РТБД) сделал спектакль в жанре *verbatim* и с подзаголовком «голоса вокруг наших вопросов». Это спектакль-исследование, спектакль рассуждение. В нем нет сюжета, нет действия, нет интриги. На сцене все участники, которые по очереди рассказывают свою историю. Могло быть и скучно. Но что-то магически затягивает. Увлекательно, иногда смешно и наивно. Иногда страшновато, хотя безо всякого там криминала, наркотиков, драк.

Драматург Дмитрий Богославский, режиссер Александр Марченко, композитор Егор Забелов и двенадцать актеров решили взять интервью у самых разных людей. Выбирали произвольно. Знакомых и совсем чужих. Кто-то рассказывал историю своей жизни, кто-то коротко отвечал на вопросы, кто-то долго рассуждал и требовал сочувствия у слушателей, кто-то озорно играл на аккордеоне и пытался петь. Все это и стало спектаклем «Мабыць?». Всем, кто участвовал в этой задумке, было интересно понять людей, которые живут рядом, и признаться: я тоже так думаю. Резюме простое — возможно, здесь есть и ваша история.

Создатели спектакля — люди очень молодые. Они не устали от вопросов и сомнений, не записовали себя в ответах. Можно сказать, что мы видим самопрезентацию поколения. Среда, в которой все происходит, узнаваемая, белорусская. Присутствует смешение языков. Звучит белорусская, русская, английская, итальянская речь. Один спрашивает по-белорусски, другой отвечает по-русски. И наоборот. Человека, который считает себя белорусом, расспрашивают и оценивают, над ним добродушно подшучивают, ему сопереживают. В конце концов, это нас с вами вывели на планшет сцены. С неба сбросили кучу обуви. Подбери себе кроссовки, тапочки или модные туфли, выйди на авансцену и давай немного порассуждаем о жизни. Без Гамлета, Макбета и Иванова. О своем сегодняшнем, наболевшем.

Если задуматься, актерская профессия всегда состоит из вопросов и ответов. После любого спектакля у зрителя должны остаться либо ответы, либо вопросы, либо сомнения. Наверное, это зависит от того, как человек воспринимает мир. Одни готовы услышать то, что театр предлагает обсудить, и могут ему поверить. Других ничем не убедишь, не разрушишь стойкие стереотипы, да и ответов им никаких не нужно.

В таком жанре, как *verbatim*, нельзя что-то изображать. Все должно быть предельно естественно, потому что нам предлагают не фантазию художника, не вымышленный текст, а реальные неотшлифованные и выправленные мысли. Они могут излагаться без логики и косноязычно. Мы же не редактируем себя, когда говорим.

Рядом с нашим «Мабыць?» можно поставить показанный на фестивале спектакль рижского режиссера Алвиса Херманиса «Латышская любовь». Это такой же документальный проект, которому почти 10 лет, но он не потерял своей актуальности. Мы полюбили этого режиссера, который увлекает артистов (они у него всегда соавторы) в путешествие по другим временам и чужим судьбам. Спектакль об одиночестве и желании быть любимым. Его документальное исследование — это и коллекция актерских этюдов на тему брачных знакомств, и почти натуралистическая точность в изображении разных социальных типов. 13 человеческих историй рождают сентиментальные эмоции, непреходящую грусть. Прекрасен финал — национальный праздник песни. За сценой хор поет латышские гимны, и еще одна ищущая успокоения пара включается в хор, и

кажется, что это человеческое единение примиряет всех и все. История делает оборот — и времена рифмуются. Прошлое не исчезает бесследно. Оно становится иногда узнаваемым, иногда совершенно чужим.

Перейдем к **реалистическому театру**. В чистом виде его не было ни в международной, ни в отечественной программе. В обычном театральном сознании реализм ассоциируют с поучительными проповедями. Современные молодые режиссеры боятся показаться старомодными и легко отказываются от базовых выразительных средств театра. Чтобы сделать спектакль остросовременного мироощущения, совсем необязательно гоняться за скандальной новой драмой или медийными технологиями. Примером может служить «Враг народа» Томаса Остермайера. Руководя немецким театром «Шаубюне», он нащупал новую театральную структуру, которая позволяет прогнозировать человеческое поведение в условиях эксперимента. У нас Ибсена ставят редко, в основном пьесу «Нора». «Враг народа» известен скорее как «Доктор Штокман» и привлекателен тем, что отличается острой социальной критикой, которая доводит семейные проблемы до столкновения в масштабах общества. Норвежский драматург Генрик Ибсен очень естественно переселился из восьмидесятых годов позапрошлого века в Берлин 2015 года, и стало казаться, что это абсолютно современный автор, хотя, конечно же, имела место адаптация текста.

Вообще-то, отношения сегодняшнего театра с классикой похожи на жертвоприношение, причем жертвой становится авторский текст. Его не только уродуют и не уважают. Ему придают противоположный смысл и выставляют на осмеяние. Так, на мой взгляд, произошло с «Евгением Онегиным» Пушкина. Спектакль Новосибирского театра в постановке Тимофея Кулябина называется «Онегин», и приключения современного звездного обеспеченного юноши можно было бы не связывать с романом великого Пушкина. Пусть бы себе скучал в деревне, издевался над Ленским, увлекался случайными красотками, приставал к бизнес-леди Татьяне Лариной — вполне современный телесериал. Однако за кадром хороший артист читает гениальные стихи Пушкина, и все делают вид, что осовременивают «энциклопедию русской жизни». Подобный ход перенесения текста пьесы Горького «На дне» избрал и Тимофей Ильевский в Брестском академическом театре. Спектакли новосибирцев и брестчан несравнимы по художественному уровню, но в обоих случаях что-то не сложилось. Я назвала бы подобное направление **акцией**. Ее краткосрочность очевидна.

К направлению «акция» может быть причислен лабораторный спектакль из Могилева «Orotorium», который позиционируется как театр объекта, танец нервов и голосовых связок. Разовой акцией стал спектакль «Участковые, или Преодолеваемое противодействие» Центра белорусской драматургии при РТБД. Да и привезенное из Венгрии многолюдное действо по имени «Доходное место» мало общего имеет с пьесой А. Островского и воспринимается как эпатажирующая акция.

Нет возможности рассказать об интересных опытах с формой и со смыслом Евгения Корняга и Алексея Леляевского. Их работы фестивальные и будут иметь успех на зарубежных площадках.

Для меня лично вершиной фестиваля, к которой не подберешь брата-близнеца и не впишешь в направление, остается спектакль «Жизнь и судьба» культового российского режиссера Льва Додина, который впервые посетил Минск. Спектакль живет восьмой год, и ему нет равных нигде, потому что там бьется пушкинская мысль об ожесточенном страдании, потому что это мощное эпическое полотно создает духовное излучение уходящей природы. Он о преступниках, не совершавших преступления. Он о том, о чем мало кто думал прежде и о чем заставил думать фашизм — о еврействе. Он о материнской любви, которую никто не в силах убить.

Писатель Василий Гроссман более 25 лет не мог пробиться со своим романом к читателям. Он посвятил роман своей матери. Додин сделал это сцениче-



«Жизнь и судьба».

ской реальностью. 9 страниц письма матери Анны Семеновны к сыну Виктору Штруму стали композицией спектакля. Материнским письмом начинается, продолжается и заканчивается свое обращение к сыну мать, что пошла в гетто и на смерть. В спектакле Льва Додина сохранена авторская мысль, что «немыслимо тождество двух людей», что «насилие стремится стереть своеобразие».

Казалось, совершенно невозможно пересказать на сцене огромный многоплановый роман Василия Гроссмана. Режиссер понял и сохранил художественную структуру произведения, ее эпическое звучание, умело переплел волю и тюрьму, пространство людей свободных и тюремных. Видно, что это тотальная режиссура с жесткой дисциплиной, где выверен каждый шаг. Партитура произведения составлена с математической точностью. Думается, Лев Додин следует канону русского психологического театра, реалистическому искусству МХАТа, но по-своему их препарирует. В спектакле все здесь на сцене, все при всех, все на виду. И невозможно поэтому сфальшивить, солгать. Авторская режиссерская работа удивляет и потрясает своим сложнейшим построением, четкостью, ясностью, умелой партитурой пересказа судеб людей могучей страны, которую умом не понять, аршином не измерить. Спектакль из Санкт-Петербурга подводит на фестивале черту под темой «Драма. История. Смысл». И совершенно неважно, какой это театр — реалистический, психологический, формальный, документальный, метафизический, перформативный, натуралистический. Все в нем есть. И это прекрасно.

*Фото предоставлено пресс-службой
Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ».*





В кругу Ее Величества

Из множества крылатых строк о музыке мне вдруг вспомнились напевы когда-то Булатом Окуджавой:

*Моцарт на старенькой скрипке играет,
Моцарт играет, а скрипка поет,
Моцарт отечества не выбирает —
Просто играет всю жизнь напролет.*

Но повторяя эти знакомые бесхитростные слова, я умышленно допускаю оговорку (да простят меня и Моцарт, и Окуджава, и читатели): «Скрипка отечества не выбирает...» Кудесница скрипки, играя и кочуя по Европе — из века в век, из края в край, напролет, — обретала свое отечество среди разных народов. В отличие от инструментов, увековеченных в античной мифологии или в священных книгах, она не может похвалиться архидревней родословной. Но глубинные корни связывают ее с далекими предками — старинным семейством арабских смычковых, а собственная классическая история, длящаяся не менее пяти столетий, весьма богата, сложна, полна мистических загадок и метаморфоз. След скрипки замечен и заметен везде: на деревенских праздниках, народных гуляниях и светских балах, в партитуре богослужебного ритуала и в атмосфере бытового любительского музицирования, на концертной эстраде и в джаз-клубе... Именно скрипка, наделенная голосом человеческой души, воспетая в стихах и легендах, стала общепризнанной королевой мира музыки — многообразного и не знающего границ.

В кругу Ее Величества Скрипки нашел свою творческую обитель профессор Анри Янпольский. Кстати, наш уважаемый мастер не так давно принимал поздравления со знаменательной датой: ему исполнилось восемьдесят. А теперь Анри Борисовича можно поздравить и с высокой государственной наградой: его заслуги перед белорусским искусством отмечены медалью Франциска Скорины.

Почтенный возраст — не помеха его галантности, артистизму, чувству юмора, живому интеллекту и желанию работать. Анри Борисович по-прежнему преподает в Белорусской государственной академии музыки (нынче в классе профессора Янпольского шесть молодых скрипачей). Увлеченно участвует в работе конкурсных жюри. С коллегами по союзу музыкальных деятелей всегда охотно и заинтересованно обсуждает насущные проблемы художественной культуры.



Анри Борисович Янпольский.

Из «театральных детей»

О жизни старого Минска написано не так и мало: хорошего и разного, достоверного и выдуманного, давно известного и до недавнего времени табуированного. Но мои собственные представления о дореволюционном прошлом родного города и его истории до середины минувшего столетия складывались в первую очередь из семейных воспоминаний (что-то рассказывал еще прадедушка, проживший почти 90 лет). Наверное, поэтому, общаясь с Анри Борисовичем, я легко смогла представить себе пеструю, парадоксальную атмосферу того далекого, утраченного, но невыдуманного Минска, где 30 августа 1935-го появился на свет, а со временем сделал первые шаги на пути к большой музыке сын актера Боруха Ямпольского и пианистки Любови Пекелис — людей, самоотверженно преданных искусству.

Художественный мир БССР и ее столицы в 1920—30-е годы был по-особому привлекателен и, конечно же, неоднозначен. Идея белорусского национального культурного возрождения стимулировала развитие отечественного образования, науки, профессионального творчества и просвещения. Государственная картинная галерея, Витебское художественное училище, Минский музыкальный техникум, консерватория, а при ней — школа для талантливых детишек со всей республики (в этом году школа, которую теперь знают как Республиканскую гимназию-колледж при Академии музыки, отмечает 80-летие); первые филармонические коллективы и музыканты-исполнители, выступавшие в прямом радиозэфире; театр оперы и балета... Пожалуй, наиболее ярким, самобытным и всеобъемлющим явлением белорусского национального профессионального искусства стал БДТ-1 (Беларускі дзяржаўны тэатр, которому в конце 1944 года было присвоено имя Янки Купалы). Открытие БДТ-1 состоялось, как известно, 14 сентября 1920 года в бывшем здании Минского губернского театра, сцена которого, помимо местных лицедеев, когда-то нередко принимала звездных гастролеров из Петербурга и Москвы, а также украинских, еврейских и польских артистов. Между прочим, торжества по случаю открытия были ознаменованы показом трех премьер. Инсценировку повести Элизы Ожешко «Рысь» представила белорусская труппа, пьесу Шолом-Алейхема «Люди» — еврейская труппа (текст звучал на языке идиш), с постановкой чеховской «Свадьбы» выступила русская труппа. В последующие годы складывались предпосылки для организации новых государственных драматических театров БССР. И открывались они в разных городах, и судьба у этих коллективов оказалась очень разной. Созданный в 1926 году БДТ-2 (нынче Национальный академический имени Якуба Коласа) обосновался в Витебске. Русский театр, носящий имя Максима Горького и в наши дни получивший статус национального академического, начал свою творческую биографию в 1932-м на клубной сцене Бобруйска. История Государственного польского театра БССР не продлилась и двух лет: основанный в Белостоке в ноябре 1939-го, он официально открылся в Гродно (март 1940) и работал до начала Великой Отечественной войны. А Государственный еврейский театр БССР уже в мирное время постигла печальная участь.

Театр этот был открыт в Минске в 1926 году и начал работу под художественным руководством режиссера и педагога Михаила Рафальского. Актерскую профессию он получил в родном Киеве, окончив драматическую школу одного из театров. Работал в коллективах Киева и Харькова, гастролеровал в Минске, Витебске. Организовал в Минске любительскую театральную труппу (1921 год), ставшую основой еврейской секции Белорусской драматической студии в Москве, руководил этой секцией. Ее выпускники стали первыми актерами еврейского театра БССР. Позже к ним присоединились коллеги из бывшей странствующей труппы, а также воспитанники студии при театре, работавшей некоторое время под руководством самого Рафальского. Здесь появился и весьма одаренный трид-

цатилетний студиец Борух Янпольский. Это имя прекрасно знают сегодня уже, увы, немногочисленные старожилы Купаловской сцены (почему именно Купаловской — об этом чуть позже), да еще зрители почтенного возраста. Белорусские энциклопедии напоминают о ролях Янпольского — признанного мастера эпизода, создателя характерных и ярких комедийных образов, заслуженного артиста БССР, известного деятеля культуры.

«Отец родился на Украине в Сумской области, в Минск при-

ехал в 1928 году из Харькова, где выступал на эстраде и получил к тому времени определенную известность, — рассказывает Анри Борисович Янпольский. — В юности пережил события Первой империалистической, революционной, гражданской войны. Работал электриком на Харьковской электростанции, участвовал в художественной самодеятельности, оттуда и попал на эстраду. Выступал в одной творческой группе с Клавдией Шульженко, и, как поговаривали знакомые отца, было в их отношениях даже что-то похожее на роман... Очень артистичный от природы, он имел необычайные музыкальные способности, литературный дар, прекрасную память и обучался легко, причем нередко — без посторонней помощи. На эстраде умел буквально всё. А сменить сферу творчества и переехать в другую республику решился потому, что получил приглашение работать в государственном еврейском театре. В Советском Союзе таких театров было только два: в Москве и в столице Беларуси, где труппа, кстати сказать, подобралась хорошая, сильная. Когда отец приехал в Минск, он не говорил ни слова по-еврейски, но уже скоро стал участвовать в спектаклях, а спустя год писал стихи на идиш».

Борух Янпольский вошел в основной актерский состав, как отмечают исследователи, в 1931 году, окончив студию при театре (одним из педагогов был замечательный режиссер Лев Литвинов, прозванный «белорусским Мейерхольдом»). Однако через пять лет его творческая деятельность продолжилась на сцене БДТ-1, главным режиссером и художественным руководителем которого еще в 1932 году стал Литвинов. Что же касается дальнейшей истории Государственного еврейского театра... Его первый художественный руководитель Михаил Рафальский, получивший в 1934 году звание народного артиста БССР, в зловещем 1937-м был репрессирован, и жизнь его оборвалась. В годы Великой Отечественной труппа работала в Новосибирске, бригады артистов периодически выезжали с концертами на фронт, а репертуар и тогдашних, и послевоенных сезонов пополняли, наряду с классикой, спектакли актуального патриотического звучания. Но несмотря на достижения и заслуги, театр, возобновивший деятельность в



*Среди первых минских учеников
(класс Республиканского колледжа при Белорусской
академии музыки).*

Минске осенью 1946-го, подвергся идеологической критике, стал жертвой так называемой кампании по борьбе с формализмом и космополитизмом: в 1949 году он был расформирован.

Почему же отец Анри Борисовича вынужден был покинуть этот театр еще в середине 30-х? Причина банальная и распространенная в творческих коллективах: конфликт с художественным руководителем. А вот жизнь в новой актерской среде сложилась весьма благополучно: театру, увенчанному великим именем Янки Купалы, заслуженный артист БССР Янпольский служил более двадцати лет и покинул сцену в 1958 году, встретив свой «пенсионный» юбилей.

«Став артистом Первого белорусского государственного театра, он без проблем освоил белорусский язык. В театре был прекрасный оркестр, и мой отец, будучи от природы очень музыкальным человеком, этот свой дар не скрывал, развивал, самостоятельно осваивал разные инструменты, играл по слуху, не зная нот. Аккомпанируя на гармошке, мог мгновенно подстроиться под тональность, «удобную» для поющего артиста. Любил превращать в музыкальный инструмент какой-нибудь обычный предмет быта: в его руках даже пила с помощью нитки могла «пропеть» мелодию, а манипулируя простым граненым карандашом и собственными зубами, ему удавалось воспроизвести увертюру из оперы «Кармен»! И такие неожиданные умения служили подспорьем и в закулисных «капустниках», и в концертных выступлениях. Неудивительно, что некоторое время (до войны) он руководил джаз-оркестром политехнического института.

Мама приехала в Минск в 1931 году. Она была замечательной пианисткой, окончила Киевскую консерваторию. Вспоминая юность, рассказывала трогательную историю о том, как в 1910 году ей довелось прямо на улице познакомиться с великим Сергеем Рахманиновым, чтобы попросить билет на его сольный анилаговый концерт. Но единственное, что мог сделать гениальный музыкант для восторженной поклонницы, — выслушать ее и деликатно объяснить, что помочь девочке попасть в зал он не может. Мама работала концертмейстером в Белорусской консерватории — в классах вокала, у музыкантов-инструменталистов, в частности, у духовиков. Среди вокалистов, с которыми она занималась, была, например, ставшая впоследствии знаменитостью (солисткой Большого театра СССР, народной артисткой РСФСР. — С. Б.) Вероника Борисенко, первая жена композитора Владимира Оловникова. Также мама работала пианисткой в БДТ-1. Она во время спектакля находилась за кулисами, и ее игра сопровождала происходившее на сцене.

Родители были постоянно заняты работой, пропадали в театре, ездили на гастроли, поэтому за мной присматривала домработница Эмилия, которую все называли Миля. Жили мы сначала на улице Октябрьской (нынешняя Интернациональная), затем — в Пушкинском поселке. Сам-то я не помню, но знаю: когда по Минску начались ночные аресты, было сложено и отдельно хранилось белье для отца — на «этот» случай, о котором боялись говорить и которого ждали в каждом доме. Но время приносило и творческие радости. Большим памятным событием для отца стало его участие вместе с театром в первой, предвоенной Декаде белорусского искусства в Москве».

Анри Борисович охотно и с восхищением говорит об отце, который, судя по этим рассказам, если бы продолжал работать на эстраде, то наверняка стал бы популярным артистом так называемого оригинального жанра, а если бы получил специальное образование, то прославился бы и на музыкальном поприще.

«Это был в полном смысле слова артист. В его репертуар входил даже номер факира! Знаю, что сам Сергей Образцов в годы войны приглашал его работать в свой знаменитый театр кукол. Но отец оставался патриотом белорусской сцены, своего коллектива. Со многими из выдающихся купаловцев его связывала крепкая дружба. Глеб Глебов, Вера Поло, Владимир Дедюшко, Владимир Владимирский (Малейко), Лидия Ржецкая, Леонид Рахленко, Иван Шатило, Эдуард

Шапко, Борис Кудрявцев — далеко не полный круг общения отца, а значит, и нашей семьи. Самым дорогим другом остался в его памяти Владимир Крылович (жизнь этого великого артиста оборвалась в 1937 году. — С. Б.). Они вместе выступали, очень любили музицировать дуэтом. Любил отец помузицировать с еще одним своим знаменитым другом — Здиславом Стоммой... Повзрослев, я посмотрел много хороших спектаклей, познакомился с актерами разных поколений — от легендарной Стефании Станюты до своих сверстников. А уцелевший старинный фонтан в Александровском парке у театра напоминает о том, как я приходил сюда и ждал отца...

Летом 1941 года родители впервые решили взять меня с собой на гастроли. Почему? Театр ехал выступить в Одессу, и это была возможность оздоровить ребенка на море, порадовать новыми впечатлениями...»

Но история распорядилась иначе. Прервав гастроли, театр под бомбежками спасался от войны. В цепкой детской памяти оставались эпизоды, которые Анри Борисович помнит до сих пор.

«Не менее недели, под страхом падавших бомб, мы добирались до Москвы. Оттуда театр был эвакуирован в Новосибирск. Но поскольку там все места, где коллектив мог бы обосноваться и возобновить работу, были уже заняты, пришлось переехать в Томск, а томский театр переместился в Кемерово. Стояла, по нашим представлениям, ранняя осень, но там уже в сентябре выпал снег. Вскоре похолодало совсем по-зимнему, а потом ударили пресловутые сибирские морозы. Разумеется, теплых вещей ни у кого из артистов не оказалось.. Но известный советский партийно-хозяйственный деятель Михаил Васильевич Кулагин (в предвоенные годы он работал на руководящих должностях в БССР, в 41-м был направлен в Сибирь. — С. Б.) распорядился позаботиться о белорусских переселенцах. Помню, сколько было радости, когда отцу выдали ватные штаны! Помимо спектаклей, которые в условиях эвакуации ставились на русском языке, были концертные программы. Как человек партийный, отец был назначен политруком бригады артистов, которая на протяжении нескольких месяцев выступала с концертами перед бойцами одного из фронтов».

Как известно из истории Купаловского театра, долгожданное возвращение его артистов домой в 1944 году было омрачено трагедией на железной дороге.

«Разбирая документы и личные вещи отца, я нашел хранившийся в его бумажнике билет на тот поезд. Страшная авария произошла под Омском. От непонятого взрыва (говорили, что это диверсия) пострадало три вагона, в которых ехали белорусские артисты, и еще один — с барнаульскими летчиками. Помню, отец, в спешке насунав калоши на босу ногу, буквально кинулся наружу — узнавать, что же случилось. Помню, как выносили молодых, крепких, но уже не живых людей. Погибло девять наших попутчиков (их потом похоронили в сибирской земле). Те вагоны отцепили от основного состава, и поезд ушел по маршруту. Мы остались ждать обещанную помощь. Никто не предполагал, что поезд-спасатель придет только через сутки. Ожидание затянулось. Чтобы согреться, люди выламывали доски из деревянных стенок вагонов, разводили костры, скучивались у огня».

Казалось, самое страшное уже произошло. Но пугала холодная ночь под открытым небом. Пугало появление мародеров, рыскавших по брошенным вагонам. Ужасала сама мысль об этой непредсказуемой, внезапной жертве: кто-то враз лишился родных и любимых, друзей и добрых давних приятелей... Так или иначе, война разлучала, разбивала, калечила, забирала в небытие многие семьи. Янпольским просто повезло: с первого дня войны и до ее заката они не расставались, все трое уцелели, вместе пережив траурное событие, заслонившее радостное предвкушение встречи с дорогим сердцу Минском.

«О тех утратах не забыть никогда. В числе погибших была актриса Рита Шашалевич, первая жена скульптора Заира Азгура. Ее сестра Таня, которая была женой прославленного артиста-купаловца Владимира Дедюшко, дождалась

почти до наших дней. Вот ведь как непредсказуема судьба! Ближайший друг отца Глеб Павлович Глебов, у которого тогда были старшая дочь (моя ровесница) и совсем еще крошечная малютка, на гастроли в Одессу поехал один. А когда мы направлялись в тыл и поезд задержался на стоянке в Брянске, кто-то вышел из вагона размяться и вдруг окликнул Глебова: «Глеб, глянь-ка, не твои ли?» И правда, там оказалась его семья, бежавшая от войны из Беларуси. Младшего ребенка жена несла, запеленатого в «кульке». Тот случай помог семье воссоединиться. Но другой случай отнял у Глебова старшую дочь: она погибла... Младшая, Ольга, впоследствии стала пианисткой, вышла замуж за известного артиста-купаловца Валентина Белохвостика, и одна из их дочерей, Зоя, успешно продолжила актерскую династию.

Возвратившись в Минск, артисты не узнали свой город. Со стороны вокзала он буквально просматривался насквозь. Но среди, казалось бы, сплошных руин сохранились как известные исторические здания, так и немногочисленные постройки, пригодные для жилья. Нас поселили в каменной четырехэтажке — так называемом доме для творческих деятелей. В нем жили актеры, в том числе купаловцы Глебов, Шапко, драматург Виталий Вольский, театральный критик Михась Модель, другие литераторы, художники, соседом был композитор Дмитрий Лукас...»

Артисты, музыканты, педагоги возвращались в Минск, художественная жизнь быстро налаживалась. Она увлекала и «дитя театра» Анри Янпольского, от самого рождения приобщенного к творческому миру. Но ему предстояла серьезная подготовка к будущей профессии.

А Сибирь незабываема...

Итак, в числе представителей искусства, возвратившихся в Минск осенью 44-го и получивших жилье в уцелевшем доме по Логойскому тракту, оказалась и их семья. (Вспоминая детали из прошлого, Анри Борисович как бы между прочим и с улыбкой замечает, что в ту пору его родители официально не были супругами, зарегистрировали свой брак лишь спустя много лет, когда он уже сам был женатым человеком, и мама при оформлении брачного союза взяла двойную фамилию: Пекелис-Янпольская.) Многих музыкантов временно поселили в старинном губернаторском доме на площади Свободы, где теперь находится Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки. Эта площадь по сей день остается музыкальным центром столицы, хотя на месте старого здания музучилища построена гостиница «Европа», на улице Революционную перекочевал Союз композиторов, давно уж нет располагавшихся неподалеку магазина «Ноты» и маленькой нотной библиотеки, зато в соседнем историческом квартале разместилась детская музыкальная школа №10, носящая имя нашего классика Евгения Глебова. А тогда почти весь цвет белорусской музыки был собран в одних стенах.

«В бывшем губернаторском доме жили многие музыканты-педагоги, композиторы. Там же, рядом с их комнатами, располагались учебные классы. Здесь было, можно сказать, всё: консерватория, Союз композиторов, училище, две музыкальные школы — 1-я, которой вскоре было присвоено имя Ларисы Александровской, и Средняя специальная одиннадцатилетка при консерватории, нынешний колледж при БГАМ. Вот в этот дом привели учиться и меня.

Начальную школу я посещал уже в Томске. А мама стремилась приобщить меня и к музыке, очень хотела, чтобы я стал скрипачом, поэтому тогда же я получил первые частные уроки игры на скрипке. Но встретить в Томске педагога высокой квалификации не посчастливилось, это были занятия на любительском уровне. А вот в Минске началась настоящая, серьезная, именно профессиональная учеба. Я поступил в замечательную школу, где моим педагогом по специаль-

ности стал заслуженный артист БССР, профессор Амитон (к слову, Александр Наумович Амитон преподавал также в консерватории, в свое время у него учились именитые белорусские скрипачи, народный артист БССР Лев Горелик и заслуженный артист Семен Основич. — С. Б.). Среди моих одноклассников — известная нынче лектор-музыковед Инна Зубрич: с ней мы до сих пор дружим. Стараемся — спасибо современным средствам связи! — поддерживать общение с Тamarой Ремнёвой (она же впоследствии Тамара Миансарова, прославившаяся на весь Советский Союз эстрадная певица), с Эдиком Миансаровым (ее первый муж, пианист, тоже воспитанник нашей школы, ставший лауреатом Первого международного конкурса имени Чайковского)... Все мы получили здесь очень хорошее профессиональное образование».

Закончив школу, Анри Янпольский по настоянию матери поехал поступать в Московскую консерваторию. Поступил. В годы студенчества получил не только фундаментальное образование, но и неоценимую практику выступлений в концертных залах Москвы и Минска, и богатейшие возможности расширять круг общения, насыщать свой внутренний мир впечатлениями многообразной художественной жизни. Окружавшие его музыканты, признанные мастера XX века, были тогда молодыми людьми: однокурсница, ныне прославленная виолончелистка Наталья Шаховская, живший по соседству Владимир Минин, с которым даже довелось играть дуэтом танцевальные пьесы Белы Бартока: выдающийся хормейстер, несомненно, помнит, как он... аккомпанировал Янпольскому на фортепиано! Да и незабвенный Леонид Коган, легендарный профессор, народный артист СССР, отмеченный Ленинской премией, лауреат 1-й премии Международного конкурса имени королевы Елизаветы в Бельгии, у которого учился Анри Янпольский, был немногим старше своего студента и только начинал педагогическую деятельность: преподавать в консерваторию он пришел в 1952 году.

«Уже в 1960-м после одного из концертов кто-то сфотографировал нас с Коганом. На фото моему учителю 36 лет, мне — 25. О существовании такого снимка я узнал много лет спустя: его подарила мне известная скрипачка Елизавета Гилельс, сестра выдающегося пианиста Эмиля Гилельса и жена Леонида Когана, когда Леонида Борисовича не стало. Талант моего всемирно знаменитого учителя был уникален и непостижим. По какому-то мистическому совпадению Коган, как и Никколо Паганини, умер в возрасте 58 лет. (Кстати, позволю себе, поверив календарям, обратить внимание и на такое совпадение. 14 ноября 1719 года родился Леопольд Моцарт /отец гениального Вольфганга Амадея Моцарта/: композитор, капельмейстер, музыкант-педагог, но прежде всего получивший известность как скрипач. Так вот, в один день с ним и ровно через 205 лет родился Леонид Коган. — С. Б.) К сожалению, обстоятельства сложились так, что я просто не смог проводить своего учителя в последний путь. И посетить его могилу на Новодевичьем кладбище в Москве удалось не без



Из новосибирских афиш.

сложностей: там покоится мать Брежнева, и генсек туда нередко захаживал. Поэтому мне, чтобы пройти на «режимную» тогда территорию, пришлось выписывать специальный пропуск...»

Но это случилось три десятка лет спустя после окончания Московской государственной консерватории. А что же происходило раньше? Янпольский с отличием закончил альма-матер и без проблем прошел болезненную для многих процедуру распределения. У него была редкая возможность выбора, и место своей будущей работы успешный выпускник выбрал без колебаний: Новосибирск! Добровольцем — в Сибирь?! В этом не было ничего странного. Новосибирск очень далекий город, если расстояние до него измерять в километрах, но близкий — если в эмоциях. Ведь почти рядом — Томск, где Анри Янпольский прожил с любящими родителями три долгих военных года, где вырос, получал суровые уроки реальности, приобщался к многогранному искусству театра и тянулся к музыке. Столица Сибири стала особенно близка молодому скрипачу через воспоминания... о минском детстве, которое переполняла музыка. Ведь туда из Беларуси приехал работать его первый профессор — Александр Амитон, возглавивший в Новосибирской консерватории кафедру струнных инструментов. Он-то и пригласил своего талантливую ученика на перспективную и творческую работу.

В Новосибирске Анри Борисович трудился 14 лет. Начинал как педагог-ассистент, затем стал доцентом консерватории. С удовольствием сочетал преподавательскую и концертную деятельность (в том числе гастрольные поездки), исполняя сольные программы, а также выступая в составе камерных инструментальных коллективов. Знатоки отмечали в его исполнительском искусстве высокий вкус, артистизм и техническую безукоризненность, эмоциональность и глубину чувств. Хранимые в домашнем архиве афиши 1960—70-х годов напоминают о насыщенной концертной жизни нашего героя. На музыкальных вечерах в зале Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, да и перед самой разной аудиторией, он выступал с произведениями Баха, Моцарта, Вайнберга, Салманова, играл музыку Бетховена, Брамса, Прокофьева, Шостаковича, Эшпая, новые сочинения новосибирских композиторов. Соль-минорная Соната № 1, Партита № 1 си минор для скрипки соло — этими сложнейшими изысканными пьесами открывал он программы цикла концертов из произведений Иоганна Себастьяна Баха. Кстати, участвовали в таких программах и профессор Александр Амитон, и аспиранты кафедры. Еще одна афиша — еще один штрих творческой биографии: Анри Янпольский солировал в сопровождении симфонического оркестра Новосибирской филармонии под управлением Арнольда Каца (впоследствии народный артист СССР, профессор) в концерте «Творчество композиторов Сибири и Дальнего Востока».

«В ту пору Новосибирск входил в тройку ведущих городов Советского Союза по уровню музыкальной культуры — наряду с Москвой и Ленинградом. Это был своего рода интеллектуальный и художественный центр в азиатской части Российской Федерации, город во многих отношениях очень интересный. Там сформировалась замечательная научная и творческая среда — поистине столичного уровня. С гастрольями приезжали скрипачи Давид Ойстрах, Леонид Коган, пианист Святослав Рихтер. Оркестр Новосибирской филармонии, который высоко котирировался не только в СССР, но и за границей, выезжал с концертами в Москву — представлял симфоническое творчество сибирских композиторов. Тогда мы пообщались с Дмитрием Шостаковичем, который присутствовал на концерте как руководитель Союза композиторов РСФСР. В те годы нам довелось играть и его музыку. Поражало не просто уважительное, а доброжелательное, очень теплое отношение Дмитрия Дмитриевича к исполнителям. За исполнение своей «опальной» 13-й симфонии он благодарил не оркестр в целом, а каждого музыканта, каждому персонально пожимал руку! Мне приятно вспоминать и

творческую атмосферу в консерватории, на нашей кафедре. У меня был сильный класс, и мы выступали с концертами в Новосибирске, нас прекрасно принимали в Академгородке, в зале Дома ученых, немало ездили по городам Сибири».

Перебирая памятные фотографии, профессор вглядывается в молодые лица своих новосибирских выпускников: наверное, странно представлять собственных учеников пенсионерами, а ведь кому-то из них уже 75 исполнилось, а кому-то и 78. Владимир Аксаментов — заслуженный работник культуры России, Владимир Шананин — заслуженный артист Тувинской АССР, Борис Малей — артист оркестра Петербургского Михайловского театра... Множество имен, ставших дорогими.

Огромное расстояние между Сибирью и столицей Беларуси не мешало поддерживать связь с Минском. В отпускную пору Анри Борисович непременно навещал родителей, постоянно интересовался тем, что происходило в культурной жизни города его детства. Но однажды Янпольский прервал карьеру в Новосибирске и возвратился на родину.

Равняется четырем оркестрам

Причина, по которой Анри Янпольский уехал из Новосибирска, не нуждается в комментариях: чувство долга перед самыми близкими людьми. Родители достигли почтенного возраста, болели, и единственный сын в 1974 году вернулся домой, чтобы о них позаботиться.

«Пока были моложе и позволяло здоровье, они не спешили отдыхать, хотя со временем пришлось выбирать работу по силам. Мама, например, после нелепого случая не смогла выступить в качестве исполнительницы, концертмейстера, по-прежнему работать в театре пианисткой. Споткнувшись на крутой лестнице в старом здании музыкального училища, она серьезно повредила руку. Оказался сложный перелом кисти, лечили неудачно, кости срослись неправильно, и пришлось переключиться на педагогику. Учителем она была замечательным, работала в ДМШ № 2, расположенной в районе автозавода: это одна из лучших музыкальных школ в Минске, со своими творческими традициями. Храню уникальное фото, на котором среди учеников ДМШ № 2 — ее знаменитый директор Воротников, учительница фортепиано — моя мама, и выдающийся гость — дирижер Дубровский».

Отец, продолжая работать в Купаловском театре, завоевал популярность у зрителя, имел авторитет у деятелей культуры. Он блестяще исполнял роли в таких постановках, как «Скупой» Мольера, «В стенах Украины» Корнейчука, «За тех, кто в море» Лавренева. В спектакле «Константин Заслонов» по пьесе Мовзона Эдуард Петрович Шапко и мой отец играли двоих немцев, и диалог этих острохарактерных или даже пародийных персонажей всегда проходил у публики «на ура». Были у него и эпизодические роли в кино: «Красные листья» (эпизод с врачом), «Новый дом» (чтобы на несколько минут перевоплотиться в каменщика, отцу пришлось в течение дня учиться у профессионального строителя, как надо работать с инструментом, брать раствор, укладывать кирпич).

Он был организатором и сценаристом театральных капустников, писал коллегам, друзьям и знакомым шуточные поздравительные тексты на праздники, дни рождения, к свадьбам и прочим семейным торжествам. У него была давняя практика в стихосложении, в свое время отец участвовал и в изготовлении сатирических плакатов и так называемых «Окон ТАСС», сочинял для них злободневные тексты... Но я почему-то хорошо запомнил дружеские эпиграммы отца, которые были напечатаны в «ЛіМе» (газета «Літаратура і мастацтва»). — С. Б.). Например, ведущему оперному тенору, народному артисту БССР Исидору Болотину посвящались такие строки:

Раней наш І-сі-до-рэ
 Браў верхнія сі, до, рэ.
 А цяпер ледзь цягне сі,
 А вышэй — і не прасі.

А вот эту эпиграмму отец адресовал Глебу Глебову, бесподобно сыгравшему роль Туляги в комедии Кондрата Крапивы «Хто смяецца апошнім»:

Бясспрэчна, ён — артыст-мастак,
 За што яму пашана і павага.
 Але тэатрам ён кіруе так,
 Як кіраваў, напрыклад бы, Туляга.

(В 1943—47 годах Глебов был художественным руководителем Купаловского театра. — С. Б.)

Между прочим, не раз доводилось слышать, что когда отец приезжал в санаторий, отдыхавшие там женщины на него обижались. Думаете, почему? Он так рассказывал анекдоты, что по вечерам все мужчины собирались вокруг него и не ходили на танцы...

Исполнилось 60 — и отец ушел из театра. Некоторое время он еще поработал в Белорусской филармонии режиссером концертных программ, в которых участвовали чтецы. А еще вел театральный кружок в Политехническом институте. В последние годы начал рисовать. Рисовал лошадей, портреты внуков...

Он был убежденный патриот и, уходя, завещал беречь родину, ценить и любить все хорошее, что дала нам она для достойной жизни.

Возвратившись в Минск, Анри Янпольский некоторое время преподавал в родной школе при Белорусской консерватории, затем стал работать в консерватории, оставаясь концертирующим скрипачом. Выступал, в частности, в тематических программах, которые вела Инна Зубрич.

«В середине 1970-х был велик интерес и к скрипке, и к музыкальной классике. Сегодня это кажется невероятным, но тогда в зале было немало знающих поклонников искусства, и во время концерта от них поступали записки с просьбами исполнить какое-либо из любимых произведений. Но с течением времени пришлось наблюдать, как меняются в обществе культурные приоритеты. К сожалению, просто уходят из жизни те поколения, которые были приобщены к великому искусству, те, кто знает и любит классическую музыку. Теперь и от симфонического жанра требуют шоу, и даже Спиваков со своим оркестром сделал зрелище — программу, посвященную Чарли Чаплину. Сложно рассуждать о каких-то всеобщих тенденциях, но, наблюдая за своими детьми и внуками, я понимаю, что стать и остаться профессиональным музыкантом в современном мире все труднее. Неужели музыка становится ненужной? Старшая внучка, ей 29, получила образование как пианистка, но при этом она знает языки, закончила Академию внешней торговли, а теперь выступает как диджей, ездит по всему миру, сама себя вполне обеспечивает. Младший сын, ему 47 лет, работает в области фольклора и эстрады. Он долго жил в Индии, жил в Вене, в Норвегии. Теперь в Израиле. Много пишет, дает музыкальные интернет-уроки, но хочет выучиться на гида. Его двое детей серьезно занимаются на кларнете и флейте....И пока интерес к музыке существует, педагоги должны его поддерживать и работать — ради высоких профессиональных и художественных результатов».

За время педагогической деятельности он подготовил более ста скрипачей, среди которых — восемь заслуженных артистов и немало обладателей конкурсных лавров. Так что недаром говорят о создании профессором Янпольским своей исполнительской школы. А любители статистики приравнивают количество его выпускников к трем-четырем оркестрам: действительно, из числа музыкантов, воспитанных Анри Борисовичем, можно было бы укомплектовать несколько

солидных творческих коллективов. Можно, да не получится, потому что ученики его работают и в разных музыкальных учреждениях, и в разных странах. Лауреат международного конкурса Наталья Валетова, она же Валевска, — в польском Гданьске; у Юрия Германа контракт в Китае; Александр Яконюк — в Германии... А вот заслуженные артисты Беларуси — наши первые скрипки, солистки Регина Саркисова и Юлия Стефанович, бас-гитарист Национального академического концертного оркестра Беларуси Александр Калиновский (что ж, освоил второй инструмент), — в Минске. В оркестр Национального академического Большого театра недавно приняли, с присвоением высшей категории, яркую молодую скрипачку — выпускницу класса Анри Ямпольского Аниту Малюгину. С начала 1990-х у него стажировались исполнители из Аргентины, Италии, Польши, учились китайские студенты. Мастер-классы профессора проводились в Кузбассе и Новосибирске...

На протяжении 15 лет маэстро заведовал в Белорусской академии музыки кафедрой скрипки. В ту пору здесь преподавали ведущие белорусские педагоги, уважаемые музыканты.

«Мощная кафедра была. У нас работали Лев Горелик, Валерий Сороко, Михаил Штейн, Николай Братенников, Виталий Черныш, Вячеслав Зеленин... Приезжали знаменитые московские коллеги Ирина Бочкова, Эдуард Грач, их концертные выступления, профессиональное общение с ними были стимулом для дальнейшей работы.

В процессе подготовки студентов мы уделяли особое внимание белорусской музыке. Уважение к пьесам белорусских композиторов разных поколений проявлялось в выборе репертуара. Наши скрипачи стали активнее играть Анатолия Богатырева, Петра Подковырова, Генриха Вагнера, Дмитрия Каминского, Владимира Солтана. Для нас писали новые сочинения Виктор Войтик, Галина Горелова, Валентина Серых. Появилась еще и стародавняя белорусская музыка, которую находили в архивах исследователи нашего исторического наследия».

Ямпольский занимался выпуском нотных сборников, редактировал и осуществлял транскрипции (в том числе и для ансамбля скрипачей) пьес белорусских композиторов, по его инициативе были изданы избранные сочинения белорусских композиторов для скрипки. Он ввел в практику обязательное исполнение белорусских произведений на экзаменах. А также по предложению от Министерства культуры Беларуси, учредившего Международный конкурс исполнителей на струнных смычковых инструментах имени Михаила Ельского, занимался разработкой конкурсной программы — три тура — для скрипачей. (Очень важно, что соревнование молодых музыкантов, соучредителями которого стали специальный фонд Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, Белгосфилармония и Академия музыки, носит имя замечательного деятеля отечественной культуры XIX века. Видный скрипач, Михаил Ельский был также известен как фольклорист, композитор, музыкальный публицист и просветитель. Получив музыкальное образование в Минске и Вильно, он совершенствовал свое исполнительское искусство, занимаясь у известнейших мастеров: Анри Вьётана в Париже и Кароля Липиньского в Дрездене. Был вхож в Варшавское музыкальное общество. Ельский выступал с концертами по городам Германии, Польши, а также в Минске, Вильно. Устраивал музыкальные вечера в родовом имении Дудичи, там же в 1902 году торжественной программой отметил 50-летие своей концертной деятельности. В репертуаре отдавал предпочтение опусам своих современников Вьётана, Липиньского и Людвиг Шпора. Одна из первых в нашей периодике публикаций о Михаиле Ельском, чья личность, деятельность, творчество до сих пор все-таки не вполне известны даже историкам белорусской культуры, появилась в 1946 году в журнале «Беларусь»).

«Первый конкурс имени Ельского благополучно прошел в 2003 году. Провели и второй. А третий получился неудачным из-за того, что государственный симфонический оркестр, в сопровождении которого играют финалисты,

не был подготовлен, звучал фальшиво. Стыдно было за оркестр! Ведь с ним надо работать постоянно, добиваться культуры звука. Так работал незабываемый Дубровский. «Лишний билет» на его концерты спрашивали за несколько кварталов от филармонии. Какой был дирижер! Не хуже прославленного Светланова... Но это лишь воспоминания, на которые наводит сегодняшняя «оркестровая ситуация».

Десять лет назад, когда мне исполнилось 70, я задумался над словами Кутузова: «Умен тот полководец, который умеет вовремя отступить», — и попросил, чтобы меня освободили от должности заведующего кафедрой. Все-таки это очень хлопотно — отвечать за 15 концертмейстеров, десятки студентов и аспирантов, за огромное количество фальшивых нот на экзаменах. Да и много всякой «бумажной» работы. А сейчас я готов пойти на эксперимент: взять посредственного ученика и выпустить хорошего музыканта. Почему бы не попробовать? Нельзя делать наоборот: брать сильного, а выпускать посредственного. На протяжении уже нескольких лет есть проблемы с приемом абитуриентов, возникает опасение, что педагоги могут потерять нагрузку, а если еще закроют музыкальные колледжи в некоторых регионах (идет речь о том, чтобы в тех областях, где их два, оставить по одному), многие лишатся работы. Так не лучше ли просто сократить набор и, следовательно, выпуск? Отказаться от совместительства. Будет меньше студентов, но тогда педагог сможет уделить им больше внимания и качество подготовки будет лучше. А иначе что потом делать с такими скрипачами, которые, дойдя до выпускного курса, играют фальшиво? И распределить на работу их почти невозможно: в творческих коллективах жесткая конкуренция, принимают на конкурсной основе. Надо подумать о качестве!»

Анри Борисович, вздохнув, произносит: «Время неумолимо идет вперед...» И вдруг вспоминает излюбленный афоризм своего коллеги, профессора Владимира Будкевича — замечательного фаготиста и неунывающего остролиста: «Опыт — это фонарь, который светит сзади». Что ж, можно принять эту фразу с горькой иронией. А можно — с оптимизмом. Фонарь светит, и его луч помогает чувствовать себя увереннее тем, кто идет следом.

Светлана БЕРЕСТЕНЬ

Фото автора и из архива Анри Ямпольского.



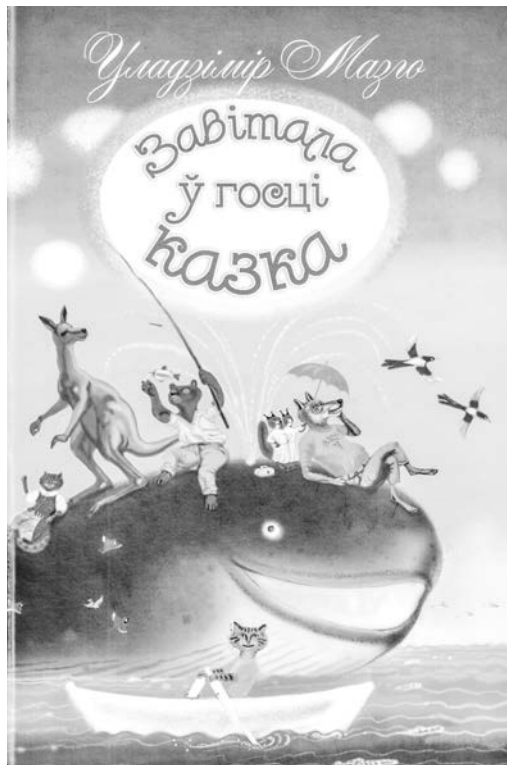
С точки зрения рецензента

Энергетика сказки

...Однажды придет в гости Сказочник. Весьма солидный дядечка, в костюме и при галстукe, похожий больше на преподавателя философии, чем на Сказочника. Вокруг него соберется отнюдь не студенческая аудитория — косуля, котик, птички-попугайчики, будет и кузнечик, и человеческое дитя. Так представляется художнику Владимиру Сытченко, иллюстрировавшему книгу Владимира Мозго «Завітала ў госці казка» (Минск, «Мастацкая літаратура», 2014). Вместо лекции про Канта и его категорический императив дядечка при галстукe и с мягкой улыбкой будет, судя по всему, читать всей честной компании сказки, возможно, даже и из этой книги.

Одному юному мыслителю, посещавшему философский кружок, где коллективно штудировали труды Гегеля, Шопенгауэра и Ницше, я посоветовал почитать и белорусские сказки. Философ обиделся, очевидно, услышав в моем совете намек на его нежный, далекий от старческой мудрости, возраст. Зря. Я советовал вполне серьезно. Напрасно говорят: «Я вышел из возраста, когда читают сказки». Возраст, когда читают сказки, начинается нулевым годом, а завершается в бесконечности. Ханс Кристиан Андерсен ужасно обижался, когда его величали детским (и только) писателем. В сказке заархивирована мифология человечества и его мудрость. Разархивируйте содержание памятной с младенчества сказки про Курочку Рябу, и перед вами предстанет несказанно древний миф о сотворении мира («Мир из яйца»). Перечитайте известную сказку Якуба Коласа «Рак-Усач», и взрослому читателю на примере персонажа с клешнями откроется клиническая картина глубочайшей депрессии — повальной болезни человечества в XXI столетии.

Анималистические сказки, самые древние в эпосе, возвращают нас в те космически далекие, седые времена, когда человек находился в более близких, можно сказать, фамильярных отношениях с живой природой. Человек учился у природы, природа у человека. Перечитайте белорусские сказки о животных. Старик мирно уживается с козами на небе, в домике, созданном из сыра и масла («Старик и козы»). Волк собирает человеческие жертвы, умягчая сердца



своим благозвучным пением («Песни волка»). Птицы женят воробья с сорокой и устраивают грандиозное пиршество в стиле князей Радзивиллов («Птичий бал»). Муха-хохотуха запрягает в тарантас шестерку комаров и отправляется в вояж по белу свету («Муха-хохотуха»). Звери, птицы, пресмыкающиеся, рыбы, насекомые, люди разговаривают на общепонятном языке. Так происходит в белорусских народных сказках и в сказках всего остального мира.

Эта общность восстанавливается в литературной сказке, классический пример чему — сказка в стихах Максима Богдановича «Мушка-зелянушка і кама-рык — насаты тварык».

Иногда критика расценивает появление в современной сказке котиков, собачек, лисичек, зайцев, волков, медведей как явление архаическое и старомодное. Она требует появления в сказках реалий XXI века — компьютеров, электронных персонажей, космических монстров и прочих. Но милые братья и сестры наши меньше покидают детскую литературу пока что не собираются, и это, наверное, к лучшему. По той самой причине жители XXI века, даже обитатели мегаполиса, держат при себе зверюшку — не только собачку или котика, но и хомяка, золотую рыбку, жабку, тритончика, а иногда и целого крокодила. Очевидно, понимают: этим можно доверять. Они не сдадут и не подведут.

Насыщено анималистикой и сказочное пространство, созданное Владимиром Мозго. Неумная фантазия автора толкает персонажей, переселившихся в книгу из белорусского фольклора, на новые, нетривиальные поступки.

Сказка «Пеўнік-спеўнік» напоминает сюжет «Похищения из сераля», только украден сам хозяин гарема его неверным сторожем, псом Пустобрехом и перепродан Волку. Незадачливого хозяина гарема спасают из неволи его верные подружки:

— Куд-кудах!
Мы спаць не можам,
Покуль сябру
Не паможам.
Пеўня
Выручым з бяды —
Будзем з сонейкам
Тады!..
Дружна,
Быццам талака,
Наляцелі на ваўка:
— Аддай, воўча,
Певунка!..

Подобный гендерный переворот наблюдался и в сказке «Как курочка петушка спасала», сюжет которой, наверное, проистекает из недр матриархата.

Герои сказок В. Мозго, живущие в XXI веке, перестали быть домоседами, им тесно в клетке сказочного топоса.

Медвежья семья не оправдывает репутации автохтонов-домоседов, не засиживается в своей берлоге, а отправляется на рыбалку:

Жыў ля сажалкі
Міхалка,
Захапляўся ён
Рыбалкай.

А Міхалка гэты,
Дзеці,
Быў маленчкі
Мядзведзік.

У Міхалкі
Тата з мамай
Рыбакі былі
Таксама.

А вот попугай получает приглашение от Белого Аиста, навестившего Африку:

— Ляці да нас,
Сусед,
Бо самы белы свет
У нашай Беларусі! —
Паклікаў белы бусел. —
Убачыш,
Папугай,
Бярозаў белы гай
Бялее белагора
І белацвету
Мора.

Попугай с благодарностью принимает приглашение и посещает Землю под белыми крыльями, правда, пока что во сне.

Кот Василь бросает охоту на мышей и становится за штурвал корабля («Прыгоды марахода»).

Плыў па моры
Кот Васіль,
Плыў бясконца
Сотні міль.
І нідзе
Не сеў на мель
У тумане
Карабель.
Бо здавён
Быў гэты кот —
Лепшы ў свеце
Мараход.

После традиционного сказочного сражения с пиратами кот посещает Антарктиду, Индийский океан, Новую Гвинею, таинственные Бермуды, Мальту.

Автор не собирается задерживать читателя в мире домашних котиков и собачек, он показывает вездесущность сказки в глобализованном мире. Довольно неожиданно сказочное действие переносится в мир первобытной Австралии, где родились этиологические мифы, повествующие о происхождении Земли, воды, Луны, звезд, животных, бумеранга, сумки кенгуру... Австралийская мифология, кстати, когда-то живо интересовала Валерия Брюсова, написавшего стихотворение об охотнике на кенгуру. В. Мозго пересказывает австралийские мифы по-белорусски. И припоминаются белорусские легенды о сотворении мира, болот, озер и рек, аиста, во многом созвучные австралийским. В мировой мифологии существует поразительное разнообразие легенд, сказок, сюжетов, хотя все они восходят к универсальному мотиву сотворения Вселенной. Мы все из одной колыбели, хотя и такие разные, — говорит читателю раздел «Млечный Путь».

Великие сказочники, в том числе и Ханс Кристиан Андерсен, находили свои сюжеты в фольклоре и пересказывали их. В. Мозго попытался пересказать Андерсена. Белорусские версии «Свинопаса» и «Гадкого утенка» лишней раз

убеждают, что сказка актуальна для всех возрастов. Тысячи раз прочитанные, перечитанные, инсценированные истории привели меня к простым вопросам. Не слишком ли сурово наказана переборчивая в выборе женихов дочь императора? Сколько более серьезных ошибок совершается в молодости! Драма наказанной принцессы глубже, чем обида отвергнутого жениха.

Ах, мой мілы Аўгусцін,
Усё прайшло, прайшло, прайшло!

Внезапный триумф Гадкого утенка вызывает сомнение в тот момент, когда взрослые и дети в один голос твердят: «Новы лебедзь лепшы за ўсіх! Такі прыгожы і малады!» И даже почтенные пожилые лебеди склоняют перед победителем головы...

В. Мозго разговаривает с читателем и слушателем стихами и прозой, но в любом случае перед нами поэт. Именно поэтому мне больше импонируют его сказки в стихах. Припоминаю коллективный сборник «Вёсны» (Минск, издательство БГУ, 1977), в котором поэт дебютировал вместе с Александром Усеней, Аллой Конопелько, Алесем Письменковым, Владимиром Маруком, Леонидом Прончаком, Миколой Метлицким, Виктором Стрижаком, Костусем Жуком и многими другими поэтами-студентами БГУ, которых привел в литературу профессор Олег Лойко. Еще тогда я обратил внимание на ритмику, строфику, графический рисунок стиха и необыкновенную мускулиность, динамику поэтического слога как особенность творческой манеры Владимира Мозго.

Прошли годы. Казалось бы, поэтической весне время смениться осенью, золотой, элегической. Но слог В. Мозго остается прежним. Уже первые строки книги дают бодрый заряд энергии и оптимизма:

Жыў на свеце пеўнік,
Як хадзячы спеўнік.
Са сваім курыным хорам
Ён спяваў —
Не ведаў гора.
Ранкам
Сонейка будзіў,
За сабой
Курэй вадзіў.

Этот заряд сохраняется и в остальных сказках, чему свидетельством следующие строки, написанные в синкопических ритмах:

Клічуць пчолы
Коніка
У зялёных
Штоніках:

— Паляцім
На агарод
Выбіраць
Салодкі мёд.

В. Мозго не из тех писателей, которые, обращаясь к детям, меняют полюса на шкале «Что такое хорошо и что такое плохо», стремясь к эффекту неожиданности и парадоксальности. Его не привлекают кафкианство, мистика, гротеск, распространенные в современной литературе для детей. Он не создает «страшилки»

и «вредные советы». Не воспитывает «от обратного», вообще не воспитывает. В. Мозго — традиционалист, неизменный представитель поколения «Вёснаў», его манера разговора с детьми так же естественна и доверительна, как и лирическое обращение к читателю во «взрослых» стихах. Он не расстается с ритмом, метром и рифмой, как упорно не расстанутся с ней традиционалисты детской поэзии во всем мире, хотя «взрослая» уже сто лет как перешла на верлибр. Что-то в этом есть, какие-то молчаливо принятые взрослыми и детьми правила всеобщей литературной игры.

Как-то я попробовал написать теорию рифмы, но вместо нее сочинил следующий петроглиф:

Рифма — это брачный союз слов, рожденных друг для друга, а поэт, который пишет стихи с рифмами, выступает в роли свата или сводника. Верлибр — платоническая любовь в мире слов.

Рифма как союз слов наделена креативом. Созвучие двух слов далеко не случайно. Оно способно породить сюжет. В книге В. Мозго я нашел подтверждение этому.

У майстэрні Сіваграк
Папрасіў пашыць пінжак.

«Сіваграк — пінжак». (*Сіваграк* по-русски *сизоворонка*.) Из рифмы рождается история о том, как Сивограк заказывает пиджак портному Жуку, и что из этого получается («Дзівак Сіваграк»).

Ля мястэчка
Івянец
Жыў-быў колісь
Адзінец.

Адзінец — одинокий зубр, отбившийся от собратьев. С неслучайной рифмы начинаются его приключения вдали от родной Беловежской пуши («Адзінец»).

Рифмы и ритмы В. Мозго говорят о том, что в душе представительного Сказочника, изображенного художником В. Сытченко, таятся задор, энергия, озорство. Вот-вот он сбросит свой пиджак столичный, развяжет галстук и вместе со своей компанией помчится на стадион, на рыбалку, в лес или еще куда-нибудь. Не исключено, что разнообразия ради поиграет с молодежью и в компьютерную игру. Что даст основу для новой книги сказок, написанной для детей и не только.

Петро ВАСЮЧЕНКО



С точки зрения рецензента

Ладья на волнах времени



Свою новую книгу — ее выпустило издательство «Беларусь» — Иван Саверченко назвал очень оригинально: «Ладья сокровищ». Хотя, если подумать, такое название может и смутить. Все-таки в этой книге представлены произведения белорусских писателей XIX — начала XX века, а сам термин «ладья», образно говоря, речного, или даже морского «происхождения». Читатель, знающий историю, легко пояснит, что ладьей восточные славяне в древности называли свои речные и морские суда. Жители нынешней территории Беларуси исключением не являлись. Уже в VII столетии наши предки уверенно плавали на ладьях, успешно преодолевая путь из «варягов в греки». Ладьи были довольно

удобными для перевозки грузов. Передвигались они при помощи весел, размещенных на корме и носу, а также, если тому способствовал попутный ветер, парусов. Со временем ладьи усовершенствовались. Большие ладьи имели команду из 40—60, а то и 100 человек, что говорит о том, что были очень вместительные.

Поэтому кто-нибудь, взяв в руки эту книгу, может в недоумении пожать плечами. Мол, при чем здесь ладья, если разговор идет об изящной словесности. Но такое непринятие заглавия возможно только в том случае, если не обращать внимания на подзаглавие «Ладьи сокровищ»: «Произведения белорусских писателей XIX — начала XX века». Ведь литература, искусство, культура в целом и являются настоящими духовными сокровищами. Особенно в то время, когда та же литература, пройдя свой начальный период, успешно берется осваивать новые горизонты. Именно так и произошло с белорусской литературой в начале XIX века, на чем и сосредотачивает внимание И. Саверченко в начале своего предисловия к этой книге — «Обращение к народным истокам».

Небольшое уточнение. «Ладья сокровищ» по своей структуре — книга-хрестоматия. В ней в переводе на русский язык представлена проза 16 писателей. Кроме того, помещено несколько произведений белорусского фольклора. И. Саверченко не только написал обстоятельное предисловие, но и сам перевел представленные произведения, многие из которых публикуются впервые. Кроме того, к каждому автору (народные рассказы — не исключение)

дал расширенные комментарии, позволяющие читателю в основных чертах проследить жизненный и творческий путь писателей, с творчеством которых он знакомится. Все это позволяет с полным на то правом говорить о «Ладье сокровищ» именно как об авторской книге, которая позволяет увидеть национальную литературу указанного периода в восприятии такого авторитетного исследователя, каким является доктор филологических наук, профессор И. Саверченко.

В предисловии он говорит о том, что намерение показать на конкретных примерах, как «в начале XIX века белорусская литература вступила в качественно новый этап развития. В интеллектуальной среде существенно изменились представления о социальной и нравственной функции словесности, произошла корректировка эстетической парадигмы художественного творчества. Литераторы Беларуси возложили на себя особую социальную миссию — с помощью литературного слова возродить национальное самосознание, повлиять на развитие общества, усовершенствовать духовный мир личности». В дальнейшем изменения, происшедшие в жизни, и привели к появлению литературы, не только отражающей стремление белорусов «людзьмі звацца», но и наполненной весомым нравственно-эстетическим потенциалом. Она стала способной решать общечеловеческие задачи и превратилась в такую, которая не только чувствует себя на равных среди самых передовых литератур мира, но и вносит свой особый вклад.

Иван Саверченко подчеркивает, что «в белорусской литературе XIX — начала XX века получили развитие все основные роды и виды художественной словесности — поэзия, проза, драматургия и публицистика». Во вступительной статье «Обращение к народным истокам» рассмотрено состояние литературы этого периода, выросшей — это в равной степени касается и поэзии, и прозы, — из фольклора и прошедшей ускоренный путь развития, на что в свое время обращал внимание еще Виктор Коваленко. В книге «Ладья

сокровищ» представлены прозаические произведения белорусских писателей XIX — начала XX века.

Нельзя не согласиться с И. Саверченко в том, что «наиболее значимое достижение белорусской литературы первой половины XIX века — мифологические рассказы, которые собрал, обработал и опубликовал Ян Барщевский в знаменитом произведении «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах», в творчестве которого «органически сочеталось индивидуальное писательское мастерство с устным народным творчеством». Прошло не так много времени, а если конкретно, — во второй половине XIX века — заявил о себе Франтишек Богушевич. Прежде всего, он, конечно, интересен как поэт. Но не только: «примечательным событием (...) стали рассказы (...) «Траляленочка», «Свидетель», «Лесник», «Дядина».

Так шаг за шагом, имя за именем, произведение за произведением белорусская литература расширяла свои творческие горизонты, создавая «высокохудожественные новеллы, рассказы и повести, исключительно разнообразные в жанровом и сюжетно-композиционном отношении. Именно в этот период белорусская литература пополнилась разнообразными по семантике и идейно-тематической направленности прозаическими произведениями: бытовыми, сатирическими, юмористическими, социальными, мистическими, психологическими и философско-аллегорическими».

И. Саверченко называет имена Ядвигина Ш., Каруся Каганца, Тетки, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Максима Горецкого, Змитрока Бядули, Цишки Гартного, Алесь Гаруна, Лявона Гмырака, Янки Журбы, Язэпа Лёсика, Владислава Голубка, Вацлава Ластовского. Еще более убедительно о тематическом многообразии национальной прозы свидетельствуют сами произведения, включенные в книгу. Правда, почему-то из приведенного самим же списком И. Саверченко не представил в книге произведения Тетки, З. Бядули. Зато добавил — Кастуся Калиновского, Янку Купалу, Антона Луцкевича.

Однако это право самого автора — что включить в книгу, а что обойти вниманием. Да и не будем забывать, что все заслуживающее внимания поместить в том объеме в 20 издательских листов невозможно.

Своего рода заповкой к книге-хрестоматии звучат народные рассказы «Музыка и черти», «Кузнец Богатырь», «Ведьмак», «Страх», «Мужик и пан», взятые И. Саверченко для перевода из записей известного белорусского фольклориста Александра Сержпутовского. Рассказы эти, нельзя не согласиться с И. Саверченко, — «феномен национальной культуры. Они свидетельствуют об огромном духовном потенциале народа, неукротимом стремлении к художественному творчеству». По своему же содержанию они примечательны тем, что в них «получили отражение все стороны жизни, социальные и классовые противоречия, семейные отношения, религиозные и мистические представления».

И. Саверченко-переводчик очень внимательно и уважительно отнесся к своей работе, постарался сохранить все отличительные особенности творческого почерка того или иного писателя. Скажем, «русскоязычный» Я. Купала не похож на «русскоязычного» Я. Коласа, М. Богданович — на А. Луцкевича.

Кстати, о подборе самих произведений. Безусловно, потребовалось доскональное знание творчества каждого из представленных в «Ладье сокровищ» писателей. Для того, чтобы представить именно то, что поможет русскоязычному читателю лучше почувствовать отличительные особенности письма того или иного мастера слова. Результат налицо. Так, у М. Богдановича для перевода взяты «Апокриф» и «Рассказ об иконописце и золотаре, людях мудрых и красноречивых», у М. Горецкого — рассказы «Русский»,

«Американец» и фрагмент из повести «Две души». Из творческого же наследия классиков белорусской литературы Я. Купалы и Я. Коласа И. Саверченко предпочтению отдал произведениям, в которых звучит национальная проблематика, поднимаются вопросы отношения к родному языку.

Книга «Ладья сокровищ» интересна и важна во многих отношениях. Прежде всего, она станет хорошим подспорьем для русскоязычных читателей, которым захочется лучше усвоить интереснейшие страницы белорусской литературы XIX — начала XX века. Кстати, не только для тех, кто живет в Беларуси. На это, между прочим, обращено внимание и в аннотации, где отмечается, что она адресуется «читателям евразийского культурного пространства, стран Содружества Независимых Государств, преподавателям и студентам высших учебных заведений, колледжей и гимназий, а также учителям и школьникам старших классов».

Важность этой книги-хрестоматии также и в том, что И. Саверченко в очередной раз засвидетельствовал о себе как о литературоведе, исследователе, которому по силе решение самых сложных задач. Он, как видно из его монографий, трудов по философии, истории, теории литературы, компаративистики, успешно решает важнейшие вопросы общенационального, а если смотреть шире, то и международного значения. Но не чуждо ему, что видно и из книги «Ладья сокровищ», стремление делать все для того, чтобы национальная изящная словесность приходила к большему количеству читателей. Эта работа для И. Саверченко важна, хотя и предполагает немало трудов. Однако, как говорится в известном афоризме: дорогу осилит идущий.

Алесь МАРТИНОВИЧ



С точки зрения рецензента

Взгляд на Беларусь глазами китайцев



«Беларусь глазами китайцев» (Беларусь глазами китайцев = Zhongguoer kan baieluosi / сост. Юй Чжэнци, Ван Сяньцзюй. — Минск: Звезда, 2014) — сборник статей более чем 20 китайских авторов, которые в разные годы после обретения нашей страной независимости или работали в Беларуси, или приезжали в Минск, другие города и регионы на продолжительное время. Сначала книга вышла в Китае. В минувшем году — для Издательского дома «Звезда» ее перевели на русский язык преподаватели и студенты востоковедческого профиля.

Одна из статей в сборнике принадлежит перу господина Ван Синда — «Мои впечатления о Беларуси». Первый

посол Китая в Беларуси (он занимал этот дипломатический пост с апреля 1992-го по март 1995 года), представляя нашу страну, в конце статьи делает следующий вывод: «В условиях глобальной стратегической конкуренции Китай и Беларусь нуждаются друг в друге. Что касается Беларуси, Китай выступает стратегическим партнером в политической борьбе противостояния США и Западу. Рассматривая перспективы долговременного развития, можно сказать, что Беларусь может стать той «платформой», на которой Китай будет строить торговые отношения с Европой». И далее: «Таким образом, двусторонние отношения Китая и Беларуси достигли огромных успехов, имеют прочную основу и огромные перспективы для дальнейшего развития».

Среди авторов книги «Беларусь глазами китайцев» — и другие дипломаты, работавшие в Республике Беларусь (доктор исторических наук, бывший посол КНР в Беларуси Юй Чжэнци, советник Посольства КНР в Беларуси Ван Сяньцзюй, первый секретарь отдела по делам образования при Посольстве КНР в Беларуси Ли Чжэнжа и другие). Примечательно, что авторы, подчеркивая исторические традиции, осмысливая исторический опыт, все-таки особый акцент делают на современности, характеризуют народ Беларуси сегодня, белорусов сегодняшних.

Отдельные тексты выходят за жанровые рамки статей или очерков, представляют собой страноведческие мини-монографии. Как, например, исследование Бэй Вэньли «Обзор политической культуры Беларуси».

Автор в 2005—2009 гг. работал в отделе по делам образования при Посольстве КНР в Беларуси. В настоящее время — заместитель декана факультета международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета, проректор Исследовательского института по делам регионального развития, заместитель директора Российского и Белорусского исследовательских центров. Лаконичные подразделы, отдельные главки данного текста носят следующие названия: «Развитие белорусской политической идеологии», «Возникновение идей объединения гуманизма и свободолюбия», «Об утрате национальной самобытности, о народе и революции, о независимости и объединении», «Особенности политической культуры Беларуси», «Прошлое и настоящее столицы Беларуси». Бэй Вэньли проявляет не только осведомленность в теме, за чем, безусловно, кроется многоплановая работа источниковедческого характера, но и делает глубокие выводы. Как и в этом подразделе — «Развитие белорусской политической идеологии»: «Идеология Беларуси, подвергаясь глубокому воздействию как европейских, так и русских идеологов, в конце концов приобрела свою собственную, соответствующую исключительно белорусской действительности идеологию. А черты этой идеологии, имеющие как сходства, так и отличия, находятся в диалектическом взаимодействии».

Сегодня и в вузах Китая есть интерес к Беларуси. В частности, во 2-м Пекинском педагогическом университете начал свою работу центр исследования Беларуси. Очевидно, что китайские студенты, аспиранты, делающие первые шаги в изучении далекой от них страны, стремятся получать знания в понятном, доступном формате. И, видимо, лучшим решением этой проблемы на начальном этапе было бы знакомство именно с такими исследованиями, как работа Бэй Вэньли.

Думаю, что в дальнейшем автор на основании именно этого текста, украшающего сборник «Беларусь глазами китайцев», мог бы подготовить содержательную книгу о Беларуси — для китайских читателей.

Выделяются в книге статьи, очерки, которые написаны теми авторами, что работали или работают в Беларуси в китайских и белорусско-китайских компаниях. Примечателен «Эпилог» в одной из статей: «...Каждый из нас прошел путь от полного непонимания страны до близкого знакомства с ней и с уверенностью смотрит в будущее. Несмотря на то, что не все из нас понимают белорусский язык, это не мешает свободно путешествовать по стране. Хотя изначальная причина, по которой мы приехали в Беларусь, — это работа, но, пожалуй, первое время мы чувствовали себя здесь чужими и скучали по дому. Однако белорусы со всем своим дружелюбием и добротой постоянно поддерживали нас, и постепенно мы стали чувствовать себя здесь комфортно. Поэтому мы все очень благодарны этой стране, которая стала нашим приютом, а также благодарны белорусам, которые помогли нам преодолеть тоску по дому».

Сборник «Беларусь глазами китайцев» свидетельствует, что у нашей страны в лице многих и многих китайцев появились настоящие друзья, а Китай стал надежным и близким партнером Республики Беларусь.

В свое время минское издательство БелТА выпустило сборник очерков и статей «Китай глазами белорусов». Наряду с изданием публицистики китайских авторов эта книга формирует своеобразную диалогическую белорусско-китайскую дружбу. Прочитать ее советую всем, кому интересен Китай, кому интересны современные белорусско-китайские отношения во всех областях жизнедеятельности.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ



Красивую мелодию никто не отменял

Дмитрий Долгалев — человек очень разносторонний. Талантливый композитор (ученик народного артиста СССР, профессора Евгения Глебова), прекрасный музыкант, аранжировщик, автор рок-оперы, вокальных, симфонических и инструментальных произведений. Его песни и баллады исполняли Сергей Захаров, Галина Ненашева, хор Турецкого, ансамбли «Песняры» и «Бяседа», Валерий Дайнеко, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Владимир Стамати, Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Ирина Дорофеева, Петр Елфимов и другие. Среди самых известных его песен: «Гаяю мой, не кліч», «А ты кажаш: вясна», «Балада», «Пажадай мне, мама», «Рэха жураўлінае», «Нарач», «Птицы», «Палачанка-князёўна», «Заспявай мне песню, крывічанка». С его произведениями артисты много раз занимали призовые места на «Славянском базаре в Витебске». Его песни сразу узнаются по удивительному мелодизму и напевности, отличаются особым музыкальным почерком, неповторимым стилем. Их всегда хочется слушать, потому что они волнуют, радуют, обогащают душу, дают ей высоту полета.

Предлагаю вниманию читателей эксклюзивное интервью с композитором.

— Великая музыка живет столетиями. Она не умирает, не меркнет во времени, продолжает волновать, умиrotворять, одухотворять... В чем секрет бессмертия музыки?



— Двести лет назад Людвиг ван Бетховен сказал: «Музыка — язык Бога».

Думаю, это самое точное определение музыки. Такой язык понятен всем без переводчика. Его чувствуют и животные, и растения. Нет нужды приводить этому доказательства, они общеизвестны. Секрет бессмертия музыки состоит в ее Божественной сути. Когда Всевышний посредством своего представителя на Земле, композитора от Бога, посылает в наш мир свои сочетания звуков. Кстати, не каждый композитор служит Небесам и не каждое сочетание звуков можно назвать музыкой.

— Если язык музыки понятен всем, универсален, так почему бы не вообразить, что этим языком можно сплотить всех людей, примирить их? Кто мог бы написать такое произведение, в котором был бы заложен код гармонического сосуществования? Или эту музыку уже написали Бах, Бетховен, Моцарт, но просто не все люди ее смогли услышать?

— Многие композиторы прошлого стремились посредством музыки заложить, как Вы сказали, код гармонического сосуществования. Думаю, в этом заключается смысл жизни Художника. И Бах, и Бетховен, и Моцарт, и многие другие истинные посланники Всевышнего посвятили свои творческие судьбы созданию благозвучия, направленного на совершенствование человеческой души. И если бы вся Божественная энергетика Художников прошлого была по-настоящему услышана, понята и принята, на Земле царили бы мир и гармония.

— В поэзии настоящими шедеврами чаще всего считаются произведения, наполненные страданием, возвышающим душу (например, трагедии Шекспира, многие стихи Пушкина, Блока). А в великой музыке — много ли счастья?

— В великой музыке, как и в литературе, присутствует вся палитра человеческих чувств. Трагедии и комедии, ад и рай, свет и тьма, словом — все противоположности нашли свое отражение в мировой музыкальной сокровищнице. Столкновение и борьба разных миров, эпох, полюсов, эмоций, характеров в музыкальных произведениях композиторов-классиков, как правило, завершается победой разума над безумием, света — над тьмой. Может, это и есть счастье? Если так, то в великой музыке счастья много. По-другому быть не может, ведь одна из главных задач истинного Художника — рисовать счастье, которого нет.

— В наш век информационной преиспещенности, когда шум, дисгармония становятся фоном жизни, может ли

классическая музыка стать спасительной для души?

— Прикосновение к лучшим образцам классики — это и есть спасение для души... Мне думается, душу нужно не только спасать, но и питать. Питать регулярно, экологически чистым продуктом. Недаром существует выражение — духовная пища.

— Что, на Ваш взгляд, можно назвать классикой?

— Классикой можно назвать произведения, написанные композиторами от Бога. Сочинения, которые выдержали испытание временем. Вопрос — каким его количеством? — давно занимает многие умы. Бальзак по этому поводу сказал: «Великие гении опередили века, некоторые таланты опережают только годы». Точнее не скажешь. Давайте посмотрим на примерах. «Лунную сонату» Людвиг Бетховен написал 200 лет назад. Второй фортепианный концерт Сергей Рахманинов написал 115 лет назад. Музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина «Метель» Георгий Свиридов написал 50 лет назад. Все перечисленные примеры — классика, которая и через тысячу лет останется таковой. Время отбирает лучшее, и как показала история, минимальный временной промежуток для прохождения музыкальных произведений на классический тест — пятьдесят лет.

— Классикой могут быть только академические произведения?

— Думаю, не только академические. Народная музыка, в которой многие композиторы-классики слышали источник своего вдохновения, считаю, вправе если не называться, то ассоциироваться с классикой. Опусы Жоржа Бизе, Иоганнеса Брамса, Михаила Глинки, Эдварда Грига, Антонина Дворжака, Ференца Листа, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и многих других композиторов были тесно связаны с народно-песенной основой. Глинка как-то сказал на эту тему: «Музыку создает

народ, а мы, композиторы, ее только записываем и аранжируем». Современная трактовка этого выражения стала лаконичнее: «Музыку создает народ, а мы — композиторы...»

Но вернемся к Вашему вопросу — только ли академические сочинения?

Двадцатый век подарил миру новые музыкальные стили и направления, такие, как джаз, фанк, рок и огромное количество их разновидностей. И поверьте, в среде упомянутых неакадемических жанров уже есть свои очень яркие классические образцы. Один из таких примеров в джазовой музыке — «Серенада солнечной долины» в исполнении легендарного оркестра Глена Миллера. В рок-музыке — «Богемная рапсодия» (альбом «Ночь в опере») в исполнении Фредди Меркьюри и группы «Queen».

— *Чтобы писать музыку, нужно иметь талант, чуткую душу, богатое воображение, интуицию... Что еще?*

— Кроме таланта, чуткой души, богатой фантазии и тонкой интуиции нужно огромное желание творить красоту. Понимать, что такое красота. Важно ощущать себя частичкой Бога, чтобы услышать посылаемую им мелодию. Хорошо, когда к перечисленным выше качествам прилагается профессия композитора, умение работать над оркестровой партитурой, умение играть на музыкальных инструментах, владение компьютерными технологиями. А еще нужно место, время и финансовая независимость.

— *Последний пункт, наверное, является главным тормозом не только у композиторов... Дмитрий, а что для Вас музыка?*

— Музыка для меня — это жизнь. Я всю жизнь в ней, а она — во мне. Не могу представить себя без музыки. Ее хочется и сочинять, и слушать.

— *А какую музыку хочется слушать?*

— Предпочитаю хорошую, мелодичную музыку. Независимо от жанров

и эпох. Хорошая музыка и ее противоположность есть в любых жанрах и направлениях.

— *Кто Ваши любимые композиторы-классики?*

— Любимых композиторов-классиков много, перечисление всех имен заняло бы много времени. Но это те авторы, произведения которых на протяжении десятилетий заставляют мою душу трепетать перед мелодиями вечности, над которыми не властно время.

— *Дмитрий, Вы много работаете в жанре песни, скажите, кто из композиторов-песенников оказал на Вас сильное влияние?*

— Если говорить о жанре песни, то наиболее сильное влияние на меня оказали Александр Зацепин, Раймонд Паулс и Давид Тухманов. Творчество этих замечательных, высокопрофессиональных композиторов отличается удивительным соотношением качества и количества ярких мелодий. Их оригинальные аранжировки меня всегда поражали своей неповторимостью и новизной. С их музыкой прошло мое детство и юность. Эту музыку я люблю и сегодня. Конечно, были и есть другие, бесспорно талантливые композиторы, но Вы спросили о влиянии.

Чуть позже, в консерваторские годы, меня увлекли Стиви Уондер, Морис Уайт (автор большинства композиций группы «Earth, Wind & Fire»), Чик Кория, Дэвид Фостер (автор ярких песен для Эл Джерро и Уитни Хьюстон).

— *Каких исполнителей Вы для себя выделяете?*

— Мне ближе исполнители талантливые, с высоко поднятой творческой планкой. Из вокалистов — это Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Джош Гробан, Лара Фабиан. Хочу заметить, что эта четверка при всем своем высочайшем профессионализме обнаруживает еще и необыкновенную скромность.

А скромность на сцене — второй пункт моей симпатии после пункта первого — таланта и профессии. Про скромность хорошо заметил Гете: «Кто не слишком мнит о себе, тот лучше, чем он сам думает».

Из отечественных певцов я выделяю Валерия Дайнеко, Владимира Стамати, Петра Елфимова. С ними же тесно и сотрудничаю.

Из вокальных ансамблей мне ближе «Take 6», «The Manhattan Transfer». Из инструменталистов мне по душе скрипачи Дэвид Гаррэтт и Ванесса Мэй, джазовые гитаристы — Джордж Бенсон и Эл Ди Меола, группа «Mezzoforte». А еще — оркестр Поля Мориа, а также «Big Phat Band» под управлением Гордона Гудвина.

— *Может ли музыка в своем развитии «идти в ногу со временем», при этом отличаться высочайшим уровнем (как классика) и быть интересной как пожилым людям, так и молодым?*

— Настоящая музыка — вне времени, она на все времена. В Вашем вопросе прозвучала тургеневская нотка «отцы и дети» — пожилые и молодые. Действительно, как сделать так, чтобы музыка «шла в ногу со временем», была бы близка людям всех возрастов. Ответ на этот вопрос мы найдем, если внимательно проанализируем озвучивание голливудских фильмов последних десятилетий: в них, на мой взгляд, очень органично уживается колорит симфонического оркестра с красками современных средств музыкальной выразительности. Настоящие профессионалы во всем мире понимают — пришло время синтеза жанров, стилей, формы. И в какой бы пропорции ни смешивались самые прогрессивные звуковые ингредиенты, красивую мелодию никто не отменял. Только так можно идти в ногу со временем.

Музыканты, которые не сторонятся экспериментов с синтезом, сегодня на высоте. Яркий тому пример — молодой немецко-американский

скрипач и признанный виртуоз Дэвид Гаррэтт, на концертах которого звучат потрясающе красивые обработки музыки Альбини, Баха, Вивальди, Паганини и даже Фредди Меркьюри. Гаррэтт сделал ставку на слияние классики и современности. За спиной у прославленного скрипача, как правило, сидит симфонический оркестр и ритм-секция с обязательным присутствием электрогитар, а перед глазами — тысячи восторженных глаз слушателей всех возрастов.

— *Какие качества в исполнителях вызывают у Вас недовольство или раздражение?*

— Отсутствие голоса, неумелая игра, неряшливая одежда, вызывающее поведение на сцене. Не люблю, когда исполнитель, выходя на сцену, требует аплодисментов, которых он еще не заслужил и, возможно, уже не заслужит. Не красят выступление выкрики артистов, напоминающие утробные звуки неандертальцев. Раздражение, раз мы с Вами об этом заговорили, вызывают бездарные, серые песни с низкопробными или пошлыми словами. Особенно когда их прослушивание невозможно проигнорировать, к примеру, сидя на концерте. А еще отвратительно, когда бездарных авторов незаслуженно превозносят до небес. И совсем печально, когда эти «композиторы», «поэты», не отягощенные чувством скромности, пиарят себя сами. Мой отец, музыкант по профессии, не раз замечал: «Некоторым нашим исполнителям нужно вручить медаль за мужество при запоминании мелодии». Я бы добавил: «А композиторам, написавшим такие мелодии, — ордена».

— *А сколько же их написано, этих песен, хороших и не очень... Кто-нибудь, кроме Бога, знает точное их количество?*

— Бог знает точно. Недавно в сети опубликован интересный факт для размышления. Цитирую: «Крупнейшая база данных интернет-ресурса «Gra-

senote» содержит информацию о 130 миллионах песен со всего мира. Чтобы прослушать их все, потребуется примерно 1200 лет».

— *Каким бы Вы хотели видеть современное музыкальное искусство?*

— Оно должно быть чистым, честным, талантливым, профессиональным.

В нем не должно быть сегодняшней фальши, когда судьбу искусства решают только деньги или связи. Музыкальным искусством должны заниматься не случайные люди, а только профессиональные музыканты, композиторы, музыковеды, искусствоведы. Государство должно, наконец, понять — «жизнь коротка, искусство вечно» — и не на словах, а на деле поддержать всех тех Художников, которые сегодня творят историю культуры нашей Родины.

— *Ваши пожелания слушающим музыку..*

— Посещайте концерты хороших музыкантов. Если слушаете в записи — пусть у вас будет качественная аппаратура: проигрыватель, усилитель, акустика или наушники. Это необходимое условие, поскольку нельзя на маленьких компьютерных колонках услышать во всей красе тембры и динамику многих низкочастотных инструментов: контрабасов, литавр, контрафагота, тубы.

А еще важно не столько слушать, сколько **слышать** музыку. Услышьте в ней красоту, радуйтесь красоте. Цените минуты счастья, когда у вас есть возможность окунуться в Божественный мир звуков и раствориться в нем.

*Беседовала Валентина
ПОЛИКАНИНА.*



«НЁМАНУ» — 70!

Поздравление Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. 11—3.

Архив «Нёмана». 11—4; 11—91; 11—210.

ПОЭЗИЯ

Олег АНАНЬЕВ. **Беларуси седая мадонна.** Стихи. 4—81.

Славомир АНТОНОВИЧ. **Тебя люблю я, как и прежде.** Стихи. 12—68.

Алесь БАДАК. **Заветные слова.** Стихи. Перевод с белорусского Ю. Матюшко. 12—35.

Михась БАШЛАКОВ. **Эта дорога осенняя...** Стихи. Перевод с белорусского М. Шабовича. 11—48.

Лёля БОГДАНОВИЧ. **Подари немного счастья, лето.** Стихи. 8—98.

Владимир ВАСИЛЕНКО. **В глубь пейзажа.** Стихи. 11—73.

Наум ГАЛЬПЕРОВИЧ. **В час замети зимней.** Стихи. Перевод с белорусского Е. Полеев. 1—40.

Наталья ГОРБАЧЕВА. **Леди в разных ботинках.** Стихи. 10—77.

Валерий ГРИШКОВЕЦ. **Возвращение.** Стихи. 1—63.

Жанна ЗАВАЦКАЯ. **Из темного, глухо-го далека.** Стихи. 8—76.

Василь ЗУЕНОК. **Здесь, где вечность в задумчивом свете.** Стихи. Перевод с белорусского И. Котлярова, Г. Стрельцовой. 7—57.

Анатолий ЗЭКОВ. **И нет роднее ничего.** Стихи. Перевод с белорусского автора. 9—87.

Петр ИСАКОВ. **Мартиролог.** Стихи. 6—136.

Казимир КАМЕЙША. **На родном крыльце.** Стихи. Перевод с белорусского М. Кулеша. 8—24.

Георгий КИСЕЛЕВ. **Созвездие Ориона.** Стихи. 2—67.

Изяслав КОТЛЯРОВ. **Эхо зова. Венок сонетов.** 9—72.

Тамара КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО. **Не продается...** Стихи. 4—57.

Михаил КУЛЕШ. **Зреет колос в лучах солнца жаркого.** Стихи. 9—53.

Скоро весна... Олег КОНТУШ, Александр КРАМЕР, Василий МЕЛЬНИКОВ. Стихи. 2—78.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА. **Дорога домой.** Стихи. 1—99.

Василь МАКАРЕВИЧ. **И хоть глазам своим не верь.** Стихи. 2—40.

Леонид МАТЮХИН. **Нахожу — и вновь теряю.** Стихи. 11—72.

Юрий МАТЮШКО. **Этот день наполнит счастьем целый год.** Стихи. 7—86.

Владимир МОЗГО. **И родниковая живая вода дыханье освежит.** Стихи. Перевод с белорусского Г. Авласенко. 3—49.

Татьяна МУШИНСКАЯ. **Мерцанье тайны в каждом слове есть...** Стихи. 3—65.

Ольга НОРИНА. **И строчки приходят в томлении странном.** Стихи. 8—96.

Лев ПАРЕМСКИЙ. **Таится вещей смысл во всем.** Стихи. 1—81.

Миля ПАРХОЦ. **Постой, весна, побудь моей подругой.** Стихи. 3—74.

Геннадий ПАШКОВ. **Колокола юности.** Стихи. Перевод с белорусского Е. Полеев. 11—26.

Алесь ПИСАРИК. **И слова заветные найду.** Стихи. Перевод с белорусского Р. Казаковой, И. Бурсова, Е. Свечниковой. 4—25.

Михаил ПОЗДНЯКОВ. **Ты — и воля, и песня живая.** Стихи. Перевод с белорусского Е. Полеев. 10—45.

Елизавета ПОЛЕЕС. **И нежность. И боль. И бездонность Вселенной.** Стихи. 12—56.

Андрей СКОРИНКИН. **Во мраке ночном, перед гибелью света...** Стихи. 10—61.

Сергей ФИЛИППОВ. **Вишневый сад.** Стихи. 6—86.

Римма ХАНИНОВА. **Запах полыни.** Стихи. 6—142.

Наталья ЦВИРКО. **Весь мир — добро, весь мир — любовь.** *Стихи.* 3—81.

Николай ШАШКОВ. **И боль... И радость...** *Стихи.* 4—100.

Великой Победе верны. Произведения членов литобъединения «Доблесть». Андрей БОКЗА, Наум ГАЛЬПЕРОВИЧ, Сергей ЗАКЛАДНЫЙ, Тамара ЗАЛЕСКАЯ, Николай ИВАНОВ, Евгений КОРШУКОВ, Леонид ЛУКША, Михаил ПОЗДНЯКОВ, Валентина ПОЛИКАНИНА, Николай ПОЛЯКОВ, Матвей РЕЙЗИН, Михаил ТОКАРЕВ, Николай ШАШКОВ, Михаил ЯСЕНЬ. *Стихи.* 7—98.

ПРОЗА

Геннадий АВЛАСЕНКО. **Оракул не ошибается.** *Рассказы.* Перевод с белорусского автора. 1—67.

Александр АТРУШКЕВИЧ. **Тайна зеркального карпа.** *Повесть.* 4—3.

Александр БРИТ. **Японская свадьба.** *Рассказы.* Перевод с белорусского автора. 9—57.

Александр ВОЛКОВИЧ. **Три рассказа.** 12—40.

Евгений ГАЛАЙДИН. **Письма.** *Рассказ-воспоминание.* 7—91.

Наум ГАЛЬПЕРОВИЧ. **Вздых нежности.** *Повесть.* Перевод с белорусского И. Кочетковой. 8—79.

Николай GERMANСКИЙ. **Оно рядом.** *Дорожные заметки.* 6—138.

Станислав ДЕРКАЧ. **Лев.** *Рассказ.* 3—53.

Олег ЖДАН. **Прощание.** *Рассказы.* Перевод с белорусского автора. 10—50.

Виталий ЖУРАВСКИЙ. **Кот с колокольчиком на шее.** *Повесть.* 1—3.

Вера ЗЕЛЕНКО. **Благопристойная жизнь.** *Роман.* 8—27; 9—3.

Лариса КАЛУЖЕНИНА. **Последняя командировка.** *Повесть.* 4—29.

Екатерина КАРПОВИЧ. **Огненный ветер Эль-Пасо.** *Рассказ.* 4—61.

Елена КИСЕЛЬ. **Два рассказа.** 3—76.

Федор КОНЕВ. **Живые тени.** *Рассказы о кино.* 1—43.

Елена КОШКИНА. **Это наше время.** *Рассказы.* 2—71.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ. **За стеклом.** *Из записок переводчика.* 7—61.

Сергей ЛАПЦЕВИЧ. **Два рассказа.** 2—45.

Татьяна ЛАШУК. **Два рассказа.** 12—61.

Владимир ЛИПСКИЙ. **Нарочанская чайка.** *Театральная повесть.* Перевод с белорусского А. Гибок-Гибковского. 10—3.

Георгий МАРЧУК. **Было время кино.** Перевод с белорусского И. Кочетковой. 11—74.

Валерий НЕХАЙ. **Случай в деревне.** *Повесть.* 11—5.

Сергей НОСОВ. **Две таблички на газоне.** *Рассказ.* 9—89.

Александр ОСИНОВСКИЙ. **Портрет мальчика на грозовом фоне.** *Документальная повесть.* 4—83.

Юрий ПЕЛЮШОНОК. **Одиссея моториста Галочкина.** *Рассказ.* 11—32.

Елена ПОПОВА. **Песня блистающей химеры.** *Повесть.* 7—3.

Владимир САЛАМАХА. **Чти веру свою...** *Повесть.* Перевод с белорусского О. Никольской. 2—3; 3—3.

Николай СЕРДЮКОВ. **Дядя Костя.** *Рассказ.* 2—81.

Александр СИЛЕЦКИЙ. **Цапля.** *Рассказ.* 1—83.

Виктория СИНЮК. **Da capo al Fine.** *Рассказ.* 3—67.

Виктор СЛАВЯНИН. **Ромась и Варька.** *Повесть.* 6—91.

Ганад ЧАРКАЗЯН. **Человек из прошлого.** *Рассказы.* 9—78.

Леонид ЧИГРИН. **Мятеж.** *Повесть.* 12—3.

Юрий ЮЛОВ. **Снегурочка, или Она была актрисой...** *Рассказы.* 11—53.

Впервые в «Нёмане». Дмитрий ТУМАНОВ. **Мамба.** Сергей КРЮКОВ. **Оптимист.** Марина ВОРОБЕЙ. **Бабушка.** *Рассказы.* 10—66.

Калининградская тетрадь:

журнал «Балтика» в гостях у «Нёмана»

Поздравление «Нёмана» с 70-летием: Б. Бартфельд, О. Глушкин, Л. Фролова. 12—71.

Олег ГЛУШКИН. **Тиха Вальпургиева ночь.** Виталий ШЕВЦОВ. **Запах керосина.** Валерий ГОРБАНЬ. **Авитаминоз.** Дмитрий ГРИГОРЬЕВ. **Стена.** *Рассказы.* 12—72.

Борис БАРТФЕЛЬД. **Пределы.** Татьяна ТЕТЕНЬКИНА. **К дому отчому тропинка легла.** Валентина СОЛОВЬЕВА. **Открывается смысл неземной.** *Стихи.* 12—95.

«МОСТ ДРУЖБЫ»

Григорий РАПОТА. **Уважаемые читатели, дорогие друзья!** 6—3.

Евгений КАПУСТИН. **Воспоминания о войне и не только.** Екатерина ФЕДОТОВА. **Марьяна осень.** Перевод с белорусского Т. Сивец. Илья ЛУДАНОВ. **Звериной тропой.** Виктория СИНЮК. **Разыскивается философ.** Алёна ПАПКО. **Волчица.** Перевод с белорусского Т. Сивец. Георгий ФОМИН. **Иллюзия полезности.** Андрей ДИЧЕНКО. «Европа». Ирина ИВАННИКОВА. **Васильковые души.** Алексей СТАРУХИН. **Пульс на грани восторга.** Мария ПЕРВУШИНА. **Тишина и я.** Татьяна ЗАХАРЕНКО. **Кара небесная.** Елизавета РОЖКОВА. **Ты называешься богом.** Вячеслав КОТОВ. **Автоответчик.** Юлия БОГДАНОВА. **Вчера я видел.** *Рассказы.* 6—4.

«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В «НЁМАНЕ»

Джо АЛЕКС. **Скажу вам, как погиб он.** *Роман.* Предисловие Р. Святополк-Мирского, перевод с польского Р. Святополк-Мирского при участии В. Кукуни. 7—110; 8—131; 9—118.

Виктор ГЕРМЕНЧУК. **На службе королю и отечеству.** 6—179.

Джузеппе КУЛИККЬЯ. **Амбараба.** *Фрагменты романа.* Перевод с итальянского В. Чероты. 3—120.

Драган ЛАКИЧЕВИЧ. **Безумная рукопись.** *Белградские рассказы.* Перевод с сербского А. Чероты. 2—131.

Леконт де ЛИЛЬ. **Сон Лейлы.** *Стихи.* Предисловие Н. Рыковой, перевод с французского Г. Киселева. 7—152.

Бёррис фон МЮНХГАУЗЕН. **Я последний в роду и последний в стране.** *Стихи.* Предисловие и перевод с немецкого Е. Лукина. 4—135.

Игорь НАЙДЕНКОВ. **Великий мечтатель.** 11—134.

Ирен НЕМИРОВСКИ. **Иезавель.** *Роман.* Предисловие и перевод с французского И. Найденкова. 2—100; 3—88; 4—102.

Гурам СВАНИДЗЕ. **Тополя.** *Рассказы.* Вступительная статья Т. Шпартовой. 12—102.

Жорж СИМЕНОН. **Человек по кличке Мышь.** *Роман.* Предисловие и перевод с английского З. Красневской. 10—79; 11—97.

Уоллес СТЕГНЕР. **Тот, кто плюет в небеса.** *Повесть.* Предисловие и перевод с английского З. Красневской. 1—101.

Катрин ШМИДТ. **Почему вы плачете каждую среду?** *Рассказы.* Предисловие и перевод с немецкого Ю. Саврицкой. 6—146.

Поднебесное окно. Пан ЛАН, Лю ИУН, Чжан ШЭН, Иан ШУ, О ИАН-ШЬЮ, Ван АНЬ-ШЬ, Су ШЬ, Ли ЧЖИ-И, Чжан ШУ, Чжо ПАН-ИАН, Ие МЭН-ТЭ, Ли ЧИН-ЧЖАО, Чжен Ц-АН, Ван ЧЖЬ-ХУАН, Ли БАЙ, Ду ФУ, Цэн ШЭН, Уэй ИН-У, Мэн ТИАО, Чжан ЧЖОН-СУ, Лю ИУЙ-ЩИ, Бай ТИУ-И, Уэн ТИН-ИУН. *Стихи.* Предисловие и перевод с китайского Ли Цзо. 2—137.

«СЯБРЫНА»: БЕЛАРУСЬ—РОССИЯ

Платон БЕСЕДИН. **День Победы.** *Рассказ.* 5—107.

Юрий БОНДАРЁВ. **Мгновения.** 5—66.

Марина ВОЛКОВА. **Под светлой Полярной звездой.** *Стихи.* 5—111.

Владимир ГНИЛОМЕДОВ. **Беженцы. 1916 год.** *Из романа «Восток».* Перевод с белорусского М. Позднякова. 8—9.

Валерий КАЗАКОВ. **Поворот к дому.** *Рассказы.* 8—3.

Лев КОТЮКОВ. **Я спас свою душу...** *Стихи.* 5—62.

Владимир КРУПИН. **Молитва матери.** *Рассказы.* 5—81.

Захар ПРИЛЕПИН. **Обитель.** *Фрагмент романа.* 5—3.

Наталья РОМАНОВА. **Бегущая через жизнь.** *Рассказы.* 5—114.

Константин СКВОРЦОВ. **Ни времени, ни смерти нет.** *Стихи.* 5—77.

Владимир СКИФ. **И с неба рухнула весна.** *Стихи.* 5—104.

Владимир ШУГЛЯ. **Через прицел души.**
Стихи. 5—144.

«СЯБРЫНА»:

БЕЛАРУСЬ—КАЗАХСТАН

Римма АРТЕМЬЕВА. **Мне б судьбой
насладиться.** *Стихи.* 9—105.

Римма АРТЕМЬЕВА. **Дом, хранящий
вдохновенье...** 9—108.

С. Б. БУЛЕКБАЕВ, А. Ж. СЕЙДУМА-
НОВ. **К истории идеи евразийской
интеграции.** 9—111.

НАСЛЕДИЕ

Рыгор БОРОДУЛИН. **Ступал я в твой
горячий след.** Перевод с белорусского
Г. Авласенко. 2—89.

Владимир ДУБОВКА. **Окунуться в
бездонную жизнь с головой.** *Стихи.*
Перевод с белорусского К. Северинца.
11—92.

К 100-летию со дня рождения

Дмитрия Ковалева

Алесь МАРТИНОВИЧ. **Неподвластно
забвению.** 8—100.

Дмитрий КОВАЛЕВ. **Все пути озарены
тобою.** *Стихи.* 8—124.

ГЕРОИ БЕЛАРУСИ

Кирилл МЕЛЬНИК. **Творческий подвиг
художника.** 8—168.

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

Алексей ЗАКРУЖНЫЙ. **Их раны все
еще болят.** 10—144.

Игорь КОТЛЯРОВ. **Народная память
о Великой Победе в Великой войне:
социологические тренды.** 4—147.

Владимир ЛАНДЕР. **Солдат войну не
выбирает.** 5—168.

Николай СМИРНОВ. **Негромкая исто-
рия...** 2—162.

ВНЕ ВРЕМЕНИ

Евгений ПОДЛЕСНЫЙ. **Белорусское
Средневековье: политика, культура, и
традиции.** 12—151.

ДОКУМЕНТЫ. ЗАПИСКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Диалог сотворчества. *Перетиска* *Мико-
лы Лобана и Евгения Мозолькова.* Подго-
товка к публикации и предисловие А. Ва-
щенко. 9—159.

Эмануил ИОФФЕ. **Убийство Михоэlsa.**
3—154.

Анатолий КОЗАК. **Искатели счастья.**
1—183.

Владимир ЛАНДЕР. **Магическая сила.**
11—163.

Вячеслав НЕСТЕРУК. **Пути-дороги.**
Предисловие А. Трофимчика. 7—166.

**Писатель и время: письма к Ивану
Шамякину.** 5—146.

ЛИЧНОСТЬ

Алесь МАРТИНОВИЧ. **Чрезвычайный
и Полномочный Посол.** 3—176.

ВРЕМЯ. ЖИЗНЬ. ЛИТЕРАТУРА

Павел НАУМЕНКО. **Несколько воспо-
минаний к юбилею.** 2—152.

Михаил ПОЗДНЯКОВ. **Родной деревне
поклонюсь.** 1—131.

ИМЕНА

Макаенок — это целая эпоха. Вос-
поминания Б. ЛУЦЕНКО, Г. ОВСЯН-
НИКОВА, В. АНИСЕНКО. Беседовали
А. Василевич, П. Питкевич. 12—170.

ЭПОХА

Татьяна ШАМЯКИНА. **Земля в ореоле
тайн.** 1—155; 3—128.

Татьяна ШАМЯКИНА. **Земля в ореоле
тайн. Чарующая Евразия. Часть 1.**
10—128.

Татьяна ШАМЯКИНА. **Земля в ореоле
тайн. Чарующая Евразия. Часть 2.**
11—144.

ЭПОХА. СУДЬБЫ. ПАМЯТЬ

Ирина ШАТЫРЕНОК. **Николай — стар-
ший брат Варвары.** 12—134.

Национальные приоритеты

Владимир МАКАРОВ. **Войны нового
века: постмодернистские технологии.**
9—151.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ***Искусство суждения***

Анатолий АНДРЕЕВ. **Поэтические измерения Владимира Шугли.** 7—208.

Анатолий АНДРЕЕВ. **А масса слушает да ест.** 11—211.

Борис АНДРЕЙЧЕНКО. **Чудо по имени Ша-Ша.** 4—215.

Виляя ВАЛКАУСКАЙТЕ. **Криминал и любовь...** 2—202.

Владимир ГНИЛОМЕДОВ. **Путем поэта.** 2—188.

Валерий ГРИШКОВЕЦ. **Всепобеждающая сила любви.** 10—219.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ. **Камертон толерантности.** 10—214.

Георгий КИСЕЛЕВ. **«Нам ли нужна благодать?»** 4—182.

Георгий КИСЕЛЕВ. **Лечебные слова женской лирики.** 10—184.

Валентина ЛОКУН. **Военная проза Владимира Гниломедова.** 1—204.

С точки зрения рецензента

Геннадий АВЛАСЕНКО. **Суровая правда войны.** 2—199.

Геннадий АВЛАСЕНКО. **Энциклопедия казахского народа.** 9—207.

Виктор АРТЕМЬЕВ. **Цветет душа поэта.** 9—210.

Олег БЕЗВОДИЧСКИЙ. **Птица пролетела мимо...** 5—212.

Петро ВАСЮЧЕНКО. **Энергетика сказки.** 12—203.

Александр ЕФИМОВ. **Дань уважения и памяти.** 10—220.

Олег ЖДАН. **Дом, который построил автор.** 7—213.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ. **Взгляд на Беларусь.** 12—211.

Михаил КЕНЬКО. **Будущее, запечатленное в прошлом.** 9—204.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ. **Дела житейские.** 3—217.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ. **Не все золото, что... серебро.** 5—209.

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ. **Наша жизнь — не игра!** 8—215.

Тамара КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО. **Время яблок.** 6—212.

Валентина ЛОКУН. **Последние романтики XIX столетия.** 8—206.

Алесь МАРТИНОВИЧ. **История через судьбы.** 1—216.

Алесь МАРТИНОВИЧ. **Ладья на волнах времени.** 12—208.

Инесса МОРОЗОВА. **С верой в человечность.** 2—204.

Инесса МОРОЗОВА. **Поэты Первой мировой.** 5—216.

Андрей РАСТОРГУЕВ. **Одержимые Ньютоном.** 4—212.

Евгений РУДОВИЧ. **Виктор Шнип: амаркорд.** 7—220.

Наталья СОВЕТНАЯ. **Прикосновение.** 2—207.

Наталья СОВЕТНАЯ. **На всех — одна судьба.** 5—203.

Наталья СОВЕТНАЯ. **Услышь меня...** 10—209.

СОПРИКОСНОВЕНИЕ

Иван АРХИПОВ. **Автор «Белорусочки» живет в Москве...** 2—92.

Валентин МАСЛЮКОВ. **Голос ветра, голос бездны.** 3—82.

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ. **Петь одну любовь...** *Стихи.* 3—84.

Иосиф РОГАЛЬ. **Поиски в былом.** *Стихи.* 2—96.

КУЛЬТУРНЫЙ МИР

Егор КОНЕВ. **Устройство души и есть свобода...** 2—167.

Театр

Зоя ЛЫСЕНКО. **«Территория мюзикла»: труппа белорусская, авторы — российские.** 4—156.

Зоя ЛЫСЕНКО. **Традиции российские, опыт — мировой.** 9—175.

«Мне важно, что я делаю сегодня». *Интервью с Оксаной Волковой.* Беседа-вал 3. Пригодич. 10—160.

Татьяна ОРЛОВА. **Жизнь и судьбы.** 12—184.

COLLEGIUM MUSICUM

Светлана БЕРЕСТЕНЬ. **«...Вольна о музыке глаголить».** 1—192.

Светлана БЕРЕСТЕНЬ. **Помнящие родство.** 3—197.

Светлана БЕРЕСТЕНЬ. **Михась Дриневский в хоре жизни.** 4—167.

Светлана БЕРЕСТЕНЬ. **Слыша дыхание Музыки.** 5—191.

Светлана БЕРЕСТЕНЬ. **Дирижер — это судьба.** 6—196.

Светлана БЕРЕСТЕНЬ. **Портрет Огинского на музыкальном полотне.** 7—194.

Светлана БЕРЕСТЕНЬ. **Искать свое, обретя себя.** 8—193.

Светлана БЕРЕСТЕНЬ. **Инструмент, объединивший мир.** 9—192.

Светлана БЕРЕСТЕНЬ. **Молодой столетний человек.** 11—192.

Светлана БЕРЕСТЕНЬ. **В кругу Ее Величества.** 12—191.

Михась ДРИНЕВСКИЙ. **В созвучии чутких сердец.** 1—189.

Без классики нет будущего. *Интервью с Валерием Уколовым.* Беседовала С. Берестень. 2—175.

НАПОСЛЕДОК

Имена

Дмитрий ВИНОХODOV. **Загадки Яна Барщевского: легенда о дочери Океана.** 1—219.

Жизнь в искусстве

Валентина ПОЛИКАНИНА. **Красивую мелодию никто не отменял.** 12—213.

Литературное содружество

Светлана АНАНЬЕВА. **Великая гуманистическая миссия.** 6—215.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ. **Дух над тюрью-мою свободно парит...** 3—221.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ. **«Лица памирцев отчеканены из меди».** 1—221.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ. **«Созвучие» без границ.** 6—220.

Кирилл ЛАДУТЬКО. **Санкт-Петербург. Адреса белорусской литературы.** 5—220.

Кирилл ЛАДУТЬКО. **Украинистика в книжном собрании Петра Глебки.** 8—220.

Мост дружбы

Вероника КАРЛЮКЕВИЧ. **О китайском танцевальном искусстве — в Беларуси.** 8—222.

Мара РУСОВА. **Петровна.** 9—218.

Олег СУДЛЕНКОВ. **Тень Пушкина его усыновила.** 9—212.

Из почты журнала

Светлана ГУК. **Из Белой Руси да по Белому морю.** 2—211.

Марина ЕВСЕЙЧИК. **Путь в неизвестность.** 2—218.

Виталий МАХАНЬКО. **Бездонный колодец Дедина.** 4—218.

Нина СОКОЛОВА. **Живые и мертвые здесь говорят.** 10—222.

Оторванность от действительности. 11—215.

Составила Н. ПАРХИМОВИЧ.



ЧИГРИН Леонид Александрович. Родился в 1942 г. в пос. Осинторф Дубровенского района Витебской области. Профессиональный журналист, сценарист документального кино, писатель. Автор романов «Великий Шелковый путь», «У подножия Тахти Сангина», «Поражение Цезаря», «Хатлонский бастион» и др. Живет в Душанбе (Таджикистан).

БАДАК Алесь Николаевич. Родился в 1966 г. в д. Турки Ляховичского района Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор сборников поэзии «Будзень», «За ценом самотнага сонца», «Маланкавы посах», книг для детей «Верабей з рагаткай», «Незвычайнае падарожжа ў Краіну Ведзьмаў» и др. Живет в Минске.

ВОЛКОВИЧ Александр Михайлович. Родился в 1950 г. в Бресте. Окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Автор книг «Зубр беловежский чугунный», «Береза черная – береза белая», «Алеся. Беловежские сны», «Письма войны», «Лето красных лошадей». Живет в Бресте.

ПОЛЕЕС Елизавета Давыдовна. Родилась в Могилеве. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси и стран ближнего зарубежья, в антологии «Современная русская поэзия в Беларуси», альманахе «Дзень паэзіі». Автор нескольких сборников поэзии. Живет в Минске.

ЛАШУК Татьяна Игоревна. Родилась в 1983 г. в Лиде. Окончила исторический факультет Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, аспирантуру при нем. Поэт, прозаик, публицист. Печаталась в журналах «Першацвет», «Поколение», «Нёман», газете «Знамя Юности» и др. Живет в Лиде.

АНТОНОВИЧ Славомір Валер'янавіч. Родился в 1955 г. в Щучинском районе Гродненской области. Окончил Минский радиотехнический институт и Белорусский государственный университет. Автор документальных книг «Петр Машеров», «Приговоренные к расстрелу», «Жизнь вне закона», сборника стихов «Вяртанне ў юнацтва», исторического романа «Призраки Можейковской крепости». Живет в Минске.

ГЛУШКИН Олег Борисович. Родился в 1937 г. в г. Великие Луки Псковской области. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт. Автор 20 книг. За вклад в развитие культуры Калининградской области удостоен международного Диплома Канта. Живет в Калининграде.

ШЕВЦОВ Виталий Евгеньевич. Родился в 1952 г. в Риге. Окончил Пинский техникум мясной и молочной промышленности. Автор пяти книг. Председатель правления Калининградского отделения Союза писателей России (Балтийская писательская организация). Награжден Почетным знаком «За гуманизм и милосердие». Живет в Калининграде.

ГОРБАНЬ Валерий Вениаминович. Родился на Крайнем Севере. Окончил биолого-почвенный факультет Дальневосточного госуниверситета, заочное отделение Московской юридической академии, Академию управления МВД России. Автор трех книг художественной прозы, соавтор семи сборников прозы. Лауреат Международного литературного конкурса им. А. Платонова. Живет в Калининграде.

ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Геннадьевич. Родился в 1973 г. в Орле. Окончил Калининградский государственный университет. Автор четырех книг прозы. Живет в Калининграде.

БАРТФЕЛЬД Борис Нухимович. Родился в 1956 г. в пос. Новостроево Калининградской области. Окончил Калининградский государственный университет. Председатель Калининградской областной писательской организации. Автор шести книг. Лауреат премии Калининградской области «Сопричастность», премии города Калининграда «Вдохновение». Живет в Калининграде.

СОЛОВЬЕВА Валентина Борисовна. Родилась в 1949 г. в Костроме. Окончила филологический факультет Калининградского университета. Автор шести книг, в том числе для детей и юношества. Лауреат региональной премии «Признание», международной премии «Золотой витязь». Живет в городе Гусев Калининградской области.

ТЕТЕНЬКИНА Татьяна Григорьевна. Родилась в Брестской области. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор десяти книг стихов и прозы. Лауреат областной премии «Признание» и премии мэра Калининграда «Вдохновение». Живет в Калининграде.

СВАНИДЗЕ Гурам Александрович. Родился в 1954 г. в Тбилиси (Грузия). Окончил Тбилисский государственный университет, аспирантуру Института социологических исследований АН СССР в Москве. Кандидат философских наук. Печатался в журналах «Нева», «Дружба народов», «Волга», «Сибирские огни», «Новая Юность», «Урал» и др. Автор двух сборников рассказов. Живет в Тбилиси.